

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

N M I V R Y

7

2004

7

МИР

НОВЫЙ

2004

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2004 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2005 ГОДА
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. Роман с китайцем;
РОДИОН БЕЛЕЦКИЙ. Николай не понимает (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ЮРИЙ БУЙДА. Переправа через Иордан (книга рассказов);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Все люди умеют плавать (рассказы);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
РУБЕН ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО. Новая книга;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Эти квартиры (рассказ);
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Ва-
силлии и подвижнице Серафиме;
ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Гардеробщик (повесть);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Холст (роман);
ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА. Письма к пресвитеру (стихи);
АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический
роман);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Святая земля и вокруг нее (эссе);
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ. Возбудитель праха (стихи);
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Из пороха в порох (повесть);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Хутор (повесть);

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. *Заморозки* (повесть);
ПИНДАР — МАКСИМ АМЕЛИН. *Победные оды* (с древнегреческого);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. *Пустырь* (повесть);
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. *Три рассказа*;
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. *Новая повесть*;
ВАЛЕРИЯ ПУСТОВАЯ. *Новое «я» современной прозы: об очищении писательской личности*;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. *Филологические новеллы*;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. *Избранник* (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. *Театральный человек* (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. *На солнечной стороне улицы* (роман);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. *Период* (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. *Новая проза*;
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. *Автопортрет в лицах* (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. *Этюды из «Литературной коллекции»*;
РОМАН СОЛНЦЕВ. *Книга провокаций*;
МАРИНА СТЕПНОВА. *Хирург* (роман);
ИРИНА СУРАТ. *Мандельштам и Пушкин* (статья третья);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. *Прощание с гармонистом* (роман);
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. *Птица счастья* (повесть);
АНТОН УТКИН. *Крепость сомнения* (роман);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. *Откос* (повесть);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Новая повесть*;

а также стихи МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ, ИРИНЫ ВАСИЛЬКОВОЙ, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ; статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, МАКСИМА КРОНГАУЗА, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ЭРИХА СОЛОВЬЕВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах: ООО «Паолине» (Большая Никитская, 26/2, т. 291-65-15), ПК «Фаланстер» (Большой Козихинский пер., 10, т. 504-47-95), ООО «Анега Р» (Большая Дмитровка, 12, т. 229-34-53), «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий пер., 5/7, т. 951-93-60), ООО «Викмо-М» (ул. Нижняя Радищевская, 2, т. 915-27-97), ООО «Анега Д» (ул. Никольская, 19/1, т. 921-58-27).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА — Акустика дальнего шторма, стихи	7
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Нежный театр, роман	13
БОРИС ВИКТОРОВ — Всего лишь звенья... Стихи	82
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР — Любовь — бабки — любовь, пьеса в двух частях	85
ВЕРОНИКА ДОЛИНА — Старые французские песни	104
ОЛЕГ ЛАРИН — Вот так и живем. Записки сельского москвича	109
ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН — Пожизненный срок, стихи	125

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АНДРЕЙ ЗУБОВ — Размышления над причинами революции в Рос- сии. Опыт восемнадцатого столетия	129
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАКСИМ ШАПИР — «...А ты прекрасна без извилин...» Эстетика небрежности в поэзии Пастернака	149
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Нина Волкова. Зима в Ленинграде	172
Михаил Лемхин. Доктор Цыпкин и доктор Гинденбург	175
Татьяна Алешка. «Многих счастливей, многих печальней...»	181
Алексей Смирнов. Литература для детей в зеркале «Мурзилки»	184
Дмитрий Бак. Наука побуждать	187

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО	191
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА	199
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	204
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	207

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	213
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	217
SUMMARY	240



ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»

учреждена редакцией журнала «Новый мир»
в феврале 2004 года в виде специальных почетных дипломов,
отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

Правом выдвижения кандидатов на премию 2004 года
обладают творческие организации, критики, издательства.

Торжественное вручение дипломов лауреатам 2003 и 2004 годов
состоится на юбилейном вечере в честь 80-летия
«Нового мира» одновременно с вручением
премии имени Юрия Казакова
и ежегодных редакционных премий авторам журнала
в начале 2005 года.

Предложения лиц и организаций, заинтересованных
в соучредительстве/сотрудничестве,
будут внимательно рассмотрены.

Координаторский совет:
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ,
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.

Контактный телефон (095) 209-57-02
nmir@lenta.ru

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА



АКУСТИКА ДАЛЬНОГО ШТОРМА



Не твоя ли душа, птичкой кирпичногрудой
из травы посвистывая, дразнит лукавым оком?
Тяжелее август, соседи гремят посудой,
с кухонь дачных тянет горячим яблочным соком.

Я плохой садовник, мама, — дичают твои аллеи,
ветви путаются — загустенье и запустенье.
Эту срезать и ту пора бы, да нет — жалею
корявую, полумертвую — вдруг растенье

весной очнется, свирепым нальется медом,
набрякнет цветами, ягодами, нагонит сладость,
оплетется пчел ликующим хороводом,
а мне — и радость.

Твоей бы решимости, мама, — секатор на изготовку,
вырезать лишнее — все на золу сгодится!
Но всех приголублю — дохлый укроп, морковку,
а сад в упадке — даже яблоко не родится.

Не смотри так пристально, кирпичногрудая птица, —
крестиком на воротах свою оставляю метку,
чтобы Тот, Кому садом земным придется распорядиться,
пожалел меня, как жалеют сухую ветку.



1

В разветвленном пространстве живучек, хвощей, плющей
не таким линейным видится ход вещей —
эликсиром жизни, бьющим из глубины,
их воздушные плети, ползучие корни полным-полны.

Отгулял мороз, опалив ветки сухим огнем, —
выжег розовые кусты, прихватил яблони, но и в нем
не нашлось управы на мелкий и цепкий сброд —
свищет шквал живой сквозь запущенный огород.

Сорнячок никчемный, ничейный, сам себе голова —
голубым накрапом тронутая трава,
примитив, наив, простодушный пустой глазок —
но насосы стеблей качают подземный сок,

но канатные мышцы выются, напряжены, —
в них гудит и бесится жадный угар весны.
Никакого профиту с цепкости этих жил —
ни стручка, ни яблочка — один только чистый пыл,

закругленная длительность, чудный круговорот,
где на месте время стоит, не сбавляя ход,
и цветочные стрелки выбрасывает на ходу...

2

Помнишь дурочку Герду в таком волшебном саду?
Там вовне, за оградой, — сырость, старость, зима,
а внутри — веселая флора, зеленая кутерьма.
Нет, бежит на север, спасать дружка от холодных чар!
Я же — вектор обратный, ибо мир так фатально стар,
что слукавит запросто, любезно укажет путь,
но не даст *никому, никого, никуда* вернуть...
Пусть холодная плоть его тянет последний срок —
расступись у ног, изумрудной крови поток,
подхватите меня — барвинок, вьюнок, бобы,
я приму ваш вызов, свирепый азарт борьбы
нежных тел со временем, страстную наготу
и в суглинки оврагов ползучей травой врасту.

* *
*

Нырну, утону — и никаких оваций! —
пробью поверхностное натяжение, уйду под воду
и в иных измерениях буду запросто обживаться,
по-свойски подмигивая любопытствующему народу.

Верткие рыбы, желтые, как синицы,
обступят меня, лупоглазые, — о'кей, ребятки!
Глупые осьминоги скосят любезные лица
ко мне — мерси, соседи, но я в порядке!

Я в полном порядке — меня не достанет буря,
я сольюсь с придонным песком и сосущим илом,
я найду себя в новой плоти и в новой шкуре —
не в том обличье уньлом,

в котором столько лет провела у моря,
честно заслуженных радостей ожидая, —
и уже не жду, а в новом лучсь просторе,
змея подводная — новая, гибкая, молодая.

* *
*

Татьяне Бек.

Этот нордический твой прищур,
злой и прямой, как удар поддых,
не соблазняет небесных дур,
резвых цесарочек молодых.

Но зазвучишь как эхиллов хор —
странница с выпрямленной спиной —
ты для природных своих сестер,
честно приперченных сединой.

Кудри и копья — стальной отлив,
возраст свободы, лихая смесь.
Из-под спартанских твоих олив
ужас могучий гремит, как жечь.

Шквалом озоновым вздернут пух —
морок словесный, узор пустой, —
и, замирая, ликую вслух
над шлемоблещущей красотой.

Феодосия

Черные водоросли распластываются по дну,
напряженно лоя акустику дальнего шторма.
Барражирует ласточка, брюхом брея волну,
на морскую прогулку решившись в поисках корма.

Над вскипающей памятью туча встает стеной,
обломки кораблекрушения за спиной,
не взлетай, подруга, останься, побудь со мной —
эти медные пряди
заслоняют вспухающий горизонт.
Наливается бурей великий Понт,
ветер ломает хлипкий парижский зонт
и слойтся в листах тетради.

Мураши песка, несомого воздухом, бегут по ногам.
Смылись пляжники, дельфины ушли к другим берегам,
даже чаячий истончился гам —
и лишь мы с тобою,
с жизнью, висящей на волоске,
с недоправленной рукописью в рюкзаке,
увязая в береговом песке,
рвем вдоль приборя.

А над скопищем мифов, рифов,
устричных банок, колючих звезд
однозначным подарком, исчерпывающим ответом
вдруг встает из воды тройной семицветный мост
и в сетчатку бьет сумасшедшим спектральным светом.

* *
*

Новорусский глянец чужих надгробий
и гламурных роз смоляные пятна...
Из пространства призраков и подобий
мне тебя уже не вернуть обратно.

Не гляди доверчивой Эвридикой —
каменеет глина, гордись трофеем.
Над холмом зеленым стою с гвоздикой
рядом с горьким, оглохшим, седым Орфеем.

Сколько слез ни вылей — все будет мелко,
под лопаткой горит ледяное жало.
...И душа твоя кладбищенской белкой
мне легко дорогу перебежала.

* *
*

В новом пейзаже звучишь, как в другом регистре.
Перебой, пауза — белое солнце тлеет,
робкая музыка выжидает, подобно искре,
а потом огнем вызревает, выжигает пепел, смелеет
и, взрываясь жарким ветром в разрушенной колоннаде,
раскаляя лады ветхих дворцов и башен,
насилует флейту Эола дивного звука ради,
с которым сольешься — никакой уже мрак не страшен.

Укрупняя масштабы того, что казалось малым,
низводя золотой запас к нулевой отметке,
красный тяжелый вал мчится по желтым скалам,
пережевывая обломки, камни, живые ветки,
и, зайдясь в пылающем выдохе пролетевшего суховея,
утратив содранные лохмотья, безумная и нагая,
я смотрю ему вслед и даже понять не смею,
что эта музыка тоже моя — но совсем другая.

.....

А потом визжит бриз в парусах песчаной фелуки,
выдувает легкий мотив, без натуги скользящий в гору,
и я, принимая флейту на вытянутые руки,
посвящаю ее острокрылому богу — Хору.

* *
*

Ты — человек, а я — растение
(и мой намек не так уж мелок!) —
таинственное средостение
космических часов и стрелок.

Круги годичные разложены
по четвертушкам циферблата —
живу, горю зеленой кожей,
но знаю, что грядет расплата.

И, холода угрюмой родины,
как обморок, перемогая,
не думаю о веснах пройденных,
а жду, когда придет другая.

Круг миновал — живая, новая,
лишь чуть побитая морозом,
стою, как дерево терновое,
подставив ветви цветоносам.

Вспять приникая к темной сладости
таинственных корней крестьянства,
упрямо возвращаю радости
терпения и постоянства.

О, терпкие приобретения,
плодов осеннее паденье!
Ты — человек, а я — растение.
(Фатальное несовпадение.)

* *
*

ртутную тяжестью прожигая
шелковый кокон земных кругов
так и уйду как пришла нагая
в черные недра без берегов

вниз и вперед наугад мгновенно
через проломы в земной коре
кровью сквозь поры рудой по венам
и успокоюсь в земном ядре

чтобы окутавшись первородной
плотью спрессованного огня
стать наконец навсегда свободной
там где давно уже ждут меня

* *
*

Мудрая черепаха с душой летучей,
ледяная глыба с кровью горячей —
сращение странное — но и этот случай,
если вдуматься, можно считать удачей.

Какая выпала карта, какая карма —
в небесной комбинаторике не бывает лишним
никакой расклад. Нарастает жар мой —
за концы одного луча держимся со Всевышним.

Это все изнанка, дрожь, сердцевина плача,
а снаружи панцирь, броня, костяная птица.
Под щит ледяной отrostки нежные прячу,
коллапсируя, стягивая границы,

выполняя честно поручение — чье, не знаю,
за которое неизвестно кому ответим —
усиливая преграды, крепости воздвигая,
наращивая изоляцию между Тем и этим.



НИКОЛАЙ КОНОНОВ



НЕЖНЫЙ ТЕАТР

Роман

I

Я пытался вообразить свою мать¹. Но она никогда не давалась мне, будто совсем не хотела оживать — даже в лучах моей памяти. Все напряжение оборачивалось густеющим снежным облаком.

Но самый тягостный выход из этих страстных медитаций — она с лицом моего отца. Но равная ему лишь в границах тех слов, которые я мог навязать этому зрелищу.

И я говорил, говорил, говорил...

Ну наконец-то — вот она, пусть даже в личине моего отца, с его невыразительным лицом — то есть та, которой у меня точно не было.

Но и он, принимающий личину моей матери, остающийся сам собою, оскудевал, делался бесполезным, так как уже ничем мне не угрожал. Как фальшивый Кронос, который поглощает меня, совсем меня не пожирая. Словно я — кольцо.

Мне трудно это сразу объяснить.

И мне нравилось в детстве (да и в отрочестве, и — что уж тут скрывать! — и позже, и позже... тоже мне нравилось) натянуть на себя картонную маску милого понурого слоника или шкодливой лукавой мышки. Других у меня не было. Маски зверьков, перепутанные с канителью, хранились в наилегчайшей коробке с прочей новогодней утварью. Долгие-долгие годы. На одном месте. На одной высокой полке. Как символы неизменности моего утлого мира. И я отмечал, как перерастаю эти детские маски. Как они теснят меня больше и больше. Как подозрительно пахнет папье-маше твердеющей изнанки. Как пылит в нос, как отшелушивается старая бумага.

Я шел к зеркалу — и пристально и пристрастно смотрел сквозь сдвигающиеся к переносью бусинки прорезей на свою преображенную личину.

И первое, за что принимался в сугубом одиночестве, — были ругательства, грязные и похабные, выговариваемые язвительным голоском зверушки, сопровождаемые умильной жестикующей и приседаниями добрячка. Это пугающее несовпадение насыщало меня необыкновенным волнением, делало особенным и полнокровным, почти торжественным.

Безрассудно и головоломно я бросался в невесомость зазора, разверзшегося между двумя персонажами.

Кононов Николай Михайлович родился в 1958 году в Саратове. Окончил Саратовский государственный университет. Автор нескольких книг стихов и прозы. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Санкт-Петербурге.

Журнальный вариант.

¹ Мне, наверное, надо обязательно сказать, что ее отсутствие повлияло на все страхи моей жизни. Точнее, тотальность этого качества отсутствия. Ее не было нигде — и в этом для меня состоял непреходящий ущерб. Ведь ее нельзя было обнаружить ни там, где на самом деле не было и меня, ни тем более тут, со мной, но и где-то вообще в мыслимых мною пределах. И мне безмерно тяжело перечислять эти «места», где ее не было.

*Одним — хулящим и глумящимся, и другим — слушающим и наблюдающим.
Длитель эту игру мне ничего не стоило.*

И она, совершаемая без усилий, грозила иссяканием и гибелью, так как за этой раздвоенностью я не признавал самого себя и тем более не чувствовал растраты.

*Она, эта игра, была сколь нехороша, столь же сладима.
Ведь были, были еще там кто-то третий, третья, третья...*

Отец свысока склоняется ко мне — кажется, на это уходит уйма времени. Играя, он касается подушечкой указательного пальца моей выпяченной нижней губы, — мягко оттянутая губа, когда я грустен или обижен, возвращаясь на место, издает странный едва уловимый звук — будто во мне пошевелили пустоту. О, во мне пусто! Отец меня приотворяет. «Что же в меня попадает при этом?» — думаю с беспокойством я.

Иногда я это делаю и сам.

Но остаюсь плотно закупоренным.

Мне помнится по сей день — впервые на вечернем сеансе в кино «Победа». Прекрасное помпезное здание, неспешно теряющее лоск и красу. Послевоенные покои для народа-победителя. Тусклый триумф — бронза в вестибюлях.

Возбужденное толковище.

Мы вместе с отцом.

Он в штатском платье. Теплое время года. Не помню какое — что-то с весны по осень. Комфортная старая классика. У нас ведь пора теплыни такая длинная, три четверти года тепло лижет и ластится к миру.

Я совсем мал.

Отец, держа меня за руку, тихо что-то втолковывал билетерше, чтобы нас пропустили на столь поздний, самый последний, сеанс. Тетка стояла как неодолимая преграда. В темном зале, куда мы пробираемся уже во время журнала, я робею и еще крепче сжимаю его мягкую неотзывчивую ладонь. Когда я чувствовал свою руку в этой мягкой створке, то всегда мечтал втереться, прорасти в него, стать им на все свое будущее время.

Идет журнал — всю мельтешат белыми нитками какие-то станки, ядовитая сталь истекает светящимся ручьем, грузный экскаватор зачерпывает породу в карьере, людишки, онемевшие на ветру, что-то яростно громоздят в самой сердцевине небес. В конце — несусветная даль, озаряемая лучами.

Вот начался настоящий цветной фильм.

Когда несколько раз прерывалась лента, в темноту свистели и орали ругательство «сапожник». Стрекот возобновлялся. И я вдруг увидел — не успевший со всеми крикнуть отец словно очнулся, молодечески присвистнул и выпростал вверх обе руки, — и тень с его растопыренными пальцами просияла на оживающей кутерьме.

Я тогда понял, что когда-то потеряю и его.

Так же, как свою мать.

И мне стало безмерно печально, почти до слез, и кино не смешило меня, и только взрывы гогота сигнализировали, что помимо печали, обуявшей меня, еще есть и жизнь других людей, сидящих вокруг. И они катали бутылки в ногах, от них мелкими волнами исходил приторный запах подсолнечника, который они лузгали, подружки звонко шлепали зарвавшихся ухажеров, что лапали их в темноте, и сами собою тут и там скрипели и хлопали сиденья. Мир возбужденно жил, настаивал на самом себе. Принимал ритмические фигуры, растягивался и сжимался. Помимо меня.

И мой отец заходился в припадке возбуждения вместе со всеми. Азартно клонился вперед, откидывался, изнемогая. Будто добровольно стал гребцом галеры. Пригибаясь ко мне, шептал переменившимся голосом,

еще полным смеха и восхищения: «Ну ты, сын, глянь, а... дает. Каково? Тебе все видно? А?» От отца легко пахло сухим табаком. Чуть-чуть угрожающе. Самую малость.

Он жестко толкал сидевшего впереди, чтоб тот сместился вбок и не застил мне своей башкой восхитительное кино.

— И чё с детьми-то по ночам в кино шляться...

— Ты мне поговори! Зритель!

Но я твердо понимал, что он, мой отец, бросив пятипалую тень на экран, легко подталкивая меня, чтобы я разделил его вечернее удовольствие, расчищая для меня поле яростного зрелища, — очевидно и неукоснительно преуменьшался. С каждым кадром. Будто я познал его исчезновение. Под стрекот аппарата. В каком-то другом фильме, куда со всей очевидностью был втянут.

Вот я дождался кульминации, о которой никто, кроме меня, не догадывался. Героя, откальвывавшего уморительные коленца, изловили. Легко и просто, как глупого карася, хотя он — прекрасен, силен и скользок. И вот он вздыхает прямо на меня — потное лицо, кровоподтеки, легкая щетина прокалывает холстину экрана. Тонким хлыстом ему перехватывают шею — там, где гуляет кадык. Он тяжело багровеет. И я начинаю задыхаться вместе с ним. Полные глубокого покоя кадры асфиксии, кажется, не кончатся никогда. Отец замечает мою одеревенелость, шепчет: «Что это с тобой? Тебе что, плохо?» И я кручу головой, чтобы не выдать тайны своего наслаждения этой вопиющей мерой удушенья. Она обреталась здесь — в десяти шагах от меня — не наваждением, а переменной унылой участи моего бытия. Ведь я, живой и плотный, переставал дышать вместе с ним — целлулоидным и непрочным. Я просто замирал.

Отец при следующей жестокой сцене мягко закрывает мне глаза ладонью.

На мое лицо спускалось забрало древнего шлема.

И я навсегда понял — как пахнет испод мифа.

Слабым солоноватым потом отцовской ладони.

Я ведь ее тихонько лизнул. Кончиком языка.

Это — вкус и запах войны, куда он мог уйти в любой миг².

От меня...

Я и тогда был сам для себя загадкой. Почти не различал себя, будто был завернут в хрустящую непроницаемую фольгу, будто был написан на бумаге печатными литерами. Что было во мне? Вещица? Слово, обозначающее вещицу? Куколка? Подробный рисунок насекомого? Безымянный дар, иногда испускающий лучи, разжигающий меня так, что я становился хрустящим — любой шаг, самое незначительное движение давали о себе знать — в глуши, во тьме кромешной, на свету. Словно прописывали себя быстрыми литерами.

Я просто знал — что я *был*. Это не глагол — это сущность моего случая. Сущность, которую не объяснить, только уподобить. Но никаких уподоблений мне скоро не потребуется.

² Неукротимые игры в «войну» всегда отталкивали меня, мне не хотелось бегать с деревянным автоматом за «фрицами», на мой вкус, это было слишком серьезно, и я не мог, как говорил сам себе, «разыграться», так как подозревал даже в раннем детстве об истине настоящей смерти.

Великой войной, звериной памятью о ней, какой-то неистребимой перхотью было осенено все вокруг моего детства. Изобилие военных-орденоносцев, куражащиеся нищие-инвалиды, вопиюще свежие названия улиц, близкие к поминкам праздники, нетрезвые разговоры, оправдания ничтожного настоящего и бахвальство победительным прошлым. Ожидания, в конце концов. Они не оправдались.

Взрослые вызывали во мне зависть, так как они уже не попали на войну и живы, а я... ну, что может сделать со мной любая бойня. Я чувствовал слово «война» как дисперсию страха, осознал, что даже в своей словарной сущности (коль и посейчас есть это неукротимое слово) она не кончилась, а ушла под почву, в лаву и может всегда проявиться, спалить все на свете, и первым оплавится до окатыша в ее горниле — мой отец.

В зоне исчезновений, куда я попадал, время вытирало неумолимым ластиком целые карандашные абзацы, написанные печатными буквами.

Я только поражался непрочности своего времени, быстро делающегося прошлым, зыбкости моего времени, равного этим первым, но уже ветхим словам.

На вокзале, у самых поездов, мне всегда хочется уставиться в черноту мазутных луж. От разлитого между рельсами бархата невозможно оторваться. Самый липкий, не искоренимый никакими силами запах. Самый темный, никакими силами не высветляемый цвет³.

Всю дорогу я читал не вчитываясь, а просто перелистывал, проглатывая знакомые абзацы «Путешествий Лемюэля Гулливера». Ловил себя на том, что просто держу в руке старый потрепанный томик, словно позлащенный стократным чтением. Почему-то постоянно упираясь в любимое с малолетства место. Галантный англичанин, величиной с уютного мышонка, елозит по пахучим телесам великанш Бробдингнега. Там есть картинка, — и пикантная иголочка Гранвиля царапала мое зрение, совсем не возбуждая меня.

Воздух вокруг меня густел.

Ведь плацкартные вагоны пахнут задницей великанш, только что сошедших на полустанке, пропавших из поля зрения.

Мне бы хотелось, чтоб меня нес в зубах теплый белый сеттер, размером с тепловоз. У него мягкие, чуть-чуть влажные губы. От него исходит сухое тепло.

Но вот и дорожная курица съедена напополам с молчаливым дембелем-мордвином, безразлично поспешающим домой из самой Абхазии.

Он вызывающе белобрыс, как ненастоящий.

Он, как бы не просыпаясь, снова и снова погружался в мягкое небытие. В любой позе. Будто каждый раз опускаясь глубже и глубже. И сон многократно поглощал его уже спящего. Пеленал в кокон — слой за слоем, — жестко сидящего у окна, застывшего большим зародышем на полке, сомнамбулически плывущего по почти пустому вагону в сторону тамбура курить. Казалось, что парень не менял позы, лишь чуть-чуть слабел губами, изредка подбирая светлым медленным языком набегающую каплю слюны. Он лишь едва выдвигался из своего тела, чтобы снова привалиться к себе самому, жесткому и опустошенному, той плавной мягчайшей частью, где, по-видимому, колыхался его сон. И сон главенствовал и верховодил его сухим бледным существом. Парню не надо было даже смежать веки.

Так с высунутым неприкушенным кончиком языка он и оставался, даже не смыкая глаз, лишь шурился, обращая время в немощь и дряхлость, — и оно, обессилевая вместе с ним, никак не могло подобраться к вечеру.

Мне стало казаться, что я никогда не доеду до своей станции. Но мне не приходило в голову помахать ладонью у его очей или пощелкать у уха. Я видел, как по-детски мягко, неэкстатически закатывались его зрачки, оставляя в просвете только голубизну роговицы в мелочи красных жилок у сегмента светлой радужки. Я спокойно и чересчур близко рассматривал его, и в этом не было и тени непристойности. Спя передо мной, он неправдоподобно и наивно подставлялся. Совершенно очевидно, что парень, не расстегнувший ни одной золотой пуговицы на своей ушитой форме, явно давящей его, находился где-то по ту сторону происходящего, там, где его попирают совсем иные необоримые силы.

Я все время смотрел на него, и меня не язвил особый свет угнетения, чуть перекатывающийся в нем, — смотрел, откладывая «Гулливера», бродя взглядом по его ушитым доспехам, по слабеющим избитым вывернутым

³ Эта очарованность теплым и нутряным, но никогда — омерзительным, в отрочестве всегда довлела надо мною. И я пугался тусклого очарования и испытывал удовольствие от испуга, вдруг наделявших меня выпуклым чувством — что я жив.

ладоням и ровному прямому лицу, — пытаюсь читать их как приключение. Но он, сидящий напротив, делался для меня невидимкой, и, пронизывая его, я ничего не задевал в нем — ни его несущественного тела, ни его небывшей истории, уже просочившейся в мир недоступности.

Он был как знак, как безусловное обозначение места, к которому жизнь приложила чересчур великую силу, запросто смахнув все, что там было. И как он уцелел, думалось мне.

Солдат, как-то по-особенному зевая — одними губами, не напрягая лица, иногда ероша свои мягкие, белесые волосы, вымолвил, наверное, две-три фразы, так и не вывалившись из дремучего сна без сновидений.

Глядя на меня, он, со всей очевидностью, меня не видел.

Но был ли он слеп?

Только одна его сентенция запомнилась мне: «Спать лучше, чем жить». В этом была неколебимая неумышленная древность. А может быть, вместо «жить» он сказал «служить».

Проверить невозможно.

В тощие пробелы, когда он бодрствовал, он показывал мне фотографии. Вот он сам в полной сержантской форме под сенью пальмы замер кривоного и браво, взойдя из белой перекошенной прописи понизу снимка «Дэндра Парк Сухум». И еще несколько любительских.

«Это дембель», — щелкает он по четырем серьезным совершенно голым парням, они сидят на лавке, взявшись крест-накрест за руки, закинув друг другу ногу на ногу, прикрыв таким образом соседа и порождая сегмент дурного орнамента. Крайний справа — блондин, он совсем голый, так как ему не хватило соседской ноги. «Леха, Миха, Вован, я. Нормально?»

Он не назвал своего имени. Это было ни к чему. Они были похожи на разгримированных маленьких лебедей из балета, еще не выбравшихся из галлюциноза и одурения танца. Будущее мрачнело за их четверкой невидимой кулисой, бросало на них плотный отсвет, накидывало вуаль несуществования. Меня передернуло, будто я глянул в холодный разрытый лаз чужой жизни⁴.

И он, снова уходя в сон, уже не прятал карточки, так как не мог попасть ими в карман. Я подымал их с пола, разглядывал как нечитаемые извещения о чужой судьбе.

Несколько раз мы выходили в тамбур, пропахший мокрым табаком и угольной пылью. Я влек сомнамбулу, стараясь не разбудить. Он тихо, очень аккуратно курил, держа папиросу двумя пальцами невыразимо нежно, как живую, — сначала стоя, потом, медленно оседая на корточки, уже приваливаясь к стене, не выпуская из пальцев погасающего окурка; а я глядел сквозь торцевое окно на разматывающиеся, уходящие рельсы.

Через некоторое время я понимал, что его, недвижимо сидящего, надо бы как-то разбудить. Он незаметно входил в ступор, будто разглядывал там, в своей глубине, нечто такое, чему нет ни названия в мире обычных слов, ни зримой оболочки среди всех видимостей, когда-то привидевшихся людям.

Я отводил его, чуть подталкивая в мягкую отзывчивую спину, на место. И мне не пришло тогда в голову, что он, как Сивилла или Пифия, сможет при моей настойчивости поведать хоть что-то о той жизни, к которой я, помыкаемый безвременьем дороги, приближался вместе с ним с каждым метром теснее и ближе. Ну хотя бы показать жестами, высунуть, в

⁴ Он, показывая эти фотографии, ничего не транслировал собою. Даже не раскупорил ни одной пуговицы на теснившей его форме, чтобы доказать, что это он — тот самый, кто куражится, составляя часть орнамента. И я понимал, что он перешел какую-то черту, после которой прошлое исчезло, и вот — у него совсем ничего нет.

конце концов, свой белый язык по-настоящему. Я смотрел на него, на его рот, на молодую, более светлую, чем его бледная кожа, щетину, будто испытывал к нему, этому безымянному существу, томительное чувство, от которого все время отмахивался, ловил себя на том, что морщу брови, смаргиваю, безуспешно перестраиваясь в другой безразличный регистр восприятия его, сонного, чуть пахнущего теснотой и молодостью.

Аккуратно собранные косточки отданы на безымянном разъезде унылой собачке, даже отдаленно не напоминающей сеттера. Она уткнулась благодарным лицом в их развал. Радостно вздохнула в кучку объедков. Тряхнула многовитым кудлатым хвостом. Потянулась в изнеможении и посмотрела на меня невыносимо печально.

Компот из сухофруктов выпит, и хорошая банка с навинчивающейся крышкой унесена без моего согласия проводницей.

... Вот у переезда, вбритого в густой лес, грустная, еще молодая, но отяжелевшая женщина, подпирая шлагбаум, кажет поезду желтый лоскут. Все происходит столь небыстро, что можно разглядеть подробно ее неряшливость и утомленность собою. Многослойное неопрятное облачение, наверно не сдерживающее тепло. Темные пряди, выбившиеся из-под платка. Она смотрела в мою сторону как в зеркало, которого не стесняются. Насквозь. Но я успел поймать на себе ее невидящий взгляд. Ее бесполезная саморастрата бросалась в глаза, как обвисшая желть фляжка. Как аккуратные линейки крохотного пустого огорода, подползшего к самой насыпи. Мне подумалось, что она, копаясь в нем, голыми руками пересыпает черную почву.

Я увидел словно ее очами, со стороны, как состав в тихой вибрации двинулся дальше, вписываясь в нетугую асимптоту мировой дуги.

Человек, одетый в штатское, быстро двинулся в мою сторону только потому, что на станции, между путей остался лишь я один.

Поезд тихо отошел за моей спиной.

Когда я увидел его вблизи, я расхотел говорить. Мне стало не до слов.

Он как-то слишком аккуратно, как мне показалось, преувеличенно сдержанно пожал мою руку. Но никакого порыва я не ожидал.

Вот ветровка, серая кепка, армейские ботинки и эти крупные пуговицы⁵. Но, ответив на его быстрое рукопожатие, я позволил себе жест, и мне почему-то до сих пор неловко оттого, что я его так подробно помню. Хотя, собственно, что такого я сделал... В застенчивости покрутил крупную пуговицу на ветровке этого человека, еще не ставшего «моим отцом». Ну, мгновенный неконтролируемый жест, чуть дольше секунды, до двух не успеешь досчитать. Но до сих пор сердце мое сжимается, когда я вспоминаю то поползновение близости. Мой порыв снова ломается о плохую пластмассу, и мои совершенно сухие пальцы от волнения и посейчас, когда я это вспоминаю, делаются скользкими. И я совпал со всем, что было вокруг меня. Каким-то образом сам стал всем этим. Пустой голой станцией, опустевшими путями, низким, каким-то надутым, обиженным вечерующим небом. А всем остальным — я пребывал и подавно. Под ложечкой у меня отчаянно сосало.

⁵ Тут я вспомнил, что отцовской одежды в доме, где я жил, не осталось, я не встречал даже шнурка от его исчезнувших вместе с ним ботинок. Все его следы бабушка, так никогда и не простившая ему внезапного побега, вывела начисто, будто особо едким растворителем своей ревности. Про мать я хотя бы мог сказать — вот ее платье в шкафу. Кто она такая, я не знал. Но в эфемерном крепдешиновом мешке для меня существовала полость, обитала память о ее плоти. Это был повод для фантазии. Она, несуществующая моя мать, будто задевала о швы, чуть замятые и выжелтившие в проймах. Мне всегда хотелось пожевать их, помусолить, но я сдерживался.

Ранним утром новая жена моего отца строгала на кухне ингредиенты к винегрету, и я еле пошевелился под пологом кислого морока. По-народному, подвывая и охая, она подтягивала в унисон уличному репродуктору «вихри враждебные».

Я еще плотнее укутался одеялом⁶.

Мне хотелось только одного — чтобы и этот день прошел как можно скорее. Но время остановилось, став немощным и убогим. Его победили.

«Отец, отец, отец, отец», — твердил многократно я, обесмысливая это краткое слово. Словно подзывал его. Сначала слово превращалось в абракадабру «тецо», а потом снова появлялся снова, так как в нем начинало звучать чье-то «тельце». Эта была моя особенная тайная мантра. Кажется, я начинал в конце концов гундеть ее вслух, пугая себя тавтологией, приносящей мне прибыль какого-то слезного сокровенного смысла, то, что суровое слово «отец» не отстоит от жалобного слова «тельце» ни на йоту...

Завтракая один на один с собою, не слыша вкуса, я незаметно поглотил миску макарон по-флотски. На дне коричневел пригар. Я поскрябал по нему слабой алюминиевой вилкой...

Новая жена делала все время одно и то же монотонное движение. То открывала высокую дверцу навесного шкафа, то выдвигала ящик снизу. Будто ее завели. Ее тело наплывало на меня тканью халата. Но ее плоти под ним я не чувствовал. Будто она фантом, морок раннего часа.

Кругом следы отцовского усердия, полки, ящички, мирные неостроумные приспособления. Они словно присыпаны простыми запахами быта — хозяйственным мылом, измельченным на терке, плотным настоем кипятка, горячкой выглаженной холстины.

Я понял, как он мастерит простые предметы, довольно топорно, не очень тратя себя, будто в расчете на временность. Но временное, незаметное и есть постоянное, так как нет его крепче. Знал ли это мой сбежавший от меня отец?

От окна на кухне пахло сильным ветром. Упругий парусящий вкус ветра, от которого не закрыться. Так же пахло сегодня и от отца. Он ведь не был в казарме.

В углу комнаты, где я ночевал, — маленькая самодельная клетка. Она стоит на тумбочке, как цирк для лилипутов. Умильный крючок на дверке. Для малюсенького дрессировщика. В руке у крохи — волосной арапник на золотом кнутовище.

В клетке — две серые мышки.

«Девочки наши», — зовет, пригибаясь к ним, новая жена. С ее пухлых губ слова скатываются, делаясь круглыми.

Девочки вставали на задние лапки, шарили паутинкой усов в воздухе⁷.

⁶ Мысленно — через редуты заграждений, прорывая оцепления, составленные из рядов солдат-азиатов, корябая щеки и нос о колкое шинельное сукно, раздвигая лицом дух казармы, толкая бамперы угрюмых грузовиков, — я пробирался в азарте опасной игры через улицы, проулки и площади, запруженные для вакхических шествий насельников моего города. Я перебирал варианты своей смерти — от войны, от парада, от учений, в конце концов, просто — от государства, от его скорбного смысла.

⁷ Такая же клетка с мышками была и в бабушкином жилье, пока отец жил со мной. Но бабушка мышей ненавидела. Это чувство было глубже, чем простая боязнь. Какая-то внутренняя ненависть. Она звала мышей «зародышами». С трудом сдерживалась, чтобы не плюнуть в них. Это чувство к мышам — мой первый урок необъяснимой чувственности, ведь бабушкина неукротимая ненависть была так близка к вожделению. Мыши, живя у нас для чистого развлечения, лишь будоражили пустой сюжет нашей жизни и, как выяснилось, ничего не значили. И отец с такой легкостью их бросил, такую же клетку с дверкой, баночку крупы и шеточку в паре с маленьким совком. Бабушка, когда он при ней возился с грызунами, шипела в его сторону непонятное мне ругательство: «Ну, запашный!». Что значит «запашный»? Носил одежду запахивая ее, а не застегивая? С ума сошел за пашней? И вот отец живет от меня в дикой дали за пашней. Через гигантское поле слов. Со мной не ходили в цирк. Иначе мне вспомнилась бы фамилия укротителя крупных саблезубых хищников.

Жалкий в своей маниакальной аккуратности военный городок, вросший с одного бока в мордовский бор, был исхожен мной за каникулярные дни вдоль и поперек. В глухом высокомерном одиночестве. Кепку я надвигал на самые глаза. Но я не казался себе шпионом. Тайны нигде не было, так как все было простодушно распахнуто. Хотя с северной стороны городка простиралась запретная зона. Она огорожена колючей проволокой, с ажурными сторожевыми башенками, расставленными на расстоянии полета тяжелого камня, кинутого пращей. По периметру на верхотуре вышек скучали маленькие среднеазиатские Давиды.

Ничем не пахнувший ближний косматый лес с подстилом легких шишек, пружинящих под ногами. Вот — мокрый жирный мох, не переходящий в болото. Разбитая кривая дороги, по ней, пьяно свистя, пронесился буро-зеленый бронетранспортер, оставляя не тающий на холоду скульптурный выхлоп. Сизый плотный газ можно было потрогать, память и порезать. Я вышагивал по обочине нестрашной дороги и громко пел сладкую арию Надира из оперы «Искатели жемчуга». О прекрасной Луне, освещающей любовь. Это из бабушкиного репертуара. Память о ее молодости, когда она, живя в прекрасном городе, бывала в театре.

Жестокая просинь расталкивала деревья, еще сильнее трезвя меня.

Бытовое самоотвержение чужого семейства вызывало во мне только недоумение. Словно мое тело задевало их непомерно жесткое расписание. Ведь невзирая на праздники, они как заведенные, бодря себя, вставали ни свет ни заря, врубали на всю катушку радио и сразу распахивали легкие шторы на всех окнах. Жильцы в сияющей бессонной доблести и непопираемом здравии предъявляли себя неприятелю. Стекла окон зло чернели в пустоту безумного мира.

Враг обитал за лесным горизонтом, проседающим под собственной тяжестью. Там начинало едва мутнеть.

За завтраком отец под хихиканье толкающихся близнецов проделывал один и тот же фокус, от него все мое нутро нехорошо сжималось, и я чувствовал себя жидким.

Он клал рядом со своей тарелкой небольшой складной ножик в красных боковинках. Сидел, потупясь, в непроницаемости ступора, чуть ковыряя примитивную еду, будто бы готовился впасть в глубокий сон. Мерно дышал, гася в себе возбуждение. Все понятиво замолкали — словно все идет совершенно обычным ходом. Я с трудом выходил из ночного времени, подавляя позывы к зевоте.

— Кто рано встает, тому Бог подает, — сказала новая жена, глядя чуть искоса в мою сторону.

— В бок поддает, — нагло съязвил я.

Близнецы затолкались и заржали.

Отец пропустил мой выпад.

Он вообще пребывал где-то не здесь, совсем в других краях.

Потом, как-то собравшись и глубоко вздохнув, он выпрастывал длинное лезвие ножа и, медленно, сосредоточенно глядя на узкое блестящее острие, приближая его ко рту, поглощал весь предмет целиком. Медленно и аккуратно заглатывая. Якобы помогая себе языком. За стиснутыми, как от невыносимого страдания, губами исчезал даже яркий черенок. Он наконец сглатывал, кадык его бежал по шее к самому подбородку, и отец делал вид, что опустил в свои недра весь раскрытый ножик целиком. Он магнетически проводил рукой от губ до самого живота.

Десятью секундами позже он отрыгивал ножик в ладонь, но уже сложенный каким-то непостижимым образом в совершенно безопасный предмет.

А может быть, отец своим ежедневным, ежеутренним фокусом хотел придать остроту, изменить скарденность и уныние, охватившую все, что простиралось вокруг. Мне не пришлось на ум тогда спросить его об этом.

— Ой, ну ты прям как ребятёнок, а не строевой офицер! — каждый раз ободряла его новая жена. Она давно смирилась с абсурдностью этого ритуала.

Она вообще смотрела на всех склонив голову, словно видела одним глазом лучше. Может, она была не в силах сразу охватить зрением всю картину неосмысляемой жизни, разворачивающейся перед ней.

Скользила по жилью в опрятном халате в мелкий цветок. Мягко шуршала по рыжим свежеекрашенным половицам в толстенных шерстяных носках, топчя пеструю штопку подошв. Мне тоже были выданы такие же спецноски негнущейся вязки. В тапочках на босу ногу по дому ходил только отец, чавкая при каждом шаге. Его пятки были желты.

— Ой, ну ты прям как артист — в шленцах, прям артист, а не офицер, — говорила, улыбаясь, жена, глядя на его тапочки, немного скосив голову в утренней косынке.

На кухонный стол сквозь стекла начинал сочиться мокрый серый свет.

Гречневую кашу с молоком мы доедали, стуча ложками уже у дымчатого помолодевшего окна, за которым вытоптаные офицерские огороды упирались в кряжистую теснину.

— Ну, в лес сёння, чё ль? В праздник самое то? А? После парада? А, пацанва? — не унималась новая жена, сгребая посуду и сметая со стола несуществующие крошки.

Меня смущали вопиющие качества разнородных вещей и событий, которые я не мог объединить словом «осень». Я ждал глубоких сухих холодов. Я ждал снега. Но мне было так грустно, что осень была во мне. Она томлением осенила меня изнутри. Мне казалось, что наша утренняя лабуда мешала проявиться всему — моим отношениям с отцом, замершим в болезненной неравновесной точке, лесной болезнью природе, и наше настырное сверххранное просыпание, думал я, искусственно длит тупую немочь.

В доме существовал, одновременно как бы не существуя, еще один персонаж. Это был солдатик, помогающий по хозяйству. Приносящий откуда-то издалека колодезную воду. Тихий, смуглый, с испуганными глазами, совсем плохо понимающий по-русски. Я запомнил, как он мусолит детскую тетрадку, куда им самим была перерисована печатными литерами присяга. Он по ней учит неродной язык... По самодельному учебнику. Он совсем не занимал места. Даже когда молился, расстелив половичок. «А ты помолился, помолился...» — соболезновала ему жена.

И я выходил в другую комнату или на кухню, пока он принимал куриную позу, замирал, как птичья тушка. Мне она говорила: «Поди, поди чайку попей, вот книжку почитай».

Ее тон был столь проникновенен, что волна сочувствия заливала меня. И если я шел тогда в туалет, то, лишь коснувшись своего члена, чувствовал, как он — мое продолжение — тепел и жив. Как горяча моя урина. Я с трудом удерживался, чтобы не начать мастурбировать.

Это был приступ сочувствия?

Сожаления?

Жалости к самому себе?

Не знаю.

Припадок тепла, затихая во мне, выкручивал теплую мягкую жилу под самым сердцем, но я знал из анатомии, что ее там не должно быть. Но она словно обадала меня всего брызгами.

Я понимал, что где-то через пятнадцать минут вернется отец...

Поздно вечером входивший в прихожую отец, там же у двери, вроде бы не обращая внимания на меня, услышавшего, узнавшего его по короткой оплеухе о дверь подъезда, как-то стремительно и одновременно мрачно начинал раздеваться. Столь быстро, будто за раздеванием должно непременно последовать наказание.

Я теперь сказал бы: не раздевался — разоблачался. Будто суровая военная форма мешает ему воплотить это наказание. Сковывает его движения, как болезнь.

У вешалки, прямо у хлипкой двери, не успев ее толком затворить, он сбрасывал свой замечательный военный хитин, почти срывая череду золотых пуговиц, — вот-вот они разлетятся, сверкая.

Он пробежал тонкими пальцами по кителю быстрее, чем пуговицы выскакивали из петель. Он их словно заводил, магнетизировал, и они растягивались сами по себе, чтобы блеснуть редкостной заворачивающей искрой.

Поддаваясь гипнозу, я стоял ни жив ни мертв.

Он стягивал сапоги, и меня настигал флер усталости его тела.

Дрыгая ногами, как пацан, молодеющий отец разматывал бинты портянок, запревших за день, в ржавых сырых следах. Босыми ступнями нащупывал тапочки, как кочки в зыбком болоте. И он вступал в дисперсное поле сплошной неуверенности. Начиная наново жить.

Он, преувеличенно бодро покачиваясь с пятки на носок и обратно, стоял передо мной чуть дольше мгновенья.

До сих пор мне неизвестна истинная цена того промежутка.

Стоял в одних лиловых, как отстиранные чернила, растянутых плавках.

Этот цвет печали мне ни за что не позабыть.

Из-под их провисшего края всегда стекал кожистый пустой лоскуток его желтоватой мошонки. Как беззащитный знак тыльной стороны его плоти. В пустую емкость, пока он так переминался, низко опускались яички, он их из себя вытряхивал, как птица, сносил их.

Они повисали вещественной тягостью этого близкого мне тела.

Как грузила, удерживающие гондолу летательного аппарата его голого существа.

Как оберегаемая от всех в мире его тяжелая неприглядная суть.

От всех, кроме меня.

Кроме меня.

Мне казалось, что если на другой день это зрелище не настигнет меня, то он просто взовьется и навсегда исчезнет.

И я понимал, что он, этот мужчина, пока близок мне только потому, что стоит в тридцати сантиметрах от меня. Я ведь не мог к нему пробиться. А может быть, и не хотел. Мое любопытство пока наталкивалось на шершавую стену его тоски. За домашним ритуалом она была непроницаема.

И ничего тоскливее этой репризы в своей жизни мне видеть не доводилось.

Но вот он ныряет якобы помолодевшим пловцом в матерые растянутые бесцветные треники.

Он выдыхал «уфф» и сразу обмякал, входя в маленький объем кухни.

Кино делалось черно-белым.

И мне становилось ясно, что его жизнь состоит из тоски, которая им не чувствуется, потому что она невещественна.

Видит Бог, я за ним тогда не подглядывал. Просто смотрел. Ведь он сам приглашал меня созерцать себя. Это был особый уговор, установленный непререкаемый порядок. Без него течение жизни разрушилось бы. Сегодня бы не перешло в завтра.

Мои видения почти что бесплотны, так как равны мне, погружающемуся в разреженный галлюциноз прошлого. Настолько неправдоподобного, что уже и неотъемлемого.

Никогда не надсмехаясь над ним, сопереживал его живой голизне.

Ведь это он сам себя мне таким предъявлял.

Созерцание отца никогда не было с моей стороны кражей. Я это точно знал. Потому что отец совершенно не смущался меня и моего взгляда. Не думаю, что сейчас то переодевание понимается мною как-то иначе,

чем тогда. Ведь первое, что он бросал как снасть в стихшее жильё, еще с самого порога, в щель двери, была простая фраза:

— А-сын-где?

Он ведь знал, что «сын» — это только я. И тут, у двери, стою перед ним. Ведь близнецы к этому позднему часу уже крепко почивали. Да и жена предсонно возилась в глубине квартиры, перебирая нескончаемое рукоделие. Она вязала на спицах у смутного берега.

А может, отец на самом деле говорил:

— А, сын, где...

То есть не звал, а обращался ко мне, обрывая фразу, увидев меня. Что же таилось дальше, за коротким словом «где»? Мне некого спросить.

Мне не позабыть контраста между его белейшей голизной, маячившей передо мной мгновение назад, и проваленными синеватыми глазницами — тяжелыми, как темень за незанавешенными окнами кухни.

Он отворачивался к скользкому сине-черному окну и вглядывался в бездонное никуда. Сквозь проницаемый лик своего отражения. Как-то по-особенному тихо, безглазо. Но молчание его было не тихостью, а чем-то вопиющим, словно он собирался что-то такое важное для одного меня тихо и торжественно произнести.

Все проистекало как в очень плохом кино, будто вот-вот услышу треск ленты. И все оборвется.

Потом, не выдержав этого труда, отец тяжело ниспадал в мутную стопочку водки. Словно сам опрокидывался в нее. Тихо и обреченно крикнув. Хлебал постные щи с грибами.

Почему-то тогда сумма его невеликих движений предстала передо мной гигантским самоотвержением.

Он обычно подсаживался к столу, как-то неуверенно устраиваясь — далеко и сутуло. Не за столом, а именно около. Почти наваливаясь на плоскость столешницы, на позорный орнамент клеенки. Склонив голову так отвесно, что за ту каникулярную неделю мне ни разу не удалось увидеть, как он ест.

Лишь стальная ложка поднималась вверх и опускалась вниз в тупости внутреннего завода.

Мне видится его начавшая редеть макушка. Он, наверное, сильно полысеет.

Левой рукой он всегда мял ломоть серого каравая, так и не поднеся ко рту ни единой крошки. Все его жесты оставались незавершенными. И их неполнота тревожит меня.

Он комкает мякиш, топя в нем узкий след указательного пальца; и мне совершенно ясно, что его рука совсем не подходит для военного дела.

В первый раз, когда вечером увидел его за едой, — первый приступ невероятной жалости к нему, к этому неблизкому человеку, охватил меня. Навернулись ли слезы на мои глаза? Теплая волна сострадания двинула мое тело к нему, и я сделал шаг. Но только внутри себя самого, оставаясь в полном покое.

Цветок алоэ, зеленеющий в горшке на подоконнике раненой елкой, мгновенно заслонил все мое зрительное поле. Половина ростков была уже сощипана на примочки от чирьев, не покидавших хилых близнецов.

— Ой, да не спеши ты, не отыму ведь еду-то, ай-яй, — сонно балагурила совершенно не к месту, вороша мягкие согласные своих причитаний, жена, войдя на мгновение на кухню. Очень добрая тихая женщина; она обращалась к нему не по имени, а системой особенных причитаний, в чьем перечне «ой» — самое употребительное.

Он в ответ взглянул на нее, будто она была сделана из резины, и не очень хорошей.

Эта мягкая женщина была столь не ясна мне, что ревность меня ни разу не посещала. И ей совершенно недоступна была природа его спешки, протекающая из тотальной скуки, уже совершенно овладевшей им.

Интрига жизни отца, связавшая его с этой женщиной, останется для меня загадкой.

Все особенности этого человека, из которых он и был сделан, громоздились за плотной непроницаемой стеной его тела и взора. В свою теперешнюю жизнь мало чего он взял. Книг — всего одна глупая короткая полка. Даже себя прошлого он где-то по дороге оставил.

Я его не узнавал. То, что меня цепляло, было настолько болезненным и жалким, что уже не нуждалось в сострадании. Он переживал скуку, куда вступил без меня. Но я разумел его, его переживания больше и больше. И мне становилось не по себе. Будто о чем-то догадывался.

Да и на что я был тогда способен в этом заторможенном времени военного городка? Серый заплаканный кирпич трехэтажных домишек, газовые трубы, серебряными жилами пущенные от дома к дому, упитанные тетки носят на руках младенцев в одеяльцах.

Время неизменно.

Дети всегда остаются маленькими. Они пищат, их самозабвенно укачивают, предьявляют друг другу, над ними укают и гуляют.

Все предметы, кажется, уже стертые и лишены своих имен, они ничем не помечены. И это — конец жизни моего отца, ее зримый избыточный предел. Если вообще возможен предел неизменности. Когда седьмое ноября этого года повторит седьмое ноября года позапрошлого и одновременно будущего, могущего наступить через год или сто десять лет. Это — таутология пассивности, повторяемость того, что само по себе уже ничего не значит. Отец существует в этом не-пространстве.

За те дни меня несколько раз настигали выразительные сцены офицерского быта, но со всею очевидностью мне было известно, что они повторымы. И потому были совершенно безразличны мне.

Впервые я уразумел тогда, что значит «всёравно».

Не «все равно», а именно одним словом, слитно.

На подступах глухих мордовских лесов, в самих лесах действовала совсем другая орфография. Другие правила нарицания — всех моих качеств, всех моих чувств, всего того, с чем я тогда встречался.

Мне даже казалось, что я заново привыкаю к своему имени. Нечасто произносимое отцом, оно медленно ко мне прилипает, обволакивает меня. И я попадаю в зону, откуда давно уехал. Материализуюсь наново. Будто сам себя наращиваю. А отец, наоборот, из реального человека, о каком мне все время думалось раньше, становится не вещественным, неким поводом, и к нему я должен был приложить тогда свои чувства, а теперь — их итог, превратившийся в воспоминания. Возможно ли это?

Мне кажется, что все легко просачивалось сквозь его тело.

Ведь, сгорев, став пеплом, он превратился в сокровенную драгоценность. Чья непомерная роскошь наконец заключена в безвластии надо мной.

Ведь, оставив меня, он обратил и меня в ветошь. Вся моя память, все мои изжитые чувства будут всегда казаться мне ветхими. И всю свою жизнь мне придется доказывать самому себе, что я нахожусь не в зоне кажимостей.

И только теперь, через свою пассивность, — смогу наконец обрести над ним власть и силу, которых как бы и нет, так как они отсрочены.

Его новая жена нигде не работала. Да и где ей работать в военном городке. И она все время что-то делала по маленькому, но переусложненному хозяйству, мчась по сияющим половицам, мимо меня, скользя на подошвах толстых носков, простодушно улыбаясь, смотря чуть вбок и почти не

разговаривая со мной. «Ну, читай, читай книжку. Интересно, наверное? Ну, погуляй, погуляй, подыши, да не дерись ни с кем».

Мне думалось, что она легко и незлобиво претерпевает меня в их доме, как непонятный след, оставленный моим отцом в неведомом ей прошлом. Она искоса всматривалась в меня, словно таким образом хотела постичь его. Так казалось мне тогда в каком-то истовом самозабвении. Ведь все было ровно наоборот.

Мне чудилось, что, слепо соболезнуя отцу, она заодно терпит и жалеет меня.

В доме царствует соблазн возобновляемого порядка. Но надо всем висит легкая тревога. Она восстает из многих звуков: шипения разгоряченного утюга (а она все время гладит и наглаживает), из свиста синего газа (а она все время что-то стряпает), из легчайшего шороха мышей в клетке (когда она проходит вблизи клетки), из утробного бульканья выварки (она ведь все время кипятит белье или одежду).

Может, эта женщина так доказывает свою неотменяемость в отцовской жизни? Может, она снова и снова должна выслуживать его одобрение, на которое он уже и не способен?

Ее профиль навсегда соединен с блестящей подошвой утюга. Она смотрится в его смутную зеркальную изнанку. Заглядывает в кастрюлю, чью большую крышку приподнимает с шумом. Может, тоже хочет найти там свое волшебное отражение?

Мне ведь совсем не хочется писать о том, что она была одноглазой. Лучше бы и не заметить этого вовсе. Чтобы легче было жить моему отцу. Чтобы мне было легче думать о том, что ему легче жить с такой женщиной.

Мне приходилось старательно делать вид, что не замечаю ее изъяна. И, может быть, поэтому всегда выдавал свои подозрения. Ведь я глядел в ее живую глазницу, но так старательно и пристально, что, не выдерживая моего взора, она всегда заметно терялась, отворачивалась, но не в ту, здоровую сторону, а подставлялась своим неживым, чуть замутненным оком. С всегда прилипшими несколькими ресничками, чуть подтягивавшими или чуть выворачивающими ее веко. Обычно они прилипали во второй половине дня, уже под вечер, перед приходом отца.

«Ну почему ты такой наблюдательный», — зло думалось мне.

И эта переброска взорами с новой женой становилась для меня злокозненным азартным неостановимым спортом.

И, мучая ее, ничего не мог с собой поделать.

Вечерняя трапеза так и оставила отца в моей памяти сквозным существом, собранием прорех, фантомом. И мне было доподлинно известно, что, едя, он ничем не наполняется — ни щами, ни водкой, ни хлебом. Снедь просто незримо исчезала. Сама по себе. Куда-то пропала и хлеб, ведь его он губами точно уж не касался. Отец становился в моем тогдашнем восприятии сетью, мереей. В эту снасть ничего не могло угодить.

И если бы он поднял тогда свое прекрасное усталое лицо на меня, то, может быть, его губ, прихватывающих пищу, я бы и не увидел. И он, будто зная об этом, вставал от стола, как-то уворачивая вбок свое безустое лицо, явно стеснялся на меня взглянуть. Что вот не может наполниться на моих глазах, стыдится и чурается меня, своего оставленного первенца. Такие дела. В этом мне чудилась некая торжественность и тайна. Они были обращены только ко мне.

И я ждал его вечерней еды, надеясь хоть раз посмотреть, как он жует — как двигает губами, как вынимает изо рта, из своих недр, пустую облизанную ложку. Мне зачем-то было важно знать, что у него все-таки есть сокровенное нутро. Под замкнутой поверхностью тела, лишённого возраста. Ведь он вообще-то был не намного старше меня. Всего-то на какие-то двадцать с половиной лет.

И все долгие дневные часы, предшествовавшие нашей общей с ним трапезе, как развратник, я представлял себе свое желание. То гнал его от себя, зло приближая. То со стыдом отрицал и грубо перечеркивал. Чуть ли не бранил его вслух. Ведь все-таки я был обуреваем приступом любовной страсти. К своему незабвенному отцу. Слишком близко к нему придвинулся. Или он ко мне. Оставаясь на месте.

Я искал участки проницаемости. Находясь в этих поисках безвылазно. В меня проникало то, что не вызывает жалости и сострадания, а порождает приступы настоящего страха и оторопи.

Они взяли меня в плен.

Все проекции жизни отца стали ко мне вдруг, помимо его участия или внятного желания, тесно прикосновенны. Без какой бы то ни было дистанции. В невнятном обобщенном виде — как абсолютная скука, тотальная неудача и бесконечная тоска.

И самое главное. Хаос, хаос и хаос.

Недоумение насыщало меня тревогой.

Зачем ему эти совсем не любимые им люди? Что его с ними соединяет и связывает? Какие такие ужасные обязательства? Какова их сила, если бедный пассивный отец уже ничего не может да и не смеет начать. Ни породить новую необходимость, ни переменить свою обескураживающе грустную участь.

Итак, он ускользал от меня, не выскальзывая из моих рук, не касавшихся его, а проходя через меня, словно дым.

Эта маленькая кухня, не освещенная, а, наоборот — затертая светом, все больше становится похожа на голограмму. Отец должен ожить в ней во многих ракурсах сразу. Я напрягаюсь, но он отступает в тень, так и не став объемом.

Значит, я его не любил.

И мне почти нестерпимо это знать⁸.

В отличие от моего вычурного чувства к матери, которую, не видя никогда, безмерно обожал. Всегда. Всегда. Ведь мне было известно, что она обретается в радужном облаке, хоть никогда, в отличие от отца, не воплотится в моем сознании не то что зримым телом, а даже слабым фантомом.

И именно этой присущей даже самому имени «матери» слабости я не смог простить отцу никогда. Будто он был в этом виноват. В том, что есть, наличествует, силен своим телом. Даже сейчас, когда его нет, я могу представить его неприкосновенные внутренности — единственный живой и живущий во мне объем. Хотя увидел их, когда он был уже холоднее, чем мертвец.

Вообще-то мне досталась только одна ипостась отцовской достоверности — вечерний запах. Да и эта невещественная субстанция, когда я уеду, исчезнет навсегда.

Ведь моя жизнь может сложиться так, что больше никогда не увижу своего отца живым и здоровым. Что мне останется от него — несколько писем и фотографий? Какой невыразительный скарб. На прямоугольнике «униброна» прямой высоколобый человек. Он словно вылез из пиджака. Как из норы. Чуть вперед. Молодые залысины, впалые щеки и усталые глаза, темные губы, чей рисунок мне не повторить. Взор, хотя он смотрит в объектив, потуплен и приглушен.

Почему-то всегда стеснялся смотреть на его темный рот. Не знаю почему, не могу догадаться. Хотя, нет, пожалуй, могу, но не хочу подобных умственных усилий со своей стороны. Может, можно получить решение иным способом. Когда-нибудь позже. Бог весть.

⁸ Я понимал, что наши часы могут не совпадать, но отстать они уже не в силах. Кто-то все время заводит пружинку. Это даже не механизм. Это — сущность. И я все понял, ничего не прояснив.

Когда он возвращался к позднему часу, будто утомленный Марс, из своей казармы, вместе с ним в дом заодно с его наготой вваливался тревожный боевой дух. Он контрастировал с тихостью отца. Он опережал его на полшага. Отец двигал его перед собой мутным поршнем, стенобитной машиной, легко разрушающей меня.

Я никак не мог понять, чем же все-таки пахло тогда от него, но потом догадался. Гораздо позже, совсем при других обстоятельствах.

Через многие-многие серые годы. Их было так много, что я их не заметил.

Так вот, когда меня однажды ударил или настиг, не знаю, как точнее, еле слышный липкий запах, и я вспомнил своего отца, склонившегося над тарелкой вечерней грибной жижи. Вспомнил отца, молча выступающего из своей военной формы, в домашних тапочках, какого-то куцего, белокожего, ныряющего в синий спортивный костюм. Он почудился мне совершенно живым.

В квартирах городка хронически не было горячей воды. Все жители костерили котельную, где демоны сбрасывали давление, выпускали белейший пар на волю, и он стоял бесполезным султаном над черной трубой. Военные жители и их жены ходили в единственную баню, поделенную неровной календарной чертой на мужские и женские дни. Четыре мужских и три женских.

Входя вечером в свою квартиру, где я, не увлекаясь, уже натужно, под непрекращаемое галдение двух одинаковых «ты» читал дурацкие книги, отец своим специфическим неопознаваемым, но наличествующим запахом словно бы заполнял тяготившую меня пустоту и наступающее к позднему часу молчание.

Ведь я вообще-то был сквозным, я был «продырявлен» двумя отсутствиями.

Уехавшим отцом, оставившим меня по своей свободной воле.

Умершей матерью, почти и не бывшей в моей жесткой жизни по воле ее судьбы.

Через меня спокойно продувал сквозняк. Мне казалось, что мне ничего не удастся удержать. Ни времени суток, ни света дня, ни букв военного детектива. Предатели, действовавшие в нем, были настолько омерзительны и корявы, что не вызывали и тени жалости, хотя их наверняка настигнут и расстреляют. Положительные герои были не лучше — сплошь дубоголовые советские скоты. Они беспрестанно клялись в вечной верности и рассуждали о честности. Их клятвам никто не верил.

Хороши были только верткие собаки-ищейки и бесстрашные собаки-проводники.

Но я-то всегда симпатизировал живучим отрицательным персонажам классических детективов. Профессор Мориарти был моим любимым героем, не говоря об омерзительном мистере Джекиле и чудовищном Дориане Грее. О них мне помнилось всегда.

В книгах с отцовской полки для меня не было никакого интереса.

Мыши угадывали приход отца гораздо раньше меня. Они привставали на задние лапки и нервно шарили усиками.

И вот с отцом на третий день, когда возбужденье мышей началось гораздо раньше урочного часа, мы отправились в гарнизонную баню⁹.

⁹ Мы общались с его новой женой только по поводу мышей. Через мышей. Посредством мышей. Мы обращались к серым крохотным густкам как к разговорнику, и они начинали шевелиться, «девочки» пили свежую водичку, возились в крупной мисочке, ждали какого-то «мальчика». Как понял я только теперь, мышинным «мальчиком» звался отец, и меня сковывает прилив жалости, когда я слышу это слово внутри себя, — будто я вижу интимную сцену и кто-то смотрит на меня, проверяя, с какой степенью искреннего соучастия я ее созерцаю.

В ванне почти по самый край стояла зеленоватая холодная вода — для хознужд, ведь, не ровен час, могут отключить и холодную. На шатучей двери подъезда уже краснело суровое объявление. Отец тихо выматерил какого-то прапора ...нко (не помню точно его фамилии), что сидит на кранах и пускает, сука, пар в бессмысленные небеса. Малолетних близнецов жена помывала в женский день. А сегодня был мужской.

Учрежденье вместе с котельной располагалось на дальнем, если можно так сказать, краю городка. Плац, расчерченный по неровному асфальту белым, двухэтажная школа, рядом магазин и клуб в одном доме, домишки, огороды, разбегающиеся дороги, как на глупых картонных играх, наступающие со всех сторон военные леса. Все опускается в близость рыхлых сумерек. Все отстоит друг от друга на расстоянии полета гранаты, брошенной немощной рукой ветерана.

В деталях зрелища, складывающихся в убогость, нет никакой активности, они словно лишены напора, будто сделаны из картона.

— Ты дыши, дыши, сын, дыши давай полной грудью, — угощал меня сырыми воздушами щедрый отец.

Шагая, он прогонял через себя литры свежего воздуха, как баян.

— Фитонциды, фитонциды, — произнес он нараспев начало неведомой мне раздольной песни.

И, мощно дыша, мы шли по темнеющей дороге. Молча, чтобы не исказить напряжение осенней свежести живых тревожных лесов. Они взбирались надежной волной на косогор. Я быстро привык к рыхлому свету сумерек.

Отец прервал молчание. Попросил меня подержать нетяжелую сумку со скудной банной амуницией — чекушкой водки, веником, мочалками и сменой белья.

Не отворачиваясь от меня, он расстегнул пуговицы на штанах, выудил мягкую дугу своего члена, чтоб облегчиться.

— За компанию? — склонил он голову, глядя мне в глаза.

В лице его что-то изменилось. То ли он чуть ослаб, то ли что-то еще. Но обычные его напряжение и натужность явно ослабевали. Мне показалось, что жесткая прокладка, пролегающая между черепом и сдержанной мускульной маской, смягчилась, разгладилась и по ней прошли какие-то легкие токи. Будто я его узнавал... Он был легко освещен изнутри.

Струя урины, резким шумом буравя холодающий час, ввинчивалась в обочину, в ее мякоть. Это был бесконечный эпизод, и мне казалось, что все, заизвестковываясь, застывало. Сдвинуться даже на микрон было невозможно. Этот эпизод годился для эпического полотна, так как в нем нет ничего дерзновенного и омерзительного. Я удерживался в нем не банальной силой своей тяжести или волей случая, что свел меня с отцом, а напряжением животной тревоги и душевного отвердевающего вещества. Будто вот-вот начнется буря и сметет меня и отца с этого безнадежного потемневшего клочка сиротского времени.

И этот эпизод оказался воистину гигантского размера. Он до сих пор давит и теснит меня.

Вот — мы оба с ним, с моим несчастным отцом, — абсолютная быстротечность, и мы, в сущности, — одни на всем белом свете, тревожно обступающем нас.

Отец виделся мне как сквозь сон. Я увидел все его неудачи. Увидел, как он мне во всем признается. Во всех несчастьях. Так оно, впрочем, и оказалось.

Я не могу поручиться теперь за достоверность того события.

Я ни в чем не уверен. Только лишь в том, что к нам обязательно придет смерть. К нему — пусть во сне как завершение тяжелой и долгой болезни. А ко мне... — пока не знаю.

А пока я смотрю на него. И когда он лишится своей текучей субстанции, может начаться что-то совершенно новое. Для нас обоих. Это было чем-то вроде жесткой неотменяемой связи.

«Вот я и увидел твой член», — подумал я тогда, не изумившись тому, что меня не коснулась и тень смятения и во мне не пронеслось и легкой толики стыда.

И я не отвернулся, и я не почувствовал себя Хамом, так как никакой частью своего существа не насмехался над ним.

Ни душой, ни телом.

Ведь они-то, душа и тело — мои, оказались, и я впервые понял это там, при тех тихих обстоятельствах (и не смею поименовать их дурацкими), еще и отцовскими.

До меня дошло, что и я — это он.

Абсолютно сразу я почувал знак равенства. Он пролег между нами¹⁰.

Да и потом, что я тогда увидел? Кто объяснит мне? Просто член своего отца? Его некрупный смуглый конец?

Теперь-то мне абсолютно ясно, что я увидел, что отец позволил мне в самом себе, отошедшем так далеко от меня, уразуметь. Вопрос только в том, понимал ли он сам это?

Ведь, по сути, единственное, что я в нем, без тени стеснения мочащемся на моих глазах, различил, невзирая на тяжелые для меня подробности, которыми сейчас испещряю текст, был его чин.

О, не военный, конечно, нет.

Я уразумел в своем отце (о котором уже не мог сказать даже самому себе безлично: «в нем») сокровенность и особенность.

Узрел всем своим сердцем в своем единственном отце невещественный, но абсолютный чин существа.

Когда он мочился, он становился стихией, равной земле, как гряда почвы, сваленная в гурт, как мерно сгущающийся вечерний холод. Звук струи, разбивающийся о почву, был настолько громок, что слышался мне не звуком, а как рокот, порождаемый черноземом.

Я это видел так же, как темное дерево, одинокую старую березу, стоящую в десяти метрах. Но то, что я увидел, не имело ни меры, ни веса. Оно было невидимым и бестелесным, так как происходило во мне и было мною. Слово бы для меня осталось только — его болезнь, похороны. Я каменел. Я становился почвой, орошаемой отцом, я становился струей и, наконец, самим отцом.

— Ты что? Ослабел?

О, не отталкивая и не отстраняя, он проверял меня таким нехитрым образом. Не буду ли потешаться над ним, над почти чужим мне мужчиной, ведь я не видел его столько лет и не успел за эти несколько дней к нему привыкнуть, с трудом обращался к нему на «ты», огибая слово «папа».

Ну все-таки, может, ему мерещилось — не стану ли я брезговать и презирать его. Буду ли с ним так же серьезен? Может быть, он хотел в этом убедиться.

Но разве я мог презирать его, еще чужого, которого только-только с трудом начинаю принимать за своего.

О!

Того, кто разоблачался передо мной и вот предстает сейчас в случайной слабости и полном доверии.

Но в таком, когда доверяют, не договариваясь ни о чем. Ни о какой общей вере.

Он стянул последние капли со сморщенной закрытой плоти. Я понял теперь, на что так похож увядающий бутон розы. Я почему-то почув-

¹⁰ В этом не было стыда, так как ни одного слова о его теле, скрываемых частях тела я не произнес. Я просто это узрел, не уразумев.

ствовал торжественность, жалкость и несуразность испытания, которому он меня, сам того не понимая, подверг¹¹.

...Он катит навстречу мне маленький паровоз вдоль половицы, как по путям. Присев на корточки, азартно пыхтит, выпуская невидимый пар: «Чух-чух-чух». Я раздраженно и капризно уличаю его: «А паровоз без дыма не ездит». Он закуривает папиросу, выдыхая, набивает ватным дымом игрушечный локомотив. Дым почти как настоящий, он стекает на пол. Я наползаю лицом на игрушку, чтобы уловить начало чудесного самодвижения, захожусь в кашле. Бабушка с гневом выставляет его докуривать на кухню. «Дурень, разыгрался!»

Вот что есть в моей сквозящей памяти.

А потом, появляясь все реже и реже, в один прекрасный летний день он куда-то укатил, собравшись незаметно от меня. Я только помню шелканье затворов на чемодане. Исчез как туман. Через несколько дней исчезнет и клетка с его мышами.

Есть ли во мне обида? Есть. Но на него, застегивающего передо мной штаны, — нет.

Глядя на него тогда, я понимал, что смотрю все-таки сквозь, в даль, теряющуюся за темным полем. Но горячая волна чего-то странного, состоящего из стыда и счастья, мгновенно залила меня, изойдя из самого солнечного сплетения.

Отец начинал мной властно овладевать, ничего не совершая для этого. Он из имени, которым я называл его, из краткого слова «отец» входил в плоть человека, обряженного в плохую одежду, стоящего рядом со мной так близко, что его можно потрогать.

У жирной обочины разъезженного пьяными бэтээрами грунтового шоссе.

На краю перекопанного картофельного поля.

С чернеющим лесом вдали.

И мне показалось, что видимое мною столь сильно, что вывернуло меня, но не свежая наизнанку, а в ту сторону, где простираются мужественность и сдержанность, сила и вера.

Что-то во мне переменялось. Я упал в пропасть, у которой далекое упругое дно. И смог встать там сразу на обе ноги.

Я пережил некий знак равенства, вспыхнувший между мной и этим человеком. Равенство, смененное чувством острой потери и сожаления о быстротечности. Нет, не струи отцовской урины, что текла мощно, разбиваясь у земли в хаос капель, а всего неостановимого, что мне сигналил о смерти.

Словно он абсолютным образом доказал мне, что именно жидкой ипостасью своего тела, в каком-то смысле уменьшеньем себя, подвижным жгутом субстанции, истекающей из его тела, он вызвал к этой жизни меня.

Подозвал к себе и поманил.

Оттуда, оттуда, где у меня не было ни склада, ни имени, ни оболочки.

Я стоял вблизи него, и мне казалось, что струя, стекающая из его члена, жалко продвигающаяся его тело, увеличивающееся в моей памяти, может меня задеть, утянуть вниз, в почву, как можно дальше от этого человека, который все ближе и пронзительнее делался моим единственным отцом. Могущим меня породить еще один раз. Если я вдруг умру. У него на глазах.

Вся глубина времени, отделяющая меня от него, предстала мне образом перепаханного черного дурного поля. Темная лужа проваливающейся в почву жидкости. Что она символизирует? Какую славу или поруганье? Чью смерть? Кто еще не родился? Что не родилось и не появится никогда?

¹¹ Будто он уже был тогда болен, думал я позже. Словно мне надо будет за ним долгие годы ухаживать, не испытывая и толики стеснения, только соболезнуя и утоляя его муки. Но этого не случилось.

Ответа нет.

Удивительно и неотразимо я почувствовал, что он непременно умрет.

Так ведь оно и оказалось. И надо честно сказать, что когда меня через многие годы, через целую эпоху, застигло известие о его кончине, оно не произвело на меня абсолютно никакого впечатления. Смерть всегда будет во мне заслонена другим¹². Будто уже один раз мне пришлось пережить его смерть, его исчезновение, торжественный переход из мира обычных людей в особый тайный континуум моей души. Если она у меня есть.

Мне показалось, что я провидел тогда горсть серого пепла, гораздо светлее золы, сажи и копоти. Вдруг увидел то, чем он стал или станет.

И не могу поручиться, что именно в тот миг, на краю распаханной почвы, в моем уме не пронеслись сразу все эти картины моей жизни, путая линейность течения белого пустого будущего, вдруг ставшего настоящим. Представшим случаем, произошедшим почти со мной. Ведь всё, даже я сам по себе, сплочено из тоски и сожаления, и они навсегда незавершенны и невещественны.

Это была моя первая катастрофа.

Познать и ужаснуться своему недоумению, его бесконечной мере...

Не понять ни причины, ни правомочности своего собственного бытия здесь...

Испугаться случайности промысла...

Увидеть воронку мира...

Прозреть ее в луже, оставленной отцом на обочине поля...

Между горбами перепаханной мягкой земли кое-где завалился поспевший снег. В свете темнеющего вечера он был едва различим. Будто почва его зажевала черными губами.

В остывающей бане еще копошилось совсем немного голых мужиков.

Уже половина ламп была отключена.

И парилка сырела своими распаханутыми черными внутренностями. Тяжелела исподом.

Отец клял этого жлоба ...нко, этого матерого ворюгу и гада, и здесь перекрывавшего краны, пар, кипятик и свет за целый час до урочной поры.

Отец все уворачивался от меня, будто устыдился наготы своего срама. А может, так и было на самом деле. И, сидя рядом на лавке, зажимая свои тугие безволосые ноги, быстро покрывал себя мыльной пеной, словно хотел ею одеться.

Он был очень далеко от меня, как во всей моей прошлой обычной жизни, прошедшей без него, на расстоянии более тысячи километров. И меня не было рядом с ним. Нас разделял грозовой горизонт.

Он, сохранивший фигуру подтянутого недоросля, как-то зажимался, тускнел и ежился вблизи. Неужели он меня боялся? Но мне был неизвестен его секрет, и он от меня не зависел.

— Вот ведь, людям отдохнуть не дают нигде нормально, по-человечески, даже в сраной бане, а, сволочи, ну какие все-таки они сволочи, — начинал вдруг по-старчески бубнить он. Он как-то мгновенно и болезненно слился со своим еще не наступившим старчеством. Он морщился. Пережил мгновенный толчок времени, показавшего ему его место в этом мире.

Он обвинял вся и всех, он, называя весь мир «они», упрекая его. Он слабел на моих глазах. Эта беспомощность, эта жалоба так не совпадала с его боевым поджарым телом.

«О, папа, мне безумно тебя жалко, не надо так сетовать, ведь я ничего не могу для тебя сделать», — думал все время я.

Но вслух ничего ему не говорил.

¹² Даже не тем, что в морге больницы, по ошибке зайдя в другие двери, я спокойно опознал его распоротое тело с перламутровой мешаниной тяжелых внутренностей.

Он, не вставая, сжав свои ноги, совсем став русалкой, быстро потер мне спину¹³.

— Ну что, ополоснемся, сын, и по домам? — спросил он серьезно.

Спросил меня, меня, уставившегося в воду, сидящего рядом и просто так болтающего в тазу рукой.

Я замерз.

Вода шла за лопастью моей ладони медленной воронкой.

Крышка мыльницы плыла в этом мальштреме как кораблик.

Ведь я на самом деле к отцу так и не прикоснулся. Даже через промокшее лыко старой мочалки.

Я тогда думал — ну отчего я этого не сделал? Не коснулся его.

Ну отчего?

— По домам, — повторил он.

Он не оговорился, у нас с ним были разные дома, но он этого не понял.

Я словно проваливался в беспощадное настоящее.

Он, этот человек, гнувшийся тугим стволом в полуметре от меня, сам моющий свое невещественное тело, был только видимостью моего отца. Ведь я не мог коснуться его. И он становился абсолютной кажимостью, итогом свечения, концом неприкосновенной теплоты и непроницаемой близости. Мне кажется, что он сам, его голос не имеют к веществу его плоти никакого отношения¹⁴.

И желтый банный свет, и парная муть, еле ворочавшаяся у светильников, и редкий испуганный шум последних шаек — стояли между нами темным фронтом. Я чувствовал всем своим существом, что он все это время меня неистово стеснялся.

Его стеснение заразило и меня.

Я стал бояться, что у меня может встать член. Внизу моего живота что-то перекачилось и екнуло. Чем же мне тогда прикрыться в голых банных стенах, в одном метре от него? Что он подумает обо мне? Как он меня поймет и кого во мне тогда признает? Какое животное? Пса? Росомаху?

«Ох...» — выдохнул я. Отец поднял на меня быстрый взгляд. И я нестыдливо почувствовал в нем мокрость и теплоту. Он что-то понимал во мне. Не больше, чем *что-то*. Но и эта неясность насыщала и успокаивала меня.

¹³ Я хочу несколько строк написать курсивом, он кажется мне летучим и легким, уходящим за общий трезвый строй речи.

Но вот он поднялся, отвернулся от меня. Оперся о лавку. Согнулся, чтобы мне было легче достать до его спины.

И я, словно в ответ на его доверчивость, заскользил своими мыльными ладонями по его телу, по могучей прекрасной спине, восходящей капителью, круто расширяющейся к плечам. А потом стек вниз, круговыми движениями по стволу позвоночника. По бокам — к узкой пояснице, перехваченной следом загара. Спустился еще ниже — к впалым белым ягодицам. И ребром ладони в — темноту меж ними.

Я делаю все совсем легко и тщательно. Совершенно не стесняюсь своих магнетических насосов. Ведь он мой отец. И мы ведь вот-вот расстанемся с ним. Совсем скоро. Я растирал драгоценную пену своей галлюцинации по его телу чересчур долго, безмерно длительно, целый век, но он ничем не прервал моих движений, будто вошел в податливый анабиоз слабости. Исподлобья взирая на него, я старался овсюю. Ведь я хотел показать ему, что вот — я сдаюсь, я люблю его. Вот — я готов сделать ему приятное. Вот — я умело удерживаю жалкое мгновение его зыбкого удовольствия. В его тяжелом мире, где он попран и все проиграл. В мире, куда я попал, в сущности, только на одно мгновение. Я будто жму на лыковую мочалку сильнее и сильнее. «Уф, сын, как хорошо, как мне хорошо», — кажется, умиротворенно бухтит отец. «Давай еще, еще. Три, три», — ласково просит он меня.

И я напрягаю волю, чтобы задержать это время, время его мнимой речи, обращенной ко мне, в мою пустоту. Мне чудится, что я весь делаюсь больше, так как переживаю непомерное напряжение.

¹⁴ Когда я его таким вспоминаю, то понимаю, что я, смотривший на него, и он, представший в моем зрении, а теперь в воображении, един со мною, вмещен в меня, и к сего... яшнему дню — непомерно больше, как маленькая матрешка, переросшая свою внешнюю оболочку.

В холодной раздевалке мы сидели на лавке рядом друг с другом. Как будто и весь день мы провели вместе, прослужили, и вообще все время до этого дня стало для меня общим.

Ничего, мне легко вытерпеть липкую сырость. Не нести же отцу свою чекушку водки обратно домой.

Он выпил ее содержимое в несколько заходов, каждый раз отворачиваясь в сторону, один на один с собою. Он нюхал после каждого залпа тыльную сторону ладони. Кожу у самого основания большого пальца. Зажимая узкие конские ноздри своего правильного носа.

Подпирая нос крылышком ладони, он будто обиженно показывал кому-то, что вот — по самый нос его достали. Еще немного, и он просто здесь, в этой жизни, утонет.

Я боюсь взглянуть на него. Он сидит согнувшись, прикрывшись от меня, обретая непомерный неотцовский стыд, будто он — мой любовник и боится выдать себя хоть как-то, жестко положив ногу на ногу, деревенея в этой позе. Внизу живота легкие нетемные кучеряшки. Ни члена, ни мошонки не видно. Они канули в глубине его слишком стыдливого, предательски стыдливого тела. О, как хорошо, что его стеснения кроме меня никто не заметил. И я могу спокойно рассмотреть только его тонко очерченные, застывшие в неподвижности ступни, как на прекрасных натуральных штудиях классицистов, — веер тонких жил, разбегающийся к чуть подогнутым пальцам, гладкая желтая молодая кожа. «Самое уязвимое место его тела», — почему-то подумалось мне. И я фотографирую его ступни бесконечно долго. Я весь завален липкими свежими карточками моего тайного «Полароида». Но мне их не хватит на все предстоящие годы. Я вдруг понимаю мизерный запас памяти.

Мне прикосновенна военная татуировка на его гладком, совершенно белом плече. Я вижу, как она остывает вместе с ним. Вместе. Мне кажется, от нее еще восходит слабый пороховой дымок. Как из дула после выстрела. Чем бы она запахла, если бы мне хватило сил и доблести понюхать ее? Совсем вблизи. Ну, лизнуть?

Как же мне вспомнить, Господи, какая там была выколота густая картинка? На самом-то же деле! Что? Ну? Танчик? Пушечка? Маленький парашют? Какова она на вкус? Ну, солона ли? Не узнать никогда.

Это одна из самых больших потерь в моей жизни.

Вот, у меня нет никаких отцовских примет. Все, что виделось, — покажется мне домыслом. Я не имею ничего достоверного. Образ, обитающий во мне, — просто фантом.

И облик его будет обречен исчезновению.

— Все-все, мужики, запираю, расходимся, кто не поспел — по хатам, к мамкам под бок. Сейчас как свет всем вырублю, пиздец! — бухнул дверью каптерки наглый, непомерно веселый прапор ...нко.

Он обвел свою территорию. Скупо улыбнулся, поджав губы.

Отец как-то подобрался по-животному, распрямился, встал во весь рост. Чуть не бросился на него с кулаками. Столкнул пустую чекушку. Выдохнул с низким шипением:

— Ты, блядь, ни дома не топишь, ни в бане посидеть по-людски не дашь! Ах ты крыса! Тыловик хуев! Прилипала!

Прапор шагнул в сторону отца, провел по его телу медленным смеющимся взглядом. Словно липкой широкой кистью. По моему голому, моему позорному... Снизу вверх — от драгоценных ступней, по плавным голеням до сокровенного, выставленного на мировой позор срама. Где и остановил свой липкий взор. Куда он наконец спокойно вперился. Он чуть поднял брови. Я вижу, как он лыбится, покусывая сжатые губы. Господи,

я рассмотрел каждый сегмент этой сцены. Она, произойдя, началась снова и повторилась во мне многократно.

— А за «блядь» еще ответите, товарищ майор! — преувеличенно спокойно сказал прапор, не поднимая взора. Он перелетел через паузу как победитель.

— Кругом! — уже орал посрамленный отец.

Он не почувствовал ритма этого поединка. Он проиграл изначально.

Выкрик напряг его, и он предстал мне мраморным. Даже в банном сумраке мне было видно, как по нему расползлись румяные пятна гнева. На мгновение отец стал далматинцем, вставшим на задние лапы. Он мог броситься.

Но прапор ...нко знал себе цену. Он со спокойным презрением вышел. Особенная тайна раскрылась и схлопнулась. Я понял невыразимую муку моего отца. Как гимн.

— Не надо, папа, — сказал я.

— Да, — кивнул ослабший отец.

Он будто сразу заболел.

Это его «да» стоит в моем пищевом, словно я им навсегда поперхнулся.

И сейчас, когда думаю, как он умирал вдаль от меня, то припоминаю именно ту сцену и то невыносимое, притупленное, словно он слишком много употреблял про себя, то самое «да». Такое, за которым следуют усталость, отупение и ступор.

Утром под кухонным столом у плинтуса моя стопа в мягком носке задела засохший кубик серого мякиша. Я долго берег этот след отцовского инстинкта. Перевозил от жены к жене, а потом спрятал так, что потерял. А это был подарок из его добровольной тюрьмы, переданный на мою несчастную волю.

Разговор у меня с отцом так ни разу и не заладился с самого моего приезда. Мне остается ревниво пережевывать нашу встречу, рассыпавшуюся на сегменты¹⁵.

Ревность насыщала меня, как и ненависть к самому себе за это жальщее меня чувство, выжимающее и изнуряющее меня. Ведь мне было непонятно, на что оно было направлено. К чему я его, почти несуществующего, ревновал. Может быть, к его отсутствию в моей жизни, но уж точно не к скучнейшим людям, подле которых он, смущаясь меня, испытывал великую скуку и голое нескрываемое отчуждение.

К вечеру я застигал самого себя, точнее, свое тело за чтением скудоумной книжки из серии «Военные приключения». Глаза перескакивали строчки, губы втягивали в себя комнатный эфир, и я понимал, что он, насыщенный прелью сухих грибов, висящих бусами тут и там по всей квартире, слишком велик мне, проходит насквозь, не задевая, не насыщая, не густея во мне, совершенно бесполезно и безвкусно. Этот образ дурной тра-

¹⁵ Я с необъяснимой горечью вспоминал. Он встретил меня между путями, как будто уже война. Он пожал мне руку. Как гражданину. Товарищу по будущей службе. Подхватил мою сумку. Легко забросил ее в багажник своего куцега автомобиля. Всю лесную дорогу он молчал, ведь дежурные расспросы — как закончил эту чертову первую четверть и кем собираюсь, в конце концов, стать в своей жизни — не в счет. Тем более он был в этом осведомлен из пространных писем моей бабушки. Она как автомат ежемесячно сухо стучила ему отчеты. Описывая мои школьные невеликие с «три» на «четыре» успехи и свой пенсионный недостаток. Она ведь доказывала, что мы с ней ну абсолютно ни в чем не нуждаемся. Живем как все нормальные люди — строго по средствам. Даже с припасами и «откладыванием на черный день».

Я начинал сам себя шантажировать. Что? Будто уже тогда он стал уставать от меня. Сразу? И мне становилось грустно. Вещи занимали свои привычные положения. Оправдывались мои ожидания. Ничего не происходило.

Но все-таки он мне сразу понравился тогда. Даже невзирая на сухое деловое равнодушие. Ведь я приехал всего лишь знакомиться. Как будто мы нашли друг друга. Хотя на самом деле мне хотелось различить в нем себя. Это был мой тайный план.

ты жизни вводил меня в волнение. Заводил, как игрушку. Я начинал дышать полной грудью, мерно и глубоко, не насыщаясь. Мне всего делалось мало. И восстановить нормальный ритм дыхания я был не в силах. Я становился сквозным — через меня бежало время. Бесцветная секунда к секунде, темная минута к минуте, приближая меня к полному исчезновению.

Даже мне, тогдашнему юнцу, казалось, что отец как-то одеревенел. Ведь он действительно стал постыдно, прозрачно несчастлив.

Одни мышки привставали, как маленькие символы победы, когда он подходил к самодельной клетке, где они неутомимо строили гнездышки из бумажной шелухи. Интересно, переживают ли мыши счастье?

У него не задалась военная карьера, он не попал в столичную академию, он был множество раз обманут начальством, посулившим ему бог знает что, и вот он понял, что обречен на прозябание в далеких лесных гарнизонах.

Если только не новая война, откуда можно вернуться победителем. Войны не предвиделось.

И вот он признается мне в своем сумеречном, уже не оскорбляющем его несчастье. Он глупо возится с мышами. Чтобы он возился с близнецами, я ни разу не видел. Тогда я не спрашивал себя, а были ли они его детьми.

Это вездесущее несчастье, это тупое *оно*, видимо, растлевало моего отца. И он незаметно примирился. С теплым тлением внутри, наверное, под самой ложечкой. Ведь он часто тер себе грудину в том месте, где его нудило средостение.

На его лице я различил поношенную резиновую маску. Она мягко и отечно повторяла его прежние резкие, живые черты.

В единственный свободный от службы день он впервые собрался со мной погулять. Именно со мной, только одним. Все началось со вспышки раздражения, так как новая жена, не зная о его свободном дне, замочила что-то из его гражданского платья, и отцу пришлось надеть форму. Когда это выяснилось, бедный отец чертыхнулся в сторону мышей, будто они были виноваты, и стал стаскивать домашние треники. Взялся за форму. Его перекосило.

— Волглое не люблю. — И он прибавил как особенную язвющую новость: — Ведь знаешь же.

Будто ему надо было что-то мокрое натягивать на себя, прямо из корыта.

— Ой, да утюгом мигом-то все сразу высушу, погодьте полчаса, а? Заодно твои штанишки до стрелок отпарю. А? — жалко затараторила безмерно виноватая женщина.

— Паром провоняю, в обед попаду, — уже совсем зло заключил отец.

И мне до сих пор не ясно — чем же воняет пар? Воняет? Как попадают в обед?

Он ходил по квартире белотелый и поджарый, раздраженно натягивал галифе, чистил сапоги. Настроение его было испорчено. Видно, что толком надеть ему было нечего.

В форму он вдвигался, как улитка, как-то преодолевая липкость — выползал в скользкие завитки. Я чувствовал, что эта одежда для него — ненавистный кожух, в котором он многое претерпевает — печаль, издевательства, тупость и неотзывчивость своего времени.

— Ой, да только утюгом просушу, — лепетала женщина, безмерно виноватая.

— Не трожь, пусть так сохнут, только покорежишь, — говорил ей натужными согласными отец, застегивая слишком тугой крюк на тяжелой шинели: еле держивался, чтобы не обрушить на жену гнев.

Он преувеличенно не хлопнул дверью. Выходя, он ее прижал, как герметичный люк. Беззвучно.

На улице он оправлял обшлага. Проверял — мокры ли они. Единственный завершенный его жест, который я могу повторить. Но у меня нет одежды с обшлагами.

Мы дошли до убогого военторга, и он впервые держал всю дорогу меня за руку. Он сам, идя рядом, стянул перчатку, протянул руку и нашел мою вислую ладонь. Мне кажется, его обжег холод моей кисти, и он сдержался, чтобы не поднести ее к губам и не обдуть теплым воздухом из своих легких.

За нами шла кошка, полная деликатной грации, как знак параграфа или интеграла. Она мягко шествовала на почтительном расстоянии, иногда проверяя какие-то известные только ей точки, убеждалась — все ли там по-прежнему, все ли в том же безупречном, ведомом только ей порядке. Я впервые видел, чтобы кошка за кем-то шла.

Я перехватывал мягкий взгляд отца, обращаемый на животное. Он чувствовал свою тягу к ней. Наверное, так же, как и ко мне.

— Да вот сын на побывку приехал. За гостинцами идем, — говорил он трижды разным людям, встречаемым по дороге.

Одну и ту же фразу. Бесцветным голосом.

Одним и тем же тоном. Но в первый раз он именовал меня «сын», как примерного рядового, в другой — «сынок», как полкового любимца, и в третий — «сынишка», как возлюбленного баловня всей армии, которому все простится. Он говорил эти слова ровно, словно считывая их с листа, чтобы у встречаемых не возникло сомнения в моей сыновней связи с ним. У меня должны были появиться в их глазах высокое звание и громкий титул. О, если бы они сразу услышали три степени сыновности.

Почему «гостинец»? Ведь гостинец привез я — три литра меда. А может, он хотел побыть в гостях у меня? Дурацкое слово «гостинец».

Мне показалось, что ему тяжело идти со мной, что ему почему-то необходимо оправдываться в глазах встречаемых сослуживцев. Но, нарекая меня производными имени «сын», он словно предъявлял окружающим меня во всем родственном блеске, что-то им непреложное доказывая.

О странные люди, особенно тот, что сплевывал беспрерывно, пока о чем-то говорил с отцом. До меня донеслось однообразное склоняемых местоимений «моя», «ко мне», «моей», и я цинично ждал появления торжественных форм «моею» и «мною». Но вместо этого собеседник отца сплюнул в сторону кошки так мощно, что на облешем кусте волчьей ягоды, под которым животное копалось, повисла белая растерзанная медуза. Брезгливое животное метнулось к подолу отцовской шинели. Как под сень. Жалость переполняла мое сердце.

— Слышь, твоя кошара? Поймаю — удушю. Как машину поставлю у дома, так на капот садится, всю восковку истоптала, на дворники, падла, съят.

Замахнувшись, он сделал в сторону спрятавшейся кошки боевой выпад.

— Ну, будь, я, блядь, до гаража, — козыряет отцу человек-плевательница, показав два оттопыренных пальца. То ли голова черта, то ли три четверти стакана. От него пахнуло пережеванным перегаром.

Отец качает головой и снова берет меня за руку.

— Ну, совсем медуза, — говорит он.

То ли о плевках, то ли об этом человеке. В его словах не было ни брезгливости, ни осуждения.

Неотвязная кошка левой лапкой бережно закапывает за собой сырую ямку, она при этом странно смежает глаза, полные довольства.

— Как щурится, глянь, ну чисто баба, — замечает разудававшийся отец. Мне непонятно это сравнение.

У него совсем мягкая, совсем несильная сухая кисть. Это столь контрастно с жестким обшлагом рукава шинели. «Нежная лапа», — думаю я. Мне страшно, что он вот-вот выпустит мою руку, так как моя ладонь, как кажется мне, постыдно и отчаянно липко потеет, потеет и полна немужской холодной слабости. Как перед обмороком.

И он то и дело то напрягал свою кисть, то расслаблял ее, играя со мной, показывал мне, что всё, и я тоже, еще в его власти, что он якобы может все, что угодно, сжать и поворотить в любую сторону. Но мне было ясно, что ничего он уже не может, что от него уже ничего не зависит, что он опоздал и пребывает в глухом беспробудном тупике. В нетях этого захолустья.

Я почувствовал, что, глядя по сторонам, на дальние леса, перекопанные картофельные огороды, распаханые пашни и битые дороги, он не устанавливает между ними и собой предела. Что то, что простерто вокруг, — уже и он сам. И от этого мне делалось невыразимо грустно. Мне было его как-то невыразимо жаль. Почти больно за него. Но больно, если под этим понимать протяженность — им.

Как кажется мне сейчас, я его оплакивал.

«Ведь что за осенью?» — спрашивал я сам себя.

«Смерть, смерть, смерть», — кто-то трижды тарарахнул во мне.

— Что такой грустный? — Отец сам понимает, что задает напрасный вопрос, и сам не хочет, чтобы я на него отвечал.

Я взглядываю на него и молчу.

Он отворачивает лицо.

Мне не удалось ничего выбрать среди скудости бесполезных товаров. Огромные кастрюли-выварки, дуршлаги, многолитровые миски. Кухня Голиафа. Шеренги пухлых пальто и одинаковых костюмов. Плохая, какая-то босая обувь. Мыло, стиральный порошок и зеленый одеколон. Тоже шеренгами.

— Ты еще не бреешься, — вдруг говорит без вопросительной интонации отец, пристально посмотрев на мои щеки, губы и подбородок.

Я слизываю его взгляд с тыльной стороны щеки.

— Кажется, нет.

— Так «кажется» или «нет», скажи по-нормальному.

— Не «по-нормальному», папа, а просто «нормально», — зачем-то говорю ему, хотя совсем не хочу выправлять щуплые вывихи его речи.

— Тоже мне нашелся грамотей, как твоя бабка прямо. — Он не сердится.

Он проводит сухим пальцем по моему подбородку.

Во мне стихает шум леса.

— Нет, бритву еще рано. — Но он вдруг задорно приободряется: — А черт с ним, рано или поздно. Пригодится. Если мужик нормальный. Все в хозяйстве мужику пригодится.

В нем пробуждается другой человек.

Он запекает последнюю фразу куплетом «Как родная меня мать провожала». И это была единственная вспышка веселья, согревающая меня до сих пор.

И он покупает мне черную, как осенняя почва, электробритву «Харьків». В жестком футляре с зеркальцем на крышке, кисточками и щеточками для выметания щетины, с крохотной масленкой для смазки, с чернильными штампами в паспорте. Это настоящий сложный агрегат, усерьезнивающий отныне всю мою жизнь¹⁶.

Я делаюсь бритым мужчиной.

— Хорошая вещь. Хочешь — на двести двадцать, а хочешь — хоть на сто двадцать семь.

Он молча пристально смотрит на меня, он что-то начинает понимать, будто видит впервые.

¹⁶ Мне, кажется, стала понятна суть этой покупки. Будто он одарил меня особенным даром — из самой своей сокровенной и невыносимой глубины. Он будто вывернул логику муторной жизни, уже совсем обступившей его. Со всех сторон. И этот дар просиял для меня.

— Вольт, — говорит он через несколько длиннотелых секунд.

Молчит еще, рассматривая, склонившись над витриной, какие-то армейские штучки. Петлицы и кокарды.

Я думаю теперь, что он не речь прибавлял к молчанию, а молчанье суммировал с молчаньем.

И вот он тихо говорит мне, сжимающему гладкую коробку. Словно прорезает бессловесность:

— Ей не говори, она все копит. Только потом обязательно одеколон, не забудь.

Он переходит к заклинанию, к тайне, которую он мне поверяет. Смотрит мне в глаза, будто с трудом узнает:

— О-де-ко-лон... Ну там «Шипр» или еще получше «Тройным». «Тройной» крепче в три раза. У тебя на левой скуле будет скорее расти. Как у меня. Одна порода. Вижу. Одна.

— Еще что брать будете? Ну вот хоть звездочки крупные завезли. Не приобретете для пары, товарищ майор? — говорит с тихим вызовом отцу продавщица.

Глагол «приобретете» она словно почерпнула в инструкции, с трудом прочла.

Моложавая тетка со злым деревянным, каким-то вчерашним лицом.

— Не к спеху, — отвечает ей с пустой интонацией отец, подталкивая меня к книжному закутку.

Там еще скупые злые авторучки, серые тетрадки с кем-то из классиков, тушки небольших глобусов. Почему-то Луны. Одна половина белая, а другая, невидимая, — черная. До сих пор безмерно сожалею о той чудесной вещи.

Перегнувшись через прилавок, отец что-то неслышное говорит потупившейся женщине. Она зло слушает, стреляет в него опухшими глазами и убегает за занавеску в закуток.

До меня доносится сдавленное, взятое в войлочные кавычки:

«Да он опять. Да это пасынок с ним. Не его пасынок — Глазуньин, у нее утробных своих — два. Да дура ты... От кого? От духа святого. Сын — его, а не Глазуньин. Бритву. „Бердск“, да нет — „Харьків“ за двадцать семь. Сюрпризная. Уж с год лежала, пылилась все».

Показываются две другие продавщицы, как в самодеятельном театре, они задергивают за собой тощую занавеску, делая все происходящее совершенно прозрачным.

Эта реприза делается многослойным стеклянным кубом, где разговор оживляет зрелище, а зрелище делает разговор цветным. Отец выговаривает серые, как табачный дым, слова, они — ниспадают к его ногам хлопьями копоти, будто пригорела котлета.

— Ну, здарсьте, деушки, — бросает им протяжные кольца слов отец, став на секунду бравым премьером в этом театре.

Они испепеляют его.

Я киваю тоже, глядя в фасад нарядной коробки. Там портрет бритвы в натуральную величину. Зачем?

Мне неловко...

Стеллаж никчемных политических книг.

Что он им еще сказал — я не разобрал.

И мы вышли вон из торговой бедноты в те же самые двери. Он не настаивал на других покупках. Он подарил мне накануне темно-зеленую холщовую плащ-палатку. Зачем она мне? Чтобы я ночевал в чистом поле...

Глазунья...

О, какой кошмар, значит, он, мой бедный отец, тут прозывается Глазуньиным мужем. Муж Глазуньи. Лучше бы она звалась адмирал Нельсон, пират Джо, мифологически — Циклопка, Полифемка, но только не Глазунья.

Это перебор, это чудовищно, это метко, это прямо в глаз.

— Что? Попало? — спрашивает отец, видя, как я тру пальцем веко.

— Соринка, — отвечаю я.

Он отвернулся от меня. Он все понял.

— Да пошла ты! — бросает он раздраженно в сторону кошки.

Потом смягчается:

— Ну, нет у нас ничего, что, не видишь — нет ничего. Ни-че-го.

Кошка мягко отступает.

Мы молча шли домой. По пути нам уже никто не встретился. Он все-таки нашел в себе силы взять меня снова за руку.

Через грустное тепло его сухой ладони в меня словно перешло воспоминание об одной сцене, разыгрываемой бабушкой перед подругой моей умершей матери, Любой, о которой речь впереди.

Когда он уехал и сообщил через какое-то время о том, что то ли женился, то ли сошелся. На доброй местной женщине. Прислал в твердом конверте фото, подписанное с оборотной стороны. Отец, сидя рядом со своей новой очень доброй женщиной, безразлично смотрел вниз, — там лучи его зрения не сходились.

Так, короткая сценка, быстрый скетч. Приступ ненависти, порожденный на самом деле отчаянием, утратой власти, подступающей немощью. Бабушка шипела, показывая лучшей подружке моей матери, Любаше, Любе, Бусе разлюбезной, недавно полученное фото: «И такая-то мымира, глянь, его приворожила, на порог тварь с ним не пушу, чтоб глаза ее ослепли». Следом следовал краткий залп магического плевка. Проницательная бабушка по небольшому фото что-то почуяла про скрываемый ущерб. Она никогда зря не сыпала проклятиями.

Буся кивала, подмятая ее гневом, тупо качая головой, как китайская кукла. «А ты, дура-то, куда ж все смотрела? Проглядела, дуреха, свое счастье!» — бросила бабушка в бедную Бусю, еженедельно приходящую к нам, вернее, ко мне, смятый ядовитый ком. Та зарыдала, словно виновата во всем именно она.

Бабушка вообще-то насчет своего порога слово сдержала.

Отец так и не приезжал никогда.

Бабушка гневалась столь сильно на моей памяти лишь однажды, сразу по отъезде отца, после его ночного бегства. Когда униженно пристраивала в зооуголок домоуправления мышей, которых в один миг возненавидела. «В канализацию спущу, в канализацию, к говьяшкам», — почти кричала она на парочку тварей в клетке, давясь сухими слезами.

Эти вспышки ее гнева пронеслись во мне за долю секунды. И засели в подкорке навсегда, как занозы, как первые рифмы, прожегшие стопку бессмысленных лет, — насквозь. Они осознаны мной в моей жизни как единственный достоверный смысл.

Тогда ведь вдруг, помимо моей воли, впервые сошлось все и стало прозрачным и незабываемым, невзирая на все чувства, что я пережил. Чувства, что я пережил.

Позорные, смутные, язвящие, но неотъемлемые.

Делающие меня мной.

Назавтра отец увозил меня обратно, в тот город, где он когда-то жил со мной, где до сих пор обитал я вместе с его постаревшей матерью, в ее древнем упорядоченном мире.

Хотя я мог добраться и сам, без него — три часа на автобусе до станции и потом — на поезде. Но он хотел просто побыть со мной вдвоем. Ведь у него была жалоба. Словно он готовился ее каким-то способом поведать мне.

Ранним утром его новая жена, провожая нас, вынесла четыре трехлитровые банки к багажнику автомобиля. Две — маринованных грибов, две — моченой клюквы.

— На зиму ой хорошо. С картошечкой там, чайком, — как-то униженно промолвила она. И я понял, насколько она слаба.

И эти дары были принесены совершенно напрасно.

Неумолимая бабушка даже не позволила мне внести банки в дом.

Так их кто-то и подобрал.

Итак, мне шел пятнадцатый год.

И это — самая быстрая часть моих воспоминаний, потому что я хочу отделаться от них как можно скорее. Ведь мне не хватает на все наркоза.

По прямому шоссе мы неслись с отцом на его неказистом автомобиле через лесистую равнину. Она холодела на моих глазах. Я увидел — в черных бороздах редких узких полей, словно выбритых в лесу великаном, мерзнет жесткий снег. Красно-черные березняки с осинниками, сменившие темень бора, притесняли дорогу, как в одном тексте, который я прочел, будучи взрослым. И мне теперь кажется, что, сходясь, они трещали, как запрет, к которому я вместе с отцом придвинулся вплотную. Будто Бог собирался надорвать пергамент над самыми нашими головами. Слов, начертанных на нем, мне было не разобрать.

Стрелка спидометра, возбужденно дрожа, встала у отметки «сто». Наверное, это было на последней возможности автомобиля.

Сухие нервные руки отца, лежащие на руле, как на дуге мира.

Безукоризненно прямое шоссе гнется и горбится, оно брошено швом на живот равнины. Его прямизна — как бандитский быстрый порез тела. Когда-нибудь леса и поля, лежащие поодаль него, сойдутся. Все исчезнет без следа. Как и мы.

Я боюсь, что отец заснет и мы мгновенно погибнем. Точнее, я боюсь не смерти, мне просто жаль возни вокруг двух бесполезных покалеченных тел. Я брезгую, ненавижу быт похорон, которому был не раз свидетелем. Запах лесопилки, исходящий от халтурных гробов. Слезы, сопли, водка, торопливость преодоленной брезгливости. Искусственные ядовитые цветы.

Шоссе медленно и тревожно то опускается вниз, то начинает вползать вверх, будто мы едем по диаметру непомерного шара — так, впрочем, и есть.

Я чувствовал рядом с собой тело отца, равное биению моего сердца, равное гулу леса, идущему от набегавших справа и слева прямых стволов деревьев. Время густело за дверцей нашего помолодевшего от быстрой езды автомобиля.

Мы едем молча целую вечность.

Но почему-то темнеет, и отец начинает искать место для ночлега, так как встречные автомобили его слепят и он боится столкновения. Ему кажется, что ночью все едут как никогда не высыпающиеся солдаты-караульщики его части.

Он, чтобы успокоиться, кладет мне руку на плечо, отпустив передачу.

Гладит меня по затылку.

Его ладонь складывается в живой крупный лепесток. Я опираюсь о нее, как о подголовник. Его пальцы мягко вздрагивают.

Я чувствую достоверность и выстраданность этого жеста. Его необходимость.

Я чувствую, что в сумерках ему легче что-то необходимое пережить со мной. Перенести наш общий неделимый остаток. Ведь в нем заключены именно мы — друг для друга, неотъемлемые, постыдные в своей разделенности, кроткие и согласные на расставание.

Ему в сгущающемся свете делается свободнее.

У него тяжкая десница.

Я понял тогда через это прикосновение — кто я.

По плоти своей.

Понял себя как цитату, возвещенную им и продолжающую его.

Ведь кто я? Извещение о себе самом и о нем, о моем отце, одновременно. Ведь рядом со мной он меня все время ирреально порождает, так, что я делаюсь не нашими невысказанными отношениями, а их неподъемным весом.

Ведь я наконец-то понял его особенным образом, без помощи слов, так как у меня не было тайного языка, чтобы об этом понимании сказать даже самому себе.

«Господи, Господи, Господи, — с кроткой серьезностью повторял я про себя, — если Ты есть, не дай мне, добрый Господи, расстаться с ним».

Я понял, что иметь жалкого отца — больше, чем иметь сокровище.

Вот почерневшая пустота и редкие летящие двойные огни влетают в нас, делая нас неодоушевленными, распахнутыми и сквозными.

Моей молитве не за что зацепиться, и она тоже пролетает сквозь меня, оставляя во мне щемящую выемку.

Мне становится понятно, что я состою из иного вещества и тела во мне почти нет. Я делаюсь равным видимости того, что переживал. Для самого себя совершенно нереальным.

Ни одного моста по пути.

Ни одна железная дорога не пересекает шоссе, ни одного шлагбаума, где бы мы могли хоть на миг остановиться. Чтобы обездвиженность отяжелила меня или растворила, как полную мнимость. Ведь я пребывал где-то между ними. Вблизи фантома отца, которого страстно любил, и человеческого тела, принадлежащего другому мужчине, вычеркнувшему когда-то меня из своей взрослой жизни так цинически легко.

У слова «легко» нет границ.

Мы мчимся, чтобы больше не увидеться, понимаю я.

От руки, лежащей на моем плече, от пальцев, перебирающих мои волосы на моем затылке, я начинаю возбуждаться. Даже не от этого, а оттого, что моей близости с отцом положен серьезный и зримый конец им самим, ласкающим меня в первый и последний раз.

Ведь так и вышло. Потом мы так и не пересеклись. Нигде. При его жизни.

Хотя это и было сто лет назад, я помню каждую деталь той ночи.

Особенную страстную деталь.

Данную мне как отсутствие смысла и содержания. Как внятное одному мне незначашее пустое слово, но обозначающее дорогую мне вещь или желанное действие. Они уже настолько дороги и желанны, что имеют обратный знак. Они вывернуты.

Эта ночь зачеркивала все:

— календарные пределы суток (ведь дорога бесконечна и равна ночи с сияющими зодиакальными животными, наступающими и обгоняющими нас),

— закон мужественности (нежность отца поворачивала его ко мне другой, невероятно страшной и торжественной стороной),

— сыновний запрет (я-то ведь не мог быть с ним ласков, как и не мог отвергнуть его ласку, я не мог насмехаться над ним, но в то же время я безмерно желал, чтоб он был нежен со мной).

Он что-то тихо мычал себе под нос. Песню. Ее мелодии за гудением мотора я разобрать не мог. Может, это была колыбельная? На слова Лермонтова? Они сливались с шумом мотора и свистом дороги.

Он как-то серьезной кротостью меня пугал, и мне становилось страшно, но не его, а самого моего страха. Будто в отца, а я про себя понимал его не как «отца», а как некоего непомерного «его», постепенно вселялся другой, непонятный, но невероятно близкий мне, прекрасный и поэтому

желанный поющий человек. Мой смилостивившийся преследователь, подаривший мне ночную отсрочку.

Не мой священный неприкосновенный отец, а пугающе близкий мужчина, сплетенный из узкой ленты дороги, темной полосы небес, лучей, несущихся навстречу рассыпающимся слезными снопами. И самое главное — из моего страха потерять его. Не вообще, когда-то, а именно сейчас, на исходе его ласки.

Скашивая глаза, я наблюдаю его. Мой взор спускается по его высоко подобранным вискам, через гладкую скулу к подбородку. Я не замечал этой мягкости. Он — большой младенец, замкнутый серьезностью своего мира. Мира, претерпеваемого им. Мира, внятного только ему. Где-то за границей этого надежного напева. И из-за этой его новой безвозрастной детскости я перестал его бояться.

Но я был ни жив ни мертв, так как оцепенел от страсти. И мне не было стыдно. Стыд простирался за другими границами, которых я, может быть, так никогда и не достигну.

Повернувшись, я смотрю на его профиль, вспыхивающий со встречными огнями. Я знаю, что он чувствует мой взгляд.

Самый важный итог моей связи с ним должен быть повторен трижды!

И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.

И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.

И именно мужчину я почувствовал в нем в первый и последний раз тогда.

И от этого желания, чтобы ничего не изменялось в сложном, с таким трудом достигнутом равновесии между мной и им, мне делалось не по себе.

О! Я теперь это понимаю.

И никто не переубедит меня в обратном.

Как очень давно, совсем в раннем детстве, когда, подвыпив, он сделал вид, что не знает меня, что я для него — чужой надоедливый мальчик. Сейчас все происходило наоборот. Он показывал, как он близок мне, как любит меня, и это меня точно так же пугало, как отчуждение в детстве, и я едва сдерживал слезы¹⁷.

В доме дорожного мастера в комнатухе дворовой пристройки одиноко стояла железная кровать. У темной дощатой стены. Мы даже не перекусили. Большой грязный стол, на который нельзя было ничего целого и чистого положить.

Калилась открытая спираль примитивной электропечки. Ее принес добрый хозяин постоя. Он сказал: «А вот вам и козел». Словно здесь были еще другие животные. Водрузил ее, колченогую, на кирпичи. Напротив кровати. Вытянул в сени длинный провод. Подсоединил к чему-то. Вернулся, ушел улыбаясь. Я стеснялся его, он что-то такое знал про нас.

Но вот от властной красноты быстро сделалось почти горячо. До приземистой духоты и шалой одуряющей слабости. Будто кругом стояли темные зеркала, и легкое марево жара склеивало убогость в тяжелую одомашненную массу, где было уже совсем не страшно, как под двумя одеялами. Я начал глохнуть. Звуки с трудом достигали меня. «Сегодня» кончилось.

¹⁷ Если бы я мог убедить себя, что нашел подлинный протокол, где тупыми словами излагается то же самое, то вполне мог бы и сжечь его. Вместе со словами «так было». Но протокола нет, и слова вошли в меня как татуировка в кожу. И меня волнует — только узор, а не глубина укола.

На вещмешке, принесенном из багажника машины, мрачно смешались наши одежды — военная мужественная его и хлипкая подростковая — моя.

На мои потертые ботинки навалились голенища его высоких блестящих сапог¹⁸.

Звездочка не тускнела на погоне. Звездочка, о которую я когда-то до крови оцарапался. Правда, он тогда был старлеем, а не майором, как теперь.

Эту мешанину одеяний я помню по-особому до сих пор. Я даже осязаю и поверхность тех вещей, и легко смешавшийся наш телесный дух на фоне затхлости и пыли. Именно чую, осязаю, разумею, как шершавую поверхность ночного воздуха необитаемого жилья, ставшую вдруг вещественной. Неотъемлемой субстанцией моего несуществующего отца.

Отец остался в одних голубых кальсонах, пузырящихся на коленях. Он сделал еще один невидимый шаг и быстро, как чешую, стянул и их, оставшись совсем голым. Его поджарое тело, мягко разогнувшись, приняло теплый рефлекс калящейся спирали. Словно мягкий толчок. Я впервые увидел, как он красив, как он отточенно строен, как теплы линии его движущегося тела, — они немного отставали от него в этой жидкой маленькой духоте, их можно было коснуться, как сотни гармоничных лекал, роняемых им тут и там. В тихом зареве красноты, как позднее насекомое, как робкая ночная пчела, плавно мелькнули его гениталии. Словно собравшиеся покинуть на ночь темную гущу пряжи. И мне не было ни душно и ни тяжело различать и понимать это.

Вот он остановился против меня, заломив руки за голову, повернулся, выкручивая корпус как гимнаст, всего на пол-оборота, чуть вспрыгнул, легко, по-молодому, ухнул высоким тоном своего неусталого голоса¹⁹, и какая-то пронзительная гармония новой наготы и вольности насытила его обаянием, и, двинувшись дальше, он чуть пританцовывал. Одну секунду. Только два па. Не больше. Весело качнулся его член, не отличимый ни от его нестыдного лица, ни от темного худого, какого-то ущербного живота. «Месяц на ущербе», — должен про него теперь сказать я. Он что-то должен был сделать исключительное, так как радостно посмотрел на меня — глядящего на него как на самое лучшее зрелище моей жизни. И я понял, что он не предавал меня, я отчаянно захотел просить прощения. Я сдержался. И он, поняв мои неизреченные слова, засветился сам.

Пока я переминался на одном месте, он лег — будто нырнул в ртутные густые воды, не утопая в них. Свет, в котором только что стоял он, остался поколебленным. Мне со всею отчетливостью привиделось, как отец легко вышел из себя. Оставив мне так много.

Я мгновенно обнажился тоже. Не стесняясь его, так как он совсем не теснил меня.

Мне какой-то самой легкой моей частью делалось, делалось, делалось мне все свободней и свободней...

— Ну, иди же ты сюда, — позвал он не своим обычным голосом, а тоном высокого охотничьего рога, таким истомленным, что им невозможно даже распугать самых мелких птиц. Я понял: с таким «ты» мне не уравниваться никогда.

Я подошел, не сделав и шагу, так как стал слишком легок для шагов, я вплыл в его эфир, в котором было все, что я знал про него, — все, кроме изнурения.

От него шли такая слабость и нетерпение, что я никогда не смог к этому сегменту моей памяти подобрать слова.

¹⁸ Мне не хотелось вернуться от этого символа. Именно так я и запомнил.

¹⁹ Да ведь, Господи, ему ведь было совсем немного лет, и я теперешний куда старше его тогдашнего...

Отец оказался не тяжелее одеяла, чью полость он распахнул мне навстречу, как моллюск створку раковины.

«Полезай к стене», — кажется, не попросил он меня...

«Не упадешь», — о, и этого мне он не сказал...

И я легко перекатился через сильное тело низкой помраченной волной, рассыпался по нему песком, пеной, чем-то еще — беспмятным и влажным...

Мне было необходимо задеть его собою, так, чтобы проникнуть во все его поры.

Хоть на мгновение.

Ну. Вот и...

Где-то внутри меня, на самом моем дне опрокинулась низкая миска с парным молоком.

Я все про себя навсегда понял.

— Спать, — безмятежно улыбнувшись чему-то, позвал он меня, уже замершего рядом. И кажется, я понял, чему он улыбнулся.

Той ночью не произошло инцеста. Это было невозможно. Ни для него, ни для меня²⁰.

И я снова, лежа с ним, вытянувшись струною, ощущая его не как корпус, бедра и голени, а иначе — как извещение о самом себе, и я всю ночь нарождался.

Но не наново, а как-то иначе — в другую сторону от моего паскудного завтра, в-туда, в-до-слов, сворачивался в полный покой и беззвучие.

Будто меня уже нельзя было прочесть, так как моя поверхность, мое тело перестали что-либо означать, ибо я сам стал больше, чем гудение своей напряженной пустоты, и значительнее опасного беззвучия, разлившегося во мне. Звучнее, чем переполненный улей, зудящий на манер отцовской колыбельной.

Я, — слитый с ним в этом порыве близости, останавливаемом мной, за что я еще поплачусь, — недвижимым лег у самой стенки. А потом повернулся. Лицом к нему. Почувствовал его мерное тело, вошел в зависимость от его неукротимого тепла, был понужден им к близости. Уткнувшись, нет, уставившись губами в отворенную только для меня сладкую подмышку. В робкий отцовский лес. Как в сокровенность. Как в сокровищницу с особыми пряностями, которые скоро унесут, но пока — они мои. Будто бы навсегда.

Он тоже, ответив мне, испуганно вздохнув, привалил к себе, обнял за плечи и гладил по затылку, еле слышно приговаривая: «Мой мальчик, ну мой любимый сыночек, мой мальчик. Моя детка».

Это «ну», полное тихой бесконечной горечи, засело в моем сердце.

Он твердил: «Моя детка, моя детка...»

Будто улыбался.

Он это говорил не мне, смятенному его лаской, а себе самому, ставшему вдруг в тысячу раз слабее меня, юнее и ничтожнее. Оставшемуся наедине со своей плотью, не имеющей ничего — ни запаха, ни плотности, ни тем более — пола. Он переставал быть всем, чем был раньше, — мужчиной, моим отцом, бросившим меня.

Я понял, что становлюсь прозрачным и во мне уже ничего не держится — ни память, ни слова, ни желания.

Ведь он ни к чему меня не понуждал. Как и я его. Только к жизни. И вот это было неукротимо.

²⁰ Но я теперь думаю о том, что, попроси он меня об этом, — и я не проронил бы ни одного звука против, не то чтобы слова. Значит, я был с ним ближе самого близкого, став в полной нестерпимой самоотдаче им самим.

Я понял, что все исполнилось. И мне можно не жить дальше²¹.

Время остановилось.

Я знал, что наша кровь наново смешалась, но не в ужасающем, не в роковом смысле, а в другом, другом — возносящем меня и оставляющем в живых.

И мы, сползая в сон, по-моему, так и не заснули.

И я понимаю, что и ему великого напряжения стоило не разрыдаться. Ведь мы наконец стали и, не переставая, снова становились ровней. Как не должно было случиться.

Между нами пролег знак великого кровного тождества. Такого, от которого отказаться будет невозможно.

И он, он, мой бедный отец, будет понужден навсегда, даже когда его не станет, отвечать за скуку, скуку, приключившуюся в моей жизни.

Но я вспоминаю его, уснувшего рядом со мной не по уставу отцовства, а по мере столь глубокой человечности, что никто не смог бы осудить ни его, ни меня, ни темное время суток, ни безропотность веществ всего мира, — за это потакание чувственности и небрежение кромешным законом.

Потому что закона не было.

Всю ночь я поддерживал на весу его тиходышащее нетяжелеющее тело, переставшее быть мужским и отцовским, — подставлялся под бесплотность его чуть колкой щеки, заполняя собой жесткое кольцо его горячих сомкнутых на мне рук, иногда они мягчели и вздрагивали, как будто роняли что-то; и я понимал, что этим чем-то был я, и он в ответ на мое понимание ту же смыкал кольцо. Я лежал в пеленах колыбели, свитых из зажегшегося внутри меня тленного света, равного отцовскому, овивающему меня со всех сторон. Он вдыхал в меня жизнь. Он недвижимый так старался. Стать мною. Как и я им.

Меня обволакивал ватный пустой выдох, приотворяющий его ослабшие губы у самого моего слуха, — и я чуял под своей щекой, как в этом долгом дыхании зыбится глубина его тела — тела, не имеющего отношения к обычной телесности. И, насыщая меня своей жалкостью, он не делался жалким, и я не жалел его, так как просто желал, даже не его, а его жизни. И он, будучи слабее видимости и ирреальнее миража, со всею очевидностью сосуществуя со мною здесь, иссякал, — как прекрасная однозначность моего непоправимо опрокинутого выбора.

О, не только моего...

Он легко обвил меня ногами, прижимаясь сильнее и сильнее, если к тому, кого уже не было, можно было прижаться, и мое бедро не уколола травянистая растительность его живота, не отяготил перекатывающийся теплый ком мошонки и мягкого члена, к утру ставшего большим, поправ мой щуплый живот; — и когда сквозь дрему я подавался к отцу, тяжело вздыхая, то в ответ мне вздрагивала раскрывшаяся головка, чуть подталкивая меня; и еще этот ранящий ноздри запах — словно скрипнувшего канифолью распила или дальней речной липкости — мягко и беззащитно настигал меня; — это мой отец, безмерно ослабнув, со всей безутешностью опершись о меня, как о последнюю твердьню, уходил в небытие. Таким вот образом просачиваясь в меня. И эта легкая горячая прель оказалась главным его признаком, достававшимся мне, — куда соскальзывал и я, утерев опору в нем. В полусне я понимал, что весь он, и тело, и запах, и плотность — исчезают, уводя его как череду видимостей, иллюзий, всего несбывшегося, — и удержать их подле меня не смог бы никто.

²¹ Я до сих пор помню то чувство абсолютного понимания. Ведь я понимал его так, как никто из моих любовниц и жен — меня. Я не хотел от него никаких подробностей. Ни его дальнейшей жизни, ни смерти. Я понимал его как самый лучший императив.

Его сил хватало, чтобы оставить о себе такой эфемерный, преисполненный пугающей точности и драгоценной зыбкости отчет, предназначенный иссяканию.

Вот, вдохни, не бойся, ну, понюхай, мой любимый, — как будто подталкивал он меня, — ведь почти ничем не пахнет. В тот самый момент, когда мы проснемся.

Меня, как припозднившегося маленького гулену, накрыло упавшее в непогоду растение. Огромный влажный куст, чью породу мне ни за что не определить, так как суть ее состояла в характере моего поражения всей пугающей листвы и веток, нежным тактильным ударом, растворяющимся через миг после опознавания легких сумерек этого касанья...

Я боялся разжать объятия. Во мне не было стыда. Потому что и в нем не было срама. И он, наивно приоткрываясь мне, не изменил своей позы, — слабый, с напряженным членом, полный смирения, самоотдачи и признательности. За что? За то, что и я наконец-то, и я тоже подарил ему жизнь. Как мог. Со мной. Робкий клочок жизни. Не отгоргнув его в этом ничтожестве слабости и великолепии близости, — мы ведь вырвали с ним лишь несколько часов из всей бездны нашего разобщенного времени.

И он показался мне понурой ровностью, тщетной неизменностью, сокровищем жалкости. Я просто понял то, что он — мой отец, понял в нем то, что навсегда изъяло из нашей неосуществимой близости все тени.

Мне привиделось, как я спал на самом дне его жара, не застав там себя спящим ни одной секунды, которую можно вымерить с помощью обычных часов. Ведь человеческое время для нас перестало что-то означать. Для него — спящего, а для меня — спящего в нем и не подозревающим о скором времени. Он словно извещал меня об очень важном, — что это известно и ему, а теперь и мне, так как мы стали единственным достоверным извещением друг другу.

О том, что придет смерть.

И его, покоящегося рядом, я уже не боялся.

Я перекрутился лицом к стене, как жгут влажного белья, но отец что-то вымолвил детским гортанным тоном, он донесся до меня откуда-то с дальней прекрасной изнанки его жизни, он вздрогнул, — я, поворачиваясь, наверное, грубо задел его.

И тут же под его робкий стон я извошел.

Мое напряжение разрядилось от одного прикосновения к стене.

Сырой крупный крот промчался во мне, как в просиявшей норе. Случайным толчком по моему распрямленному в дугу телу. Кажется, я ухнул. Будто с трудом потянулся, оживая. И так — быстро и легко — в моей дурацкой жизни больше никогда не получалось. В горькие ночи я толкал стены — каменные и фанерные. И они отвечали мне мертвым покоем.

Глагол «кончил» совершенно здесь не подходит, так как во мне остался огромный сложный остаток. И его низкая, тяжелая, но не низменная взвесь не растворится во мне никогда, чуть колеблясь на самом моем сокровенном дне. Она исчезнет только вместе со мной.

Кажется, отец сквозь предутреннюю дрему ничего не почувствовал. Хотя как сказать.

Но та ночь до сих пор предстает мне объятием таким большим и прозрачным, что заштриховывает, смыкает своим несуществующим временем всего меня. Хотя не было не исчерпано ничего.

Может быть, после этого мы должны были бы оба сгореть, как в не дошедшей до нас самой ужасной греческой трагедии.

Но то, что было на самом деле, упраздняет меня, ибо я сам себя исполнил.

И самый тяжелый итог тогдашнего эксцесса — то, что мной больше ничто не желаемо. Если вообще возможно подводить какие ни было итоги.

Вот нет моего отца, у меня не осталось ни одной его вещи, кроме разваливающегося того самого древнего, совершенно разлохматившегося «москвичонка».

И мне начинает чудиться, что все это случилось со мной одним, без его участия.

Он утром натягивает галифе, переминая ногами. С трудом попадает в другую кожу.

Я чувствовал, что его тело говорит со мной не на языке строгой военной одежды, этих золотых пуговиц, хищного ремня, погон, а на щемящем и трудно переносимом наречии нежности, оставленности, муки и невозможности не только что-либо исправить, но и вообще сказать, просто произнести.

У меня стоит ком в горле. Я не могу даже коснуться его руки.

И я понимаю моего отца так, как не понимал никто меня в моей жизни. И я не знаю, хотел ли я быть понятым таким образом. Не образом, а чем-то иным, чему нет ни дна, ни предела.

Отец затягивает вокруг своей талии ремень, как запрет.

Мы ведь должны продолжать путь.

Жалобная странная фраза, выроненная им оплошно из своего сокровенного нутра под утро: «Мне труссы в паху натирают», — кажется мне по-сейчас особым подкопом под меня, мою сущность и мое тело, дерзостной диверсией.

Если б он ее не обронил, оборотясь к окну, где уже начало потихоньку сереть и так же серо заурчал грейдер хозяина нашего постоя, то я бы решил, что ночь равна мороку и все не более чем мой сон после тошнотной дороги.

Не знаю почему, но я заплакал.

Он растерянно и жалко посмотрел на меня. Всего одно мгновение. Будто испытал боль. Не сделав и шагу в мою сторону. Только посмотрел. Таким я его и запомнил...

Этот образ военного человека, поворотившего на меня взор, чуть колеблется во мне, как бакен в створе реки. И кажется, уже ничего не значит.

Он мне не сигналил.

Это не подробность. Это мотив моих дальнейших затравленных воспоминаний о нем. Они зарастут, как луг, где не косят траву.

Вот я смотрю сегодня из себя тогдашнего на тот придорожный домик.

На грейдер, который пятится по обочине шоссе сам по себе. Он по-сейчас не прекращает своего тихого обратного движения. Но, обреченно удаляясь, он почему-то не уменьшается.

В этом есть порча, порочность.

У меня начинает кружиться голова, и меня вот-вот стошнит. В мой рот забит кляп. Из осенней холодной травы. И земля, прилипшая к глобусу, поползла подо мной. Как скальп.

Дальнейшего пути я не помню. Мы ехали вместе с однообразием пейзажа. Тяжесть была непомерна, она ведь состояла в том, что мы должны были позабыть друг о друге. Однообразие дороги переходило в чистую муку.

Из тех ночных руин, обрушившихся когда-то на другого, но равного мне подростка, я так никогда и не выбрался.

Вот совершенно не помню его взгляда, не подберу название к цвету его глаз. И могу все только досочинить со всей безутешностью потери. Его свойства остались во мне как смолкнувшее предание. И я помню все сюжеты — на ощупь, на запах, на вес, — хотя и они скользят во мне, не цепляясь ни за что. Будто я только и делал, что прикасался к нему и пробовал на вес его тело. Его взгляд, вдруг упершийся в меня. Вся эфемерная память о нем осталась неисчисляемой, не подверженной анализу, — просто в виде плотного шевелящегося осадка. Будто во мне, в моем средостении

есть тяжкий сгусток ртути, не смачивающий меня, но организующий мое равновесие, — и если меня кто-то бросит в цель, то я непременно приземлюсь на обе ноги. Как трофейный боевой нож, по скважине которого бегают ртутный груз.

II

Для связности стоит сказать, что прошла уйма времени, но я не претендую на связность.

Отец умер, словно только для того, чтобы я от него еще раз, окончательно отвык. Я еще расскажу об этом. Мы были дико далеки, и искры небывших споров, неразразившихся скандалов всегда стояли между нами, как (это я теперь понимаю) между любовниками, когда один из них еще любит и ревнует, а другому не побороть свою неистребимую скуку и тоску, и он не может ничего с этим поделать. И я не виноват, что Господом мне была дана именно такая родительская любовь. Я ведь сам не ждал и не просил ее. Все сложилось само собой, помимо моего злополучного, горящего неярко изнутри, словно торф, желания.

Как становится по ходу лет ясно, я был связан только с самим собой, со своим немилым телом и желаниями своей утробы и в основном с тем, что в своем теле искал некую точку нового великого отсчета.

Такую, чтобы все, бывшее со мной, не утонуло в пошлом тумане приукрашенного прошлого. Ведь оно-то было, оно было поганым. А проступило бы резко и отчетливо, как скелет. Дерзко, как порез. Цинично, как рифма в стихотворении, оборачивающая и обваливающая мерно текущий смысл моей скуки.

В чем состоял мой тревожный поиск?

Что я хотел обрести?

Бешенство и переполненность той ночи с отцом?

Да-да, именно перенасыщенность меня и влекла.

Мне стало казаться, что именно тогда я был уничтожен и упразднен той полнотой, над которой проливал слезы утром в домике, простите мою сентиментальность, дорожного мастера на двести семидесятом километре стратегического шоссе между Пензой и Ртищевом.

В конце концов я дошел до того предела, что повез туда свою вторую жену.

Я всматривался в почти ту же самую дорогу, но, кроме сухости отчужденного зрелища, меня ничего не наполняло; лента шоссе не преисполнила меня ни трепетом, ни страхом, и мне стало ясно, что этот путь давно лишен для меня и тени эротизма. Пустая беззвучная форма развертывалась за окном автомобиля, и ни одно имя произрастающих на этом ландшафте населенных пунктов ничего не сказало моему сердцу. Спрявленная дорога бесстыдно рассекала села, асфальт ложился под машину бедным штапелем. Села хранили прошлую косину, которую уже никто не учитывал. Они дешевели на моих глазах — дома, люди, животные, деревья. Настоящее явно принадлежало не их насельникам. Им было уже не приноровиться к ленте шоссе, к спрямленному бегу времени.

Слишком далеко от обочин изредка стояли тетки с молоком, яблоками, свежей убоиной, прикрытой покрасневшей пятнами тряпицей. Добраться до них было бы целой историей — перемахнуть кювет, черную лужу, гурт бревен... Хотели ли они хоть что-то продать или просто исполняли обряд, стоя в отдалении? Я боялся, что жена на что-то накинется, примется торговаться, тратить время, которого и так оставалось мало.

Но буквы названий придорожных сел сменялись теми же, но пересеченными черной диагональю. И это пронзительно ничего не обозначало,

кроме того, что мной совершена дурная растрата. Я мог ехать так же и в другую сторону.

Я ожидал столба с нужной километровой отметкой. И я не ошибся — трехзначное число вызвало во мне томление, которое не имело конечной точки. Оно, повеяв угаром, мягко перелилось через меня, оставляя меня с моим прошлым, за которым простирались желание и смерть. Не признавав ничего, я все увидел.

На склоне слабого осеннего дня (он просто просачивался, делался мнимостью) семейная пара насилу сдала нам на одну-единственную ночь за циничные деньги пыльную дворовую халупу с продавленной койкой. Я полчаса перед этим под удивленными взорами жены клянчил ночлега и позорно унижался перед наглым мужиком-хозяином и молчаливой толстухой. Они взглядывали на меня и на жену, с трудом догадываясь о сути моего вычурного желания. Припоминали мои черты по неказистым портретам серийных маньяков, приключенным к стендам «Их разыскивает милиция». Эти листки словно богохульная пародия на плащаницу. Я говорил с новыми хозяевами на заумном языке небожителя. Это были совсем другие люди, разлюбившие великое шоссе, не имеющие к прекрасной асфальтовой ленте никакого отношения. Фермеры. Арендаторы. Переселенцы. Жадные жестокие беженцы. Фавориты сумерек и филолисты самогона.

Запустение вокруг построек было искусственно пролито кем-то непомерным и неумолимым. Траченная полная луна безыскусно колупала все, объятая ее мертвенной жалостью, как очерствелую краюху, не высвечивая в домовье никаких частных и не скрашивая общего смысла уныния. Свет колыхал и чернил безымянную округу. И наступившая тишина предстала мне оглушающим бедламом. Плохая ткань этой ночи почти колола меня, будто я был голым.

Я обнаружил, что это место не имеет пейзажного смысла и оно — вне ландшафта. И подробности не то что не видны, а несущественны под грудой шелухи моего прошлого. Луна наконец замерла в стороне, как стеклянный понятий, ее просто сюда привели. И вот я понял, что уже прошел огромный твердый период, ничего не задевший, не преобразивший, а просто пнувший меня напоследок. Будто я уже сам валяюсь на обочине, как покрышка, лишенный всего — желаний, жизни, ничтожного прошлого. Даже возможности сгореть жирным пламенем. По жидкому холоду, вдруг заколебавшемуся во мне на уровне сосков, я понял, что на этом месте происходили и еще не раз произойдут великие преступления. Что самым первым злоумышленником был и остаюсь я, так как не наказан. Как в античные времена.

В дальнем углу сумеречной халупы, куда мы все-таки вошли, засветив пыльную большую лампу, свисающую со стропил, я побоялся признать сваленные грудой мои детские пожитки. Армейский вещмешок. Заваливающиеся набок высокие отцовские сапоги. Может быть, хотя бы оттиски их подошв. Но я даже мельком не взглянул в угол. Ведь если бы я что-то там углядел, то это зрелище своей сокровенностью настолько бы изнурило меня, обессмыслив предстоящее, что я, наверное, тут же бы умер.

Но мелкий мусор на широких половицах хранил только следы жестокой метлы. Он словно был расчесан.

Жена сказала мне что-то. Я не расслышал. То ли «идиот ведь ты», то ли «от света уйди». То и другое годилось.

Я уже что-то почуял, почти не слушая длиннот гигиенического экскурса раздраженной изнемогшей женщины²², что я, дескать, никудашно «подмылся» (я ненавидел этот народный бабий глагол) и, судя по всему, сильно пропотел, да и, наверно, по-песью пропах за идиотскую, непости-

²² Жиха раздражения надвигалась на меня из ее уплотнившегося тела, как слизь из потревоженной улитки.

жимую для ее нормального ума дорогу. Она с каким-то новым глухим удовольствием именовала свойства моего озверевшего и, наверное, действительно запахшего тела. Будто на мне, безволосом, шевелится и щетинится жуткая шерсть, будто я при ней покрываюсь чешуею. И я пережил отчетливое чувство, что через мой пах протягивают жгутом перекрученную пеленку, сотканную из засмердевших слов. Жена шумно втянула ноздрими жирный запах человечины, сутуло протопавший от меня к ней.

Она полусонно выругалась в окно на проносящиеся фуры. Они хлестали по худым стенам ластами света, взбаламучивая холодный воздух, нагло раздвигая кисею полной низкой луны.

— С утра — назад, — скомандовала она самой себе, расправляя спальные мешки.

— Ничего, поместишься. — Она кинула в меня липкий глагол, но я ей не возражал. Наречием «ничего» она поименовала меня.

— И значит, так. — Она, если мне так уж этого хочется, согласна на одно, а на другое, что мне всегда подозрительно потребно от нее, в полнолуние особенно (она догадывалась всегда, да-да, всегда о моей вурдалачьей породе), не согласна в этом чертовом месте, где все слышно, где щели, мусор, разбитое окно и проносятся большегрузные фуры с каким-то говном. Я понял, что неистовый свист фургонов, насквозь пробивающий все сквозящее жилище, подхлестывает ее чувственность, но она не хочет в этом волнении сознаться. Чтобы перекричать прибой звуков, она изъяснялась чрезмерно настойчиво.

На сквозняке, приспустив джинсы, оседлав ее тяжелое тулово в спальнике, примерно в одну из таких фур, подталкиваемый в ягодицы валяющимися лучами света, я и кончил. От резкого света фар зад мой должен был стать фосфоресцирующим.

И исступленная фура, выхватив наперсток скупого семени, ревмя ревя, унесла его к чертовой матери — из меня самого, из этого убогого становища кочевников, подальше от тихого ноя как-то влажно запыхавшейся жены.

Она ничего не проглотила.

Она будто сумела вообще не прикоснуться ко мне.

Моя мошонка обмякала на ее подбородке.

Семя стекло из ее рта, как из трупа.

Подумав это, я обтер ее мягкую щеку обшлагом. Она не отвернулась. В спальнике лежала мумия моего прошлого.

Только детский высокий звук, испущенный ею, напомнил мне доплеровский эффект из школьного фильма по физике — мимо глуховатого наблюдателя проносится в левый угол экрана тяжелый, как судьба, поезд. Наблюдатель, отшатываясь, обмирает.

Самым серым в мире утром, стоя перед полувылезшей из кокона спальника чужой женщиной, сглотив надежду, я тревожно спросил ее, будто увидел впервые. Ровность спальника нарушалась только зашевелившимися ступнями. Увидел ее, как плохую девочку на нехорошем заднем дворе. Будто она наигралась в одинокую неподобающую тайную игру.

— А тебе трусики не трут в паху?

Она, не изменив позы червеца, не обретя еще рук и ног, взглянула на меня не отрываясь, будто на ее глазах я, тоже став насекомым, сжевал самый важный лист дорожной карты, будто она поняла суть моего взора, вошла в меня по его тусклому умягающему лучу. Словно по шелковине.

Я почувал, как сузились мои глаза, как я увидел ими все в черно-белом варианте. Как я ощутил то, что увидел и объял скупым бессмысленным даром моей жизни, за который надо теперь платить бесконечно долго, все время возобновляя муку расплаты, разматываясь на нити.

Я смог увидеть только серую копию серого барельефа — скучный бошардон. Все сцены были погребальными и плоскими.

На фоне серого разбитого окна мне почему-то захотелось признаться ей в чем-то, что мучило меня всю мою жизнь. Тысячекратно попросить прощения за это самое «что-то». Но для обозначения этого «чего-то» я не находил слов. Только тихо сказал, когда застегнул последнюю пуговицу куртки:

— Ты знаешь, я ведь хочу заплакать.

Это мое «ведь», полное безнадежного доверия, люто завело ее. Она вмиг вскочила с лежбища. Она отбросила спальник. Она мгновенно прошла все стадии насекомого. Она пригнулась в высокий борзый старт, словно должна бежать эстафету, она набрала полные легкие, будто долгие годы готовила эту неправдоподобную тираду, тщательно выбирая слова из сокровищницы, полной невероятных ругательств и унижений:

— Лучше пассссы, вот гад ведь, тогда не захочется. На слезы желтой жижи не хватит.

Это было бесчеловечно, и это так привлекло меня. Во мне забил теплый фонтанчик, — глубоко внутри обмочился несуществующий прелестный малыш — я сам в миллион раз меньше себя, стоящего пред ней.

В ругательстве мне послышался неумолимый ритм народной пляски, и на меня двинулась толпа самодеятельных плясунов, топоча подметками и хлопая в ладоши. Я переживал восторг и омерзение одновременно. Последнюю сладость, приступом овладевающую мной.

Я одиноко надвинулся на нее, на всю толпу, я задел ее прекрасную высокую грудь под тонким джерси, я положил руки на ее мягкие округлые плечи, которые так мне всегда нравились. Она одним неуловимым движением стряхнула мои ладони. Словно эполеты мизерной награды, унизившей победителя.

В тот миг, ломая ритм пляса, до меня дошла смутная мысль, но очень важная. Как императив вины, понимая который скрипят зубами или мычат. Я ведь никогда не говорил с ней, вернее, не спрашивал ее, а только слушал, внимал ей особым безразличным, как крупная мережа, слухом, ничего из ее бессмысленных слов и сообщений не удерживавшим. Мне только помнится, как они серебрились и плескались во мне, когда она убалтывала меня, — такая обычная полудетская глупость. От ее свойств ведь ничего не уцелело. «Почему? Почему? Почему?» — проносилось во мне. На этот вопрос отвечать было поздно. Опоздание предстало мне со всей очевидностью. Она ведь никогда не попадала в мой сердечный фокус. Она, эта женщина, в ответ вопиюще меня не понимала, находясь не на дальнем конце моего взора, а около — скользя и не задевая. Вроде особенной дисциплины, которую мне никогда не осилить со всем тщанием и подбострастием, оттого что ею мне не предстоит пользоваться в грядущем. Я смотрел не в ее мрачные глаза, а в покрасневшую со сна и чуть помятую кожу переносья. Я считал еще не появившиеся складки морщинок.

В мое подполье она не заглядывала, и вход туда был закрыт, ведь я никогда не приоткрывал свой люк. В одно мгновение мне почудилось, что своими плечами я приподымаю груз чугунины, тяжелой, как время, прожитое с нею. Я будто двинулся с этой тяжестью в ее сторону, может, меня зашатало.

Мне почудилось: ее тело в метре от моего, звук ее голоса, доходящий до меня как сквозь слой воды, со дна застойной бочки — единственные обстоятельства моего шаткого существования здесь, единственная подмога, чтобы все не исчезло.

И я посмел просить и умолять ее, такую прекрасную и завершенную в этот миг, позлащенную брезгливостью. Она была изумительно ровна, даже рот ее не кривился. Вся сложность, вся многослойная необъясняемая логика наших отношений исчезала.

Она предстала мне статуей, так как моя работа завершилась.

Мой голос сгустился до плотности ткани, которой можно было вытереть что угодно — пот, словно бронзовый высол на ее влажном высоком лбу, стереть крупную родинку на шее под мягким подбородком, где тика-

ет жилка, промокнуть пролитую прямо под ее ступни кровь тщедушного жертвенного животного.

— Ты не можешь сейчас же здесь ударить меня, ну уколоть, порезать?! Вот этой... Этой булавкой. Да?... — взмолился я.

Я мгновенно расшатал и вытащил ржавую булавку, воткнутую в оконную раму. Со стороны мне привиделось, что я торжественно протягивал ей ее. Как подношение. Острое? Тупое? Не важно.

Я почти захрипел, я зашелся:

— Послушай! Я потерял точку отсчета! Всего один укол. Один! Только! Не можешь... Хотя бы удар... Ударь! Ну!!! Куда хочешь!!!

Она отшатнулась, будто испугалась поветрия страшной заразы, идущей от меня. Я видел все — ее, крепкую, непричесанную, крашеную. Я увидел ее в профиль, как на чернофигурной вазе, со всей очевидностью — столь необъяснимо важной для меня. В хлюпающем развале декораций всей моей невыносимой жизни. Как в пьесе. Увидел с ужасно высокой точки, откуда-то с притолоки, будто в детстве залез на шкаф.

Прошло и чавкнуло время. Жидкое, как кисель.

Она, захлебываясь, затарахтела, как перегретый движок комбайна в чистом поле, как грейдер во дворе. Я вдруг возлюбил разнузданные механизмы. Я отчужденно увидел, как ее всю колотило.

— Ишьь! Ищщи ее без меня. Свою точку! Опору?! Опереться?! А, захотел опереться, значит? Наконец-то! Ах ты...

Она сразу перепачкала все буквы моего чувствительного алфавита, составляющего мою робость. И мне уже не из чего было сложить ни жалобу, ни мольбу.

Она наконец что-то поняла, но совсем не то, что было во мне. Просто поняла. Хотя бы — как уже далеко я зашел. В прямом смысле.

Она одевалась для долгой дороги, закутывалась в теплое, она насыщалась смыслом. Из нее полетели слова, как голые зерна после обмолота:

— А ударят тебя, зараза, упором в суде и будут бить еще три года. До самой точки. Понял? Пока я буду раздумывать, как мне порезать нажитое, ублюдок.

Я молчал, стоя против нее. Между нами было шага три. Я почувствовал, что токи, только что сновавшие между нами, превращаются в тонкие пересохшие резинки, не могущие мне предать ничего. Совершенно. Ну разве что щелчок²³.

Прошел длинный високосный год, и я спокойно и, кажется, безразлично сказал, подведя осмысленный и неумолимый итог, будто надул шарик к демонстрации:

— ...Но ведь тебе было неплохо со мной?

Она опешила.

Я надул еще один, поменьше, жалкого бледного цвета:

— Все эти годы.

Но она опять заработала, как от умелого толчка в точную точку. Стоя совершенно недвижимо, чтобы я смог насладиться ее телесной завершенностью, она как будто замахала руками и затрясла головой в такт ругательствам. И мне не позабыть тяжелого, разлитого между нами чувства невоплощенного жеста. Это было особенным зримым парадоксом. Ее слова так отличались от общей мимической сдержанности, вдруг спеленавшей ее. Она говорила только ртом. Но я не сдерживал ее в объятиях. Она говорила как механизм, не вздыхая.

²³ Я начал тихо, но очень глубоко дышать, даже нос мой стал мерзнуть изнутри, как от кокаина. В этом состоянии, близком к экстазу, я начинал слышать несуществующие запахи. Первым выступал из сумерек дух холода, будто скальвают лед. Запахи, естественные и измышленные, наступали на меня, как ансамбль плясунов — с топотом каблучков и шорохом юбок, с хлопками сухих ладоней. В конце концов химический «Шипр» хлестал меня по лицу еловыми лапами. Будто я заваливался в глубину припадка. Я силился сдержаться.

— Да таких мудаков, как ты, до самого Пекина раком не переставить, — низверглась на меня чья-то цитата.

Остановить ее было невозможно. Мне показалось, что я проваливаюсь куда-то. Очень глубоко.

Она всегда умудрялась говорить, не показывая зубов. И слова вылетали из нее словно облизанные, мягко выброшенные губами. Зеленые, розовые, коричневые обсосанные леденцы, никогда не вызывающие обиды. Может, я ее не слышал.

Я понял, что все другие истории моей жизни с нею, если они случатся, слетятся к этой сцене, будто шустрые дробинки, и легко попадут в маленькое углубление того осеннего дня. По желобкам. В центре будет стоять она — неподатливая, но живая, неизмышленная.

На моих глазах она мгновенно — тяжело и неизлечимо заболела. Осознав болезнь, она истово страдала тысячную долю всего безвременья, куда я уже вступил. И так же легко и быстро она преодолела недуг.

Она смогла излечиться одной едой. Как волшебница.

Тут же — в этом помещении, застелив полиэтиленовым пакетом угол грязного стола, соорудив целительный завтрак. Она стала есть. Она с чудесной легкостью победила и меня, и снедавшую ее болезнь. Сразу. С искрометной силой.

Я разглядел в ней что-то жалкое, что есть во всех, но она уже была совсем не всеми.

Без завтрака она не могла начать по-настоящему жить. И если бы я, преодолев ступор, сковавший меня, дерзко выкинул за окно под колеса пролетающих невдалеке «КамАЗов» и «Алок» двухлитровую банку с побелевшими котлетами и пакет с желтухой пюре, то она погибла бы только от одного глухого звука размазываемой по асфальту холодной снеди. Я не подумал тогда, что с таким же звуком может быть разможен ее накрепчайший череп. Но это никому не надо. Ведь между нами уже ничего нет. И это не похоже ни на жизнь, ни на литературу. Только на психологию. Если бы осенняя безразличная погода ею обладала.

Вот — поздняя осень.

Всему угрожает смерть.

Вот она, моя дорогая, борясь с небытием, сытно и как-то очень надежно поглощает несложную еду, глядя на меня, ничего мне не предлагая. В этом нет и толики бесстыдства, ведь я перестаю существовать. И для себя тоже.

Я не мог оторвать своего взора. Словно я прощался с чем-то непомерно дорогим, будто в этом был заключен мир, не имевший цены. Я только как-то отвлеченно чувствовал, как чуть поворачиваю голову, будто она, недвижимо едящая, передвигается в поле моего зрения, не двигаясь, но левитируя. Своей паскудной пустотностью, отвлеченностью от ритуала это так леденило меня. Будто она должна была постепенно съесть и сам смысл еды, и поглотить закон насыщения, и меру полной сытости, за которой на съедение оставалась бы только ее собственная смерть.

Она делалась воистину бессмертной.

О, если бы в этом был хотя бы вызов. Но в этом не было ничего. Вообще ни-че-го. И мне не было страшно.

Вот неазартно она уничтожила котлеты и проглотила два соленых огурца. Мне казалось, что их тела пропадали в ее глубоком рту, как в ангаре. Так же, как туда вскальзывал мой вполне крупный член. Ведь она все же была мной «увлечена», и я был «интересным мужчиной с перчинкой», а не идолищем, стоящим перед ней.

И вот я ее разглядывал, ни о чем не помышляя. Между нами пролегли световые годы.

— Все, заводи свою лоханку злопоганую, поехали, на хер, отсюда, сэнкью за уик-энд, мерси! Вот так наотдыхалась.

Она провела ребром ладони по своей плотной и все-таки хорошей шее. Кажется, эти тонкие, едва заметные поперечные складки, пробегающие в эпидерме шеи как следы нитяной шнуровки, эти детские бусы, называются венериними.

Душить ее было бы слишком литературно, да я и не был атлетом, чтоб справиться с русской ядреной молодичей, теткой, полной сумеречных не-растраченных сил и особенной прелести. Это созерцание переворачивало ее во мне, словно перегиб ленту Мёбиуса. Я незаметно выбирался на безнадёжную изнанку, где ничего не мог предпринять никогда, — я вдруг все увидел. Со всей безнадёжностью.

Зрелище заполонило меня.

Оно ударило в жесткое темечко изнутри, со стороны мозга. Но «детское место» на моей бедной голове давно окостенело.

Я затараторил про себя: «Тетка, тетка, тетка» — так звалась в скоротечном цирке собачка. Милая Каштанка. Псевдонимом. Мне стало смешно. Я понял, что улыбаюсь. У жены волосы были крашены в рыжий собачий колер. Вот — Каштанка в расцвете лет и сил. Ведь она всегда задорно спрашивала, будто закручивала передо мной невидимый хвостик тройным колечком, словно подставлялась, улыбаясь с животным смыслом: «Ну, и скоко мне сёння дать можно?»

На эти «сёння» и «скоко» я хотел всегда ответить: «Много, много, Жучка, на всю катушку, на тебя с твоей мамулей пальцев на конечностях не хватит». Но вслух я говорил самой убедительной частью своего голоса, как с троечницей, глядя на ее блестящее от вечернего крема лицо: «Ну, от двадцати семи с половиной до двадцати девяти без одного месяца». Я щедро дарил ей лишнее тучное семилетие...

Под ее здоровым взором я едва завел свою унылую «лоханку». На новый автомобиль у меня уже не было азарта.

Я выехал со двора, где не осталось и следа дорожных машин и механизмов.

Будто их не было никогда.

И все мое прошлое — чистый бред и нелепая выдумка. Я состригу его, как отросшие пряди, как ногти.

Дальше все происходило в совсем простом ракурсе. Будто я видел документальный фильм про самого себя или сам снимал его и наблюдал итог своих трудов. Довольно быстрый фильм, так как я понял: в моей жизни никаких событий больше не будет.

Время как-то стало отступать от меня.

Все стало беспротяженной видимостью.

Вот жена, сидящая здесь, громко икнула котлетой, — и меня поразило слово «здесь» — в самое сердце.

«Как же это? — безответно вопрошал я. — Где?»

Но перед самым моим носом волшебник пронес мисочку теплого фарша. Другой чародей показал мне рентгенограмму всего поглощенного ею. И не только сегодня, но и вообще — за всю жизнь. От восторга, удивления и омерзения меня замутило. Моя скромная, без больших амбиций, все-таки милая жена на миг стала портретом кисти Арчимбольдо. Вся из вычурного хлама и перегноя. Она вот-вот рассыплется, если легко встряхнуть ее за плечи.

Господи! Я заболел.

Я увидел, как смотрю на самого себя, смотрящего и трезво видящего, как она ест²⁴. Меня поразило, как многогранна среда, где я пребываю. Я

²⁴ Ведь кроме обморочных побелевших котлет она медленно съела еще и свой длинный рыжий волос. Не почувствовала, что попало ей в рот. Не женщина, а механизм. Я всегда подозревал, что губы у нее совершенно не чувствительны. Меня замутило. Я еле сдержался.

легко перепархивал из безвременной слабой сферы видений в ровный, какой-то квадратный мир.

Хозяйка нашего постоя в нечистой куртке, наброшенной на халат, стояла у забора, у самой обочины шоссе на фоне галереи из большущих полотенец. В ее утренней меланхолии не было и тени желания продать их. Она лузгала. Стояла как дорожный знак. Обдавая теплой гарью, мимо нее пронеслись угрюмые животные машины. Как будто это тракт в Мценском уезде, пролегающий мимо великой женской скуки. Ездоки не хотели с утра промакивать свой пот махровыми загорелыми девками, карибскими видами, тиграми и хризантемами. К какой торговле она переходила к вечеру — остается только гадать. С собой или алкоголем или тем и другим вместе.

Другая дорога без усилий сама надвинулась на нас.

Кто-то включил снег. Он сгустился почти мгновенно, как не бывает — секунд за пять. Спокойная кисея заслоняла от меня немилую даль, темный гиблый лес и все, что случилось со мной и моим отцом в этих местах. Когда-то. Бесконечно давно. И только час назад.

Я остался наедине с полотняным снегопадом. Крупные уродливые снежинки залепляли ветровое стекло, и хилые дворники моей развалюхи не успевали робко отмахиваться от стихии. Как я не замечал эти детские жесты! Я вглядывался в ленту шоссе через мутные скрипучие разводы. Все предстало мне уплотнившимся, в полной разреженности моих мыслей, несущественности желаний и неисполненности возможностей. Я показался самому себе тотальным недостатком. Дорога, вползающая в меня, превосходила самое себя, я ее съедал. Я насыщался до предела.

«Пора смежить глаза», — сказал я себе. Я почувствовал удивительную ровность всего, что было вовне и внутри меня.

— Щас завалит, ну прям как могилу, — трезво сообщила жена.

Она не случайно сказала про могилу, что-то почуяла, переняла некое качество, давно обуревавшее меня. Ведь я глубоко в себе оплакивал все, что тогда произошло со мной, я ничего не мог делать иного, мое бессмысленное пропащее прошлое было достойно только пустого сожаления.

Я рулил и плакал, но другим способом: в себя — в свое горло, в желудок, в кишки. Наверно, трупы мои промокли.

Я хотел незаметно выехать на встречную полосу и порешить сразу — и ее и себя. Но она напряглась и, взметнувшись быстрой искрой, перехватила руль. И, остервенело выкручивая невиноватую дугу, держала мертвой хваткой, пока мы тихо не сползли в неглубокий кювет.

— Тормоз, тормози, щас... — шипела она.

И у меня не было сил даже пожелать ее побороть.

Мы тащились целый бесконечно серый день, ставший серым вечером и такой же серой ночью. От медленного снега было светло. А может быть, мы стояли, так как заснеженный пейзаж совершенно не менялся, только едва серел.

Самые тоскливые окончания прилагательных, как известно, — дактилические.

Ими обсажены по краям русские раздолбанные,
тоскливые,
заснеженные,
неухоженные,
ужасающие
дороги.

Это была не дорога, а некая точка, имеющая протяжение, когда ничего не меняется, кроме осознания бесполезности и бесконечности всего — моего кошмара, всеобщей тоски, убожества сидящей рядом тетки и неисправимости всего, во что я вляпался с самого рождения.

Я увидел, что больше ничего не укрупнится и не уменьшится.

Прилагать усилия было не к чему.

Это был конец.

Осталось дело за малым.

У придорожных базарчиков, все оглядываясь, чтоб я не уехал один, жена с опаской выскакивала из машины, не хлопбыгнув, против обычного, дверцей. Я не слушал ее рассказы, как она «еще взяла» у одной придорожной торговки два ведра картошки, через пятьдесят километров у другого оснеженного мужика туесок поздних грибов (подснежиновиков?) и, не помню где и у кого, — две трехлитровые банки брусники. Она неустанно говорила со мной, так как впервые испугалась чего-то, происходящего во мне.

— Зима кончится, а там, значит, и на юга, — сто раз как заведенная повторяла она, словно торопила машину, погоду, снег.

— Мам, да за бесценюк я взяла, мам, да, прям под первоснегом, мам, я и брусники взяла, замочим, мам, я сразу банки три замочу, — размякнув дома, вливала моя жена патоку теще.

Она словно специально через каждое слово говорила «мам», и я, находясь в другой комнате, через дверь чувствовал ее скошенный на меня соглаждающий взор. Ее и ее матери. Моя мать на меня не смотрела. Этим усеченным словом они ведь так мешали ей проявиться.

Они обе прилипали к телефону, перед тем как отойти ко сну. Время, потраченное на предсонный разговор, измерялось тоже съестной мерой. Его энергии хватило б, чтобы сварить два яйца вкрутую. Не куриных, впервые подумал я. Людских, людских.

На «первоснеге, мам» я сделал шаг к окну. Мы ведь счастливо проживали на отвесном одиннадцатом этаже. Но она слишком быстро вернулась.

Она, подойдя ко мне, плотно оттеснила меня от приоткрытой створки и резко закрыла раму на шпингалет. Почти на замок. «Но есть другие способы», — быстро и самодовольно подумал я.

Переполненная словами, что всегда торчали из нее, как сырые грибы из туеска, она не говорила со мной. Я ведь предстал пред ней конченным человеком. И я понял без тени сожаления, что это — навсегда. Я предстал и перед собой всего лишь ее досадным промахом и нерасчетливой ошибкой. Она ведь не послушалась тогда своей премудрой матери. И семья меня не исправила.

В этот миг мне ужасно захотелось завести некрупную собачку.

Ну хотя бы кошку тигровой зеленоватой масти.

Я бы согласился и на парочку серых мышек-норушек.

О, розовый крохотный нос, усики из лески нулевого калибра.

С мыслями о мышах, глубокой ночью, может быть, уже под утро, я тихо вышел в нашу веселую ванную, полную жениных примочек, баночек, коробочек и тюбиков. Ничего моего в ней не было. Я всегда странно здесь себя чувствовал, якобы мне непременно надо наложить на свое лицо, по меньшей мере на его не заросшие части, густой грим, сделать притирания или что-то еще, что совсем не надо делать полусонному мужчине. Я увидел свои белейшие трикотажные трусы с желтым выразительным пятном, они не обтягивали гениталий, а пузырились, темная волосья тянулась, поднимаясь по впалому животу, на моей высокой шее не было креста.

— Ты — нехристь, — тихо и вкрадчиво сказал я ему.

«Почему нехристь — женщина?» — подумалось мне.

Я с минуту смотрел в зеркало, ничего такого не находя в том, кто пристально смотрел из толщи стекла. Тот персонаж удивительно, неотличимо и скучно походил на меня.

Но, становясь прозрачнее и прозрачнее, он не делался мною.

Поверху кафельной стены был раскидан хаос декалькомани из веселых немецких зверьков.

Но среди них не было мышей.

Были и трудолюбивые лошадки, и понурые ослики, зачарованные попугайчики и наидобрейшие вороны.

Он, этот мужчина в зеркале, отвернувшись от меня, провел по этой звериной кромке острую линию своим недоверчивым взором.

Я-то знал, что ему нужны были только одни маленькие ручные мыши.

И я, хмыкнув, раскрутил женин станочек для бритья пухлых подмышек, вытащил лезвие, преспокойно перерезал этому глупому мужику вены на запястьях и легко почиркал той же бритвой повыше, к самому локтевому сгибу.

В нескольких местах.

Вжик, вжик и вжик!

Его белое жилистое тело совсем не противилось вострому металлу.

Он даже не поморщился.

Что ж — это не представляло никакого труда?

О боли он ничего мне не сообщил.

«Господи, как легко».

...Мне стало чуточку горячо, может быть. Только в одно мгновение. Я ни о чем не сожалел.

Но как спокойно и весело мне стало...

Мне стало, стало мне, стало, стало...

Кто-то посмотрел на свои руки. Они стали походить на «батон нарезной», если бы в батонах вместо белой мякоти оказалось брусничное темное желе.

Семь шагов назад.

Кто-то тихо вполз на супружеское ложе.

Спиной к жене.

Кто-то проваливался куда-то, и там ему делалось легко.

Легче и легче.

Я только думал в новой эйфорической свежести: «Кому же я теперь расскажу, что последний одр — наисплошная наилегчайшая намяткость?»

Она не заметила моего недолгого отсутствия, так как засыпала всегда стремительно, словно ее штепсель выдергивали из розетки, и почивала глубоко и ровно. В ее крепкой голове колебалась ночь. Одно короткое слово. Оно одинаково кратко на всех языках мира.

Сквозь меня проносились все легкие имена ночи, на всех языках. Их знание обуюло все мое существо. О, без всякого сопротивления...²⁵

Через войлок голубой мути жена что-то орала в телефонную трубку. Перехватывала мне руки какими-то дурацкими жгутами. Небольшо лупила меня по щекам. Голосила, как в театре, я наблюдал ее микроскопические усилия со сто пятого ряда сто первого яруса. Она воистину бесновалась. До меня донеслось:

— Гад! Ты, гад! Вставай, вставай, негодяй, вставай! А, гад! Ой, а что это, за что мне?!?! Что удумал! Вставай, слышишь!

И я должен был восстать, возбудиться, ведь я был ей еще зачем-то нужен в непонятной, совершенно не моей жизни.

По суициду я, конечно, попал в психиатрическую реанимацию.

²⁵ ...В светающей тьме — поля набухшей синей земли. Отцовские посиневшие поля. До самого горизонта. И он уже стоял по колено в почве. Уже по колено. Он тихо опускался ниже. В свое отроческое отеческое отечество. Оно должно было его вот-вот поглотить. Он делался все моложе и моложе, легче, легче. Отец исполином маячил на самом дальнем краю. Спиной к нему, широко расставив гигантские ноги в обмотках времен Первой мировой. От плеча его гимнастерки белел высол, как карта Америки, повернутая на девяносто градусов. Отец бесшумно мочился, теряя вес. «Голем, Голиаф, Колосс», — пронеслось дурманом в моем пустеющем уме. Будто сквозь меня протягивали шелковую нить самого легкого номера самого прекрасного небесного цвета.

Через несколько недель я выполз оттуда перебинтованным, как конь для выездки, со штокками на руках, оглушенный химическим равнодушием, тупо выславшийся без сновидений, и все настоящее, неотличимое от прошлого, потянулось в привычном русле.

Оно, мое прошлое, как я понял, стало настоящим, не пройдя.

Оно возобновлялось с удивительной силой неподвластного мне, не моего упорства. Со мной что-то происходило. «Что же?» — покойно спрашивал я самого себя и сам же себе не отвечал. Ответ ведь был мне не нужен.

Женой управляло чувство русского долга. И она наконец по-настоящему воспряла, стала гораздо меньше есть, в ее жизни появилась простая, как мычание, скрупулезная бабья цель. Она будто узрела ее в перекрестье хищного прицела. И она стала за мной упорно «ходить» и беспрестанно «жалеть». Она «жалела» меня бесконечно, совершенно не любя. Как в одной песне о женщинах Смоленщины, жалеющих всех без всякого на то спроса.

Когда я вдруг перехватывал ее взор, мне начинало казаться, что она видит меня в строгой госпитальной постели, перебинтованным, без половины конечностей, еле приползшим израненным червем с самой жестокой войны.

Мера властной влаги в ее серых очах была бездонна.

Она могла вот-вот замыкать.

Я постоянно перехватывал это жалящее меня неблестящее матовое слово из ее телефонных реплик. Оно язвило меня через неплотные двери. «Жалко-то как», «один ведь ничегошеньки не сможет», «на одних ведь всё нервах».

Итак, она стала двигаться по моей жизни как маневровый паровоз, прямо по нервам.

«Нужен уход», твердила она, «режим и уход».

Я тоже понимал, что самое лучшее для меня — уход.

Никогда не задумывался — чем привлекала меня простая вторая (по сравнению с первой) жена, завладевшая мной, дураком, по легендарной отцовской модели. Понял это после истории женитьбы и развода, понял, что это — глупый рок. И ему, со временем ороговевшему чудищу, не сопротивлялся.

У моей «второй» кроме домовитости и кухонного усердия никаких плюсов больше не было. Хотя некоторые рецепты консервирования останутся со мной до самой моей смерти. Они незабываемы.

Сложные процессы, затеваемые в самом конце лета и по ранней осени в моих родных краях, оказались для меня напрямую связаны с небытием, с его прискорбными образами и горестными смыслами. Например, засолка нескольких пудов помидоров в огромной дубовой бочке. Бочка распаривалась до черноты на краю подполья ко времени урожая. Ее, повалив набок, намывали и надраивали, как роженицу, нещадно парили и отменно томили. И, приуготовленную, опускали на канате в глубокое подполье. Это действие единило нас — меня, тещу и жену. Мы совершали языческий ритуал. И я думал о красавице, отданной на съедение жуткому безжалостному вепрю. Достигши глубокого дна, бочка тяжело вздыхала, как живая, не веря в наше семейное единение²⁶.

Срок засолки можно было угадать по особенной радости, вдруг находившей на жену и полонящей тещу. Крупные, насухо обтертые от земли и пыли помидорины доходили до кондиции под кроватью, во всех углах квартиры, на полу кухни, на подоконниках. По всему жухнущему дому дозревал поздний урожай. На помидорный щекотный запашок у меня раз-

²⁶ Когда я собирался, как скользкое земноводное, нырнуть в земляную нору, то, подняв лицо, перехватывал тещин взгляд, плотную волну безграничного презрения, граничащего с пафосом непонимания. По отношению ко мне она всегда ощущала себя высшим животным.

вивалась аллергия. Плоды торжественно сортировались по крепости и цвету. Внимательная жена без устали щупала и переворачивала их куда нежнее, чем мои тестикулы во время любовного гона. Зеленоватая немочь плодов становилась стыдливым румянцем, а потом краснотой. Но женины двусмысленные манипуляции не вызывали во мне ни тени ревности, ни призрака желания. Я просто ждал, когда она заговорит с помидоринами на страстном курлыкающем языке. Ну, хотя бы вздохнет над ними.

Как ни странно, уйти из жизни мне всегда хотелось после стократного погружения в погреб, где я укладывал в ненасытную бочку жесткие томаты под руководящие вскрики жены и тещи. Я клал их слой за слоем. На сухую клеверную подушку, подсохшую листву смородины (неприменно черной), вставлял вертикально прутья хрена, сорил зубчиками чеснока, раскидывал лавровый лист, горошины перца, уминал зонтики укропа, вислые плети чуть подпаленной конопли и далее, что называется, по вкусу. В конце концов я увлекался и забывал все на свете. Целесообразность и ритм этого бреда меня завораживали.

Потом мне спускали на веревке десятки ведер сладковатого рассола, где не было ни капли уксуса.

Потом я получал булыжники для гнета²⁷.

Потом в погреб опускалась жена принять мою работу. Это было обычной уловкой, так как в подполье ее настигал страстный позыв. Я не знаю, что ее заводило — красное зарево томатов, их литые объемы или прель глубокой земли, восходящая из откинутой створки. Я уверен, что она готовилась к этому загодя. Ведь до меня доносился призыв свежести вместе с очередным ведром томатов. Словно меня настигало любовное письмо, как дикаря каменного века, когда еще не было ни криптограмм, ни символов. Только урчание и миазмы. И вот бодрящий дух доносил, что она, моя совсем разволновавшаяся, с сотым ведром, непременно спустится вниз, переступая над моей головой почти по вертикальной лестнице, — я должен был ее галантно поддерживать. Мои объятия, в которые она вскальзывала, прыгивая с двух последних поперечин, переполнились теснотой ее тела, и я ловил главное качество ее женственности. Эфемерность, томление, изменчивость? Не знаю. Я вообще знал про нее мало. Я просто соответствовал тому, кто должен был действовать вместо меня, тому, кому и знать ничего не следовало.

— А смороду он лужил? — захлебывалась с эмпирией теща, именуя меня в торжественном третьем лице, будто меня уже не существует. — Лужил смороду-то он, погляди, доча, а хрен?

Теща тихонько блажила, гулила, попискивала, перебирая ингредиенты. И двусмысленность и непристойность их имен была несомненна. Ей нравилось их твердить, проглатывать перед тем, как сказать.

— Мам, да ты не спускайся, ухх... да круто тут, убьешься, сама там все устрою. Ложьл он, ложьл, — возвещала жена из подполья тугим голосом. Якобы пристрастно проверяя меня²⁸.

Ее высокий тон восходил отвесно вверх — жгутом перекрученного желтого трикотажа. Желтого — оттого, что модальность ее тона была подевичьи высока и красива. Жена не менялась этой страстной канареечной частью своего девичьего голоса. Такого тугого, будто его в две руки выжимали над чашей.

Этой блудливой двурукой чашей был я, присевший на корточки под ее разведенные мягкие бедра, как Полифем на знаменитом лореновском пейзаже, уткнувшись носом в надушенные завитушки облаков. Нимфы выгля-

²⁷ Для меня это была в каком-то смысле репетиция погребения, я чувал, что это связано и с моей бедной матерью тоже.

²⁸ Она смещала ударение в этом исковерканном глаголе на более правильное, по ее разумению, место. Ее мать эту правку не принимала.

дывали из-за кустов. Мне, надо признаться, тогда нравился этот стиль. В нем было что-то древнее, архаическое, искреннее и простое, — это было совсем не похоже на побоище торопливых любовников и шустрю ловитву оргазма. Какое-то начало компромисса. Ответы обоюдности. На подступах к благодати, — всего несколько минут, пока я, ну понятно что... и пока, исходя, она надсадно общалась со своей неотлучной матерью. Из земляной утробы, со дна древней норы. Прелестно проглатывая пригоршни гласных:

— Угу, мма, ухуу, мам...

Теща, кажется, понимала эту игру, ей не могло не передаться то, что происходило в двух метрах под нею, обходящей отверстие погреба по периметру. Подол ее метался в проеме, как стяг.

— Чё, доча, чё сказала-то?

Ответа не было.

Мне тоже полагалась порция ласк.

Мне казалось, что я старался для обеих.

О, на эту катавасию у меня уходил целый библиотечный день, обычно принадлежавший Любви, Любе, моей детской Бусе, моей, как она заговорщицки именовала себя, «полюбовнице». Моя тускло-двойная жизнь продолжала сочиться по-прежнему. Я, не предпринимая ничего, только ухмылялся, ну лишь мышцами рта с внутренней стороны, и плавно уворачивался от острых углов.

Когда-то дал себе слово расстаться с ней. Но не так-то легко было это сделать. Она и знать ничего не хотела.

— А разве я тебе хоть чем-то мешаю? — спросила она с простодушным удивлением после моей благородной тирады.

— Нет, совсем наоборот.

И я легко чмокнул ее. Не знаю за что — за бескорыстие, за легкость, за то, что довольствуется малым. Боже мой, разве я мог кому-то дать много?

Эта раздвоенность поначалу мешала, и я решил свое бытие упростить, сделать его плоским, простым и однозначным. Невзирая ни на что.

Но скоро стало понятно, что она, то есть моя Буся, может наложить на себя руки, и эта трезвая мысль вынудила меня оставить все по-прежнему. Тем более, что она не ревновала меня к жене, ни о каких подробностях меня не расспрашивала и жила только моим детским прошлым и историей наших отношений. Все должно было окончиться само собой. Но кто знал, что это самое «все» затянется на всю ее жизнь.

Мои попытки осуществить перемены стоит описать. Как не тускнеющее от времени, грустное и сумрачное предание.

Сначала я перестал к ней заходить. Как бы из-за цепи несовпадений наших свободных дней. А потом — потому, что решил все навсегда прекратить. Вроде заболел. Связь ведь была односторонняя. Разыскивать меня, звонить мне домой она никогда не смела.

Прошло время. Месяц, два, три... Но однажды мне стало казаться, что вот уже несколько недель по улицам кто-то ходит за мной. Почти след в след. Близко. Странное чувство, от которого избавляются, нахмутив ни с того ни с сего посреди безоблачного дня лоб, передернув плечами, хотя никакой внезапный сквозняк не холодит спину. Нет, это была не кажимость, а что-то другое — смутное, но мешающее. Как заусеница. Но во мне, внутри меня. Пока не заденешь — ничего не чувствуешь. Но вот я стал чему-то внимать спиной, тем местом, где сходятся лопатки. Словно в меня кидали легкие маленькие валенки. Самого крошечного размера. И еще — почуял эфемерный ожог чуть выше, где шея становится затылком. Там, где он начинается. Испытывал внезапную остроту, словно мне только что опасной бритвой решительно поправили стрижку.

Сначала я это списывал на угрызения совести, но легко оправдывал себя женитьбой (в сущности, только лишь из-за беременности) и новым раскладом своей жизни, новым равновесием, где Бусе места не оставалось. Да-да, именно из-за равновесия, с таким трудом обретаемого мной.

Но из-за того, что мне только помнилось, из-за мифического взгляда несчастной Буси, каким-то образом выследившей меня, менять траекторию пути и прятаться в кафешках, рюмочных и магазинах мне совсем не хотелось.

Но все-таки однажды я ее увидел. Как промельк. Меня поразило, что я увидел и признал ее как стремительную схему, как скверный конспект моей прошлой Любы. Заострившуюся, резкую. Подурневшую. И я не попал в свой прежний оптический фокус, и мои сухие глаза заслезались.

Сначала в большой зеркальной витрине смутным боковым зрением, как быстрюю карикатуру. На самой периферии стекла. В том, что я признал именно ее — по световому промельку, по туманному кивку ничейного отражения откуда-то изнутри моей совести, — было нечто от глумления. Я ведь совсем не хотел ее видеть. Она словно мутировала в эту случайность из себя прежней, меняя проекцию моего детского прошлого, причастного ей.

А потом... Когда в большом магазине одежды «Синтетика» (чудная новина тех лет), куда я однажды нечаянно забрел, словно влекомый статическим зарядом, кто-то скользнул в примерочную кабинку отдела женского платья²⁹.

И вот среди ярких облачений, опасных, как огонь на сеновале (в отличие от тусклых, как старое пепелище, мужских), я шагнул к только что занавешенной примерочной кабинке. Фирменная эмблема комбината плащевых тканей колебалась, будто там дышали носом, зажимая рот. Я ментально опознал ее, эту дыхательную машину, по ритму. Да-да, по ритму — ее бесшумного дыхания, как во время нашей близости. Мгновенно увидел и ее сквозь непроницаемую тряпку. Какие-то мелкие туфли снизу. Кажется, раньше таких у нее не было. Я на миг заколебался.

— Там занято, мужчина, и вообще это тут вам женский отдел! — злобно возвысила на меня голос деваха в форменном комбинезоне, она даже зло шагнула на меня.

— А я ищу, знаете ли, самый яркий подарок, — громко ответствовал я. Я отдернул шторку.

Ничего не произошло. Волны не расступились.

В перекрестье трех узких зеркал стояла маленькая женщина. Я увидел сразу трех себя, вззирающих на нее со всех сторон. Она плотнела в фокусе, заслонив сумочкой лицо. Она ожидала удара от своего отражения. Прямо по глазам, носу и рту. Трижды. Она так высоко подняла руку, что в пройме блузки я узнал ее темную подмышку. «Какая-то детская, класс седьмой», — сказал я сам себе в сотую долю секунды. Вид этой подмышки все и решил. На меня нахлынуло что-то. И я, кажется, нечто знал про это. Легчайшая черная штриховка.

Я сжал ее запястье, и в меня вломилась вся ее невидимая дрожь.

Она с трудом опустила сумочку, преодолев ступор. Будто прошло долгое время.

— Пошли отсюда.

Целуя ее, я словно поймал слезу, стекающую с крутой скулы. Я заметил, что слеза примяла тончайший пух на ее изумительной смуглой коже.

²⁹ Мне ведь на самом деле очень нравились синтетические вещи, нравилось чують на себе одежду как вторую кожу, и синтетика, по-тихому мучая меня, прекрасно это позволяла. Капрон, акрил, кримплен, ацетат, полиэстр. Они всегда чуть-чуть подпалали мое тело. Проносив день рубашку из такого вещества, к вечеру надо было уворачиваться от своего растекающегося нелегкого духа, то есть в этой оболочке от самого себя было некуда деться. И я это чувство любил, потому что на самом дальнем плане памяти представал своим отцом — пластически совершенным в это мгновение галлюциноза.

Слеза была почти что пресной.

«Как ручей», — сказал я сам себе.

Пока мы шли квартала два до ее жилища, я держал свои скрещенные руки внизу живота, как оратор. Словно держал себя. Сильнее, чем тогда, я больше никогда ее не хотел. Никогда.

Время вытянулось и скрутилось, пока мы плавно взбирались по длинному конструктивистскому пандусу немыслимого дома, разрушающегося с начала двадцатых годов. Навстречу шествовали жильцы, как в храме. Бежать было нельзя. Идя за нею, я смотрел на маятник ее ягодиц под короткой тесной юбкой, — словно пронизал неземную поляну ее теплых внутренностей, нежнейшие простодушные цветы, ну что-то такое еще... Я не сдержался, я протянул руку. Это была самая лучшая плотность, доступная мне.

Навстречу стекала тетка со взрослым дурачком, и он, как всегда неправдоподобно добро, мне улыбался. «А... здарсьте. А... здарсьте. А я знаю, знаю, как тебя звать, — знаю-знаю-знаю-знаю», — затвердил он и, как всегда, не угадал моего имени.

Он, многожды встречая меня в этом доме, всегда именовал меня по-разному, но имена были таковы, что подходили как мужчинам, так и женщинам: Валя, Шура, Женя, Паша, Тоша... Гуттаперчевые, плюшевые и пластмассовые. Бесполье игрушки, медвежата, щенки, пупсы.

Эта потраченная секунда грозила мне абсолютной растратой, полным разорением... Возникающая пустота разрывала меня, как пергамент. «Идем, идем, сына, не поспеем в диспансер». Мать потянула его дальше, как разматывающийся скотч. Он все оборачивался, не переставая улыбаться. По моему лицу скользнула лента духа лекарств, тусклого тела, еды, наглухо замкнутой в утробе...

Горло мое перехватывала бесполезная жалость к его неровной щетине, черным волоскам, видимым в вороте рубашки, к самому себе, преумножая мое голое желание. Но я не смог ослабить галстук, так как никогда не носил его. И я понял, как буду умирать. Пока Буся, моя Люба, тихо и скоро, словно на полшага обгоняя уже и самую себя, на полупальцах, вела следом еще и себя со мною по гигантской пустой рекреации с миллионом по-разному декорированных бедных дверей. Она молчала, она не смела оборачиваться. Я вдруг понял, что видела Евридика. Пылкий свет фальшиво пятнил полы.

Последнее мешающее укрепление по дороге, совсем слабенький редут. Маленькая девочка катится на лошадке, она выразительно трется о седло. Буся у самой двери тихо, вполголоса, так что девочка точно не слышит: «Ай-яй! Какая плохая, какая ты, Белочка, совсем плохая». У Белочки заячья губа, и она шевелит ею, будто воспекает убожество этого дня, свободу своего чувственного занятия. Девочка так заразительно пыхтит сквозь мокрую щель поуродованного животного рта. Скользнув ключом в скважину, Буся шепчет почти без звуков, но я все понимаю. «Вот мамке-то скажу». На глазах девочки я прикасаюсь сзади к Бусе, просовываю ладонь в то место, что растирала седлом кроха. Как странно, меня ничего не обожгло.

Тихо притворив свою створку, задвинув щеколду, нервно набросив уже ненужный крючок, она, как вилиса, мгновенно подлетела к окну, сбила сумбур тощих занавесок, переметнулась, не коснувшись половиц, ко мне, и я всем телом почувствовал, как от этих трех ничтожных шагов она запыхалась безмерно, как стала влажной и отзывчивой, вступив в сумеречную сень желаний. Будто только что народилась в сгущении дня под ясный вскрик соседского радио, — с трудом вздохнула, преодолев череду пустот, где только смерть.

Мне было всего жаль — ее шеи, ключиц, жестких прядей, рассыпающихся у самого моего лица, топленого на ярком свету, помутившегося духа кожи. Безмерно жаль.

Прижимаясь к ней, я почувствовал состав ее тела, смертную анатомию, внял ей так, что уже никогда не забуду, — как она дергала молнию, вшитую в шов юбки, и молния разошлась, и она дернула юбку, как не могла вырваться из тесной туфли.левой? Правой?

И я до сих пор не знаю, как поименовать то чувство, навсегда населившее меня шепчущим знанием о ней, об исчезающем по мере разоблачения теле³⁰. Ведь как любовь оно себя не обнаружило. Жалость, желание... Бог весть... Оно так отличалось от ее полного имени.

Я помню это как прекрасный стыдный кинематограф, смотрю эту старую, покрывшуюся дымом неправдоподобия картину снова и снова, пытаюсь сглотнуть ком времени, отделяющий меня от нее. Вот на высокой кровати, в сбитых простынях, заголивших вытертый тик матраца, она сидит надо мной, будто привсталала в седле, и я почти слышу себя, шепчущего ей слова особого заговора: «...расслабься, расслабься, расслабься», укачивающего и меня, — шепчу как в угаре, и она, тихо мыча, начинает закрываться от меня — одной ладонью лицо, а другой — грудь, будто они — самые постыдные места ее легкого млеющего существа. И я вновь вижу самое непорочное из зрелищ — как мой палец входит в ее ослабший анус, качается в ней, как былка в устье созревшей и уже нетемнеющей черешни.

Это сад, о мой жалкий слабый сад! Совсем немой...

Чувство ее тела, опалив меня, обняло не только мою плоть, — я больше чем осязал ее, я зрел своей рукой ее талую сокровенность, будто у меня на подушечке указательного пальца чуть приоткрылось смеженное, но больше чем зрящее, волшебное око.

О! Пожалуй, только розовый свет.

Она тихо ныла какие-то далекие мне, но восхищающие меня детские слова «волчок, волчок» и невыполнимые непонятные просьбы «ну, пожалуйста», она раскачивалась сама на моем персте, словно ее колебал медленный, но сильный ветер³¹.

И как только я по-настоящему проник в нее — туда же, где только что был мой перст, горя и пылая, я почти сразу же изошел.

Она быстро соскользнула с меня. Как символ завершения. Вытянулась, прижимаясь. Она заплакала. Положив мне голову на грудь. Сразу во весь голос. Горько. Настойчиво заревела. Ее затрясло. Я удивился, — неужели эта же горечь только что так робко пела в ней, треплясь слабеющей кисеей?

Помедлив, она промолвила, как будто кто-то ее подговорил:

— Я помру теперь.

— Что ты городишь, с какой это стати? — совершенно спокойно спросил я. Но в эти слова я не вложил и толики вопрошения. Я почувствовал, как мелко и непритворно затряслись ее плечи, как она стала жалкой, ничтожной, никому не нужной, случайной. «Просто тряпица», — промолвил я про себя. На блестящей дуге спинки кровати висело вафельное полотенце с меткой ее заводской прачечной. Я сбросил его на пол. Это не было выпадом. Ну, лежок смахнул, сильно потянуувшись. Не отрываясь от меня, она слабела.

Боковым зрением, как сквозь ленивый объектив, я увидел ее комнату, подбитую легким сумраком, какие-то не дневные вещи, — сумерки достоинства, склеившие все в невыносимое единство трезвости, вдруг охватившей меня, состоявшей из нелюбви к ней (так мне помнилось), к ее беспред-

³⁰ Иногда я вижу женщину и на расстоянии пяти шагов понимаю, как она пахнет, невзирая ни на чистоту, ни на парфюмерию. Неистребимым людским мускусом. Новой клеенкой, стопкой старого «Огонька», мисочкой мелкой рыбки. Это особый запах безвременья — немолодой и небодрый, из всех возможных — самый никакой, подходящий для любого существа. Запах желанья.

³¹ Мне чудилось, что я слышу не звук истомы, исходящий из ее неглубокой утробы, а восклицания счастья, подымающиеся из глубины души.

метному быту, к неистребимой голодной казенщине, к моей одежде, панически разбросанной по всему пространству.

У изголовья, на тумбочке старая фотокарточка моей матери в каменной рамке. Синеватое стекло в мельчайших мушиных уколах; словно все в мире больно корью или ветрянкой. Будто это суть фотографии — память о мелком черном снеге, все эти годы заваливающим ее, мою мать, делающем ее полной условностью.

Я возвращался к себе.

Ее эмоции вообще-то были мне всегда мало понятны. Они напоминали мне фантомные боли, продолжение ампутированного времени, в них было что-то старушечье, безответственное. Я жалел ее совсем за другое. За ее историю — номинальную, без закидонов, то есть внятную и неотделимую от моей. И она вымолвила, обернувшись ко мне, глянув сквозь слезы (словно ей тяжок вид моей наготы), некрасиво кривя рот, старея уже на десятки лет, — продолжила, что стало несущественным бездну времени тому назад. Надавив на каждое слово в этой коротенькой фразе:

— Помру от позорища.

Я понимал, что могу не отвечать ей. Она взяла мою руку, и я почувствовал ее ладонь, уловил жесткий трепет, она поцеловала мою кисть, взяла в рот мои пальцы, только что побывавшие в ней... Вот скользкие зубы, десны, вялая плоть языка...

— Ну-ну, не надо... — попросил я и отвел руку.

Я продолжил сам, запнулся. Впервые почуввав ее как материал, не как тело и плоть, а именно как материал, который один — у дерева и его преданной нимфы.

— Помирать. Ведь я не думал помирать тогда, в Тростновке, хотя там был еще и Толян, как ты помнишь. И ты не поинтересовалась никогда, никогда, слышишь, никогда о моем, как ты выражаешься, позорище. Ты просто ушла.

Я зачем-то прибавил еще:

— В степь.

Я почуввал свой голос как воду, текущую по невыразительной ровности. Этот покой был моей козырной картой. Она не была крапленой. Я победил. Она всхлипнула и замолчала. Я примирительно прибавил, ведь мне стало ее жаль:

— Ты дриада.

Она сразу успокоилась, сдалась, и я одним рывком перетянул канат, промокнула слезы о ближний угол простыни и ничего мне не сказала. Упреки на нее действовали безотказно.

С тех самых пор раз в неделю я принадлежал ей, как и она — мне. Целиком и полностью. По скользкому графику. Только вот мой язык, мою любезную мышцу, она так и не подпустила к себе, то есть в себя.

Когда однажды я был в полутора сантиметрах от цели и уже горячо вздохнул, она, напрягшись, еще шире развела ноги циркулем и сказала таким покойным голосом, словно он донесся до меня из другого жилища, сквозь форточку, оттуда, где чтят совсем другие законы, что я опешил и испугался:

— Тронешь так, то руки на себя наложу.

Мне навсегда запомнилась эта фраза. Будто она не удержала ее другими губами, теми, да, теми, что были тогда вблизи от моих. И я, почти задыхаясь, смотрел туда, Господи, на их речь. Как они теплели в слабости через редкую слабую штриховку волосков. На их тихий, непостижимый, безмолвный лоск. Я понял, что и она никогда мне не ответит.

Вдруг мое волнение уравнилось с ритмом незыблемости всего бытия. Я почувствовал между своей влажной мышцей во рту и тем, чего так хотел коснуться, — жесткую ось мира. Ее трепет и твердость, непроявленность и

немыслимость. Я впал в транс, где нет ни похоти, ни желания, ни подглядывания. Я оказался равен своему истоку. И единственная горечь, полнившая меня, — жгучее нежелание быть оттуда исторгнутым. Я замычал. Я понял, что не хотел нарождаться. Никогда. Ни промыслом, ни промышленением. Мне почудилось, что я исчез, ввинтившись в этот узкий проток. Это было столь очевидно, что уже — немыслимо. Мой язык, все мои слова были отодвинуты, я уперся в предел чистого умозрения, мягче и пронцаемей которого не было. Я понял, что я — совсем другой, что мое имя — случайно, и меня никто не звал по-настоящему, так как я не был наречен. Всю прошлую жизнь надо мной был лишь слабый, пресыщенный брезгливостью надзор. Это зрелище, это равновесие тела, мое удивление робостью слабой эпидермы пришло ко мне само, помимо моего зова. И я испытал счастье уступки.

Иероглиф штриховки ее паха, где черные линии подсвечены коричневым, розовым и желтым, — мгновенным всплеском вошел в меня. Мой взор стекленила нескатившаяся слеза.

Я зарылся лицом в простыню.

Эта близость рвала меня, как пуповину.

Будто я почувствовал треск в самом себе, у самого сердца.

Я отвернулся.

И я никогда так и не смог уравнивать ее тело и мой язык ни в прямом, ни в переносном смысле. И по сей день не знаю, чего она опасалась. Что обнаружу пугающее несходство того, что нарекал про себя словами, и того, что почувствовал бы, лизнув? Нет, я думаю, что не этого она не хотела. А чего же тогда?

Мне некого спросить.

Я осознал, что мне уже поздно пытаться что-то особенное уловить в ней. И я, как самое простое, будто играя, гладил подушечкой пальца жалкую сжатую ноздрю ее спящего розового срама, смеженное око, узенькое устье; и оно, наконец-то приоткрывшись, словно глянуло на меня самой благорасположенной ко мне маленькой тьмой. Источило настоящее Бусино тепло.

Она — я это чувствовал, но не слышал — согласно пела мне в ответ.

Мне почему-то всегда думалось, что она как бы производит меня. На свет. Осознание этой безусловности, всегда настагающее меня, понуждение к осознанию вообще-то и было целью моих встреч с ней. Что этот сжимающийся слабый выход — первое и главное, что я должен увидеть в новом мире, продрав глаза. И, продирая их, я это осознавал. Что в моем грядущем ничего важнее нет и не будет.

Нестерпимый лоск воздуха, которого я касаюсь кожей. Его пелена возвращала мне тело.

И мой скользящий библиотечный день всегда соскальзывал вместе со скользящими Бусиными выходными. Быть синхронным с нею мне стало совсем не трудно.

Никакой из известных мне языков на вопрос «что происходит?» не отвечал. Правда, один голос из-за языковой стены все же донесся до меня.

Однажды как-то утром впервые за сотни лет позвонила Глазунья, та самая «новая жена» моего отца. Я насилу признал в старческом голосе свою «посажёную мать». Она сообщила, что отец очень и очень болен, что она к нему «ходить каждый день, носить то и это, а он все не есть и не есть, только сок и пить, и что он вот велел позвонить».

С трудом понимая ее речь, я глупо переспросил:

— А кому позвонить?

— Мне.

— Мне позвонить ему? Но как же я позвоню в больницу?

От этой путаницы мне сделалось совсем не смешно. Я, честно говоря, ничего про отца не хотел знать. Ну, чего они от меня захотели? Чтобы я сорвался ухаживать? Чтобы я слал деньги?

И я напрягся, как перед ударом, так как этот звонок — от него, о нем, сквозь него — случился первый раз за все долгие годы. До меня дошло, что он что-то хотел сказать мне. Он выбрал самого подходящего для такого случая посыльного, самого косноязыкого в мире герольда.

Она замолчала. Кажется, начала шуршать бумажкой. Царапать трубку. Гнуть дужки очков.

У меня не было с ним отношений, точнее, с тем человеком, что был когда-то им. Я имел дело совсем с другим отцом другого человека, другого мальчика, много других лет назад.

Что же непонятный он этому мне хотел сказать ее голосом?

То, на что он никогда не решался сам?

Она собралась с духом и прочла, а может, сказала. Почти по слогам. Вот что.

Мне, видите ли, не надо держать на него столько лет все зло и всю обиду.

Как держать, за что держать?

Почему «всё» и отчего «всю»?

Я ничего не понимал и вообще не ожидал что-либо от него получить. Какую-то весть. Тем более таким странным косвенным способом. Через эту совершенно чужую мне женщину.

Мне ведь никогда не доводилось надрывать его писем, почерк его останется для меня тайной. Он никогда мне не звонил. И мне неизвестно, как искажает телефонная линия его голос. И вот.

Она продолжала однообразно лепетать, связь была на удивление чистой. Она с трудом пересказывала мне трудные прописи его послания.

Он, мой отец, — она именовала его только по отчеству, без имени, — всю-всю свою чумную жизнь только и думал что обо мне и только и делал, что за меня очень переживал. А сейчас он очень болен, может, из госпиталя и не выйдет вообще. Он хочет, чтобы мне это было известно³².

Она так коряво и искривленно говорила. Такими прямыми страдательными словами, что мне почудилось, что полчаса назад у меня с ним было больничное свидание. Мне было трудно к ней обратиться, так как не помнил ее имени и отчества. О, не Глазунья же?

Вдруг как во сне, когда впервые самоубивался, мне все стало видно. И видение было невероятно отчетливым.

Мрачный усталый отец, погруженный в тупость болезни, вдруг посветлел, вынырнув оттуда, потрепал меня по щеке, молодо улыбнулся и очень тихо, чтобы никто больше в мире не услышал этих его волшебных слов, сказал мне, свистнул, как черный дрозд: «Мой нежный любимый сыночек».

Эта его самая последняя переливчатая фраза, которую я сам произнес, засела во мне, как особенная заноза, как специальное главное правило моего сознания.

Отец, не сказав мне ничего, стер границы моего раскаяния.

Эти слова, не важно, что они были измышлены мной, не вызвали во мне ливня слез.

Мне наконец стало понятно столь поздно, с опозданием на бездну лет, что же со мной произошло, что пережил тогда с ним, моим отцом, и кем я стал, и с чем не распрощаюсь никогда.

Ведь повторив эти отцовские слова, это его завещание, я, получается, как бы сам себе их говорю, сам себя слышу и понимаю. Но кем я могу

³² «Рак в горле», — спокойно и как-то устало заметила она. Прибавила: «Говорить свистом насквозь».

быть выслушан? Это проблема. И вот душа моя стала тупой и неотзывчивой, меня населило смятение, не покидающее меня никогда.

Есть вещи, которые казались мне незначительными, и мне смешно в них признаваться.

Например, такое — не более чем крупный план, невыразительное, но неотвязное видение, наползающее на меня из-за косогора памяти.

Вот оно.

Прошло несколько бесцветных лет.

Мне доводилось бывать в нервных клиниках. В длинных промежутках я глотал пригоршнями всяческие успокоительные, нагоняющие ватную небодрящую дрему, совсем погасившие блеск и свежесть окружающего. Но все же пару раз мне удавалось отправиться в автомобильные вояжи, тихохонько вытащив у жены ключи от автомобиля. Гараж был далеко от дома, и отсутствие драндулета никто не замечал. Сымитировать двухдневную командировку на моей спокойной кафедре, где все мужики мне сочувствовали, а тетки искренне жалели и хотели помочь, не стоило никакого труда.

Ну так вот. Я стал хитер, а все сумасшедшие, как известно из умных книг, — расчетливые хитрецы. Но я не был сумасшедшим. Только хитрым.

И однажды решил повторить тот путь до домика шоссейного мастера один, без отца, который к тому времени года два как умер. Но главным условием поездки было то, что ехать я должен был как бы с ним. Я должен был в конце концов все в точности воссоздать.

Сначала была ерунда с погодой.

Вместо молодого морозца, исчеркавшего тогда белыми порезами заголившиеся поля, стояла ясная лирическая осень с мерзким сияньем и гнилой мягкостью. Даже шиповник по обочинам шоссе пустил новые невыносимые цветы. И, глянув на такое здоровье, я в тяжелом угнетении поворачивал с трети пути.

Наконец все совпало!

Это был в точности такой же день.

Липкий иней.

Дальние леса яснили.

Ни следа легкого тумана.

Все точно так же.

Такое же.

Полная гальваническая копия самого важного дня моего прошлого. Только за баранкой сидел я сам.

Но с этим ведь ничего нельзя было поделаться. И мне чудилось, что между мной и отцом, уже не существующим тут, тек слабый ток, едва кислящий мне язык. Словно я, ребенком, в темнеющем углу уютно лизал батарею.

Мне была необходима тяжесть на моем плече. И я скатал свой плащ, но это никуда не годилось, сооружение, оказавшееся чересчур мягким и легковесным, сползло, как я ни подхватывал эту имитацию отцовской длани своим плечом. И, подумав, заложил в скатку автомобильные инструменты: небольшую монтировку и несколько гаечных ключей.

О, вот, кажется, наконец получилось.

Я мчался вперед.

Я чувствовал тяжесть на своем плече.

Мой хребет поддерживал драгоценный вес.

Календарь со свистом крутился назад.

На часы посмотреть мне было страшно, так как я знал, что и стрелки идут в противоположную сторону.

И действительно, снежка, поначалу залеплявшего лобовое окно, к концу дня делалось все меньше и меньше.

И я настиг ту самую ночь.

Мои плечи и шея затекли от тяжелого хомута, обозначающего отцовскую руку. Мне кажется, что во мне проявилось что-то конское, кентаврье. Я словно вбивал под себя дорогу, я словно месил ее копытами. Чтобы ничего не спугнуть и не испортить, я, пятась, въехал через разбитые ворота во двор дорожного мастера.

Но дело, мое дело оказалось столь запутанным, что никого в брошенном дому я не нашел.

Чернота двора, заваленного сырым шлаком, вонь пожарища и выстаревшего брошенного домовья.

В той самой пристройке валялась ощерившаяся мумия кошки. Я ведь предусмотрительно взял с собой очень хороший китайский фонарик. Кровать была вынесена, половицы наполовину разобраны, оконные рамы выломаны. Ночь как глаукома перла вовнутрь.

Я ошибся временем, что-то сделал не так, ведь все было рассчитано с такой точностью! Но микроскопический дефект мог все испортить. Маленькое нечто, что поначалу не вызывает никаких подозрений.

И вдруг я увидел себя со стороны, идиота средних лет в приспущенных штанах, в том месте, где у стены стояла узкая койка.

Что я прокричал, хрипя, в черную дырищу окна?

— Мне труссы трут в паху!!! Отец!!!

Вся ущербность отцовского языка вдруг опалила меня.

Бедность, скарденность, понурость.

Что такое он мне сказал тогда?

Что это значит, ведь никто не мог на это высказывание опереться, оно змеится во мне, как червь, разрушая мою утробу. Ведь он тогда просто-напросто усомнился в своем существовании. И вот его сомнения полностью оправдались посредством моего памятливого соучастия в его языке. Но сколько бы я ни говорил о нем, — он всего-навсего мертв. И вот я сам отчужден от себя самого так, словно бы и в самом деле умер...

О Господи!

Меня никто не простит, так как я ничего не совершил против других живых.

Мне не у кого попросить это чертово прощенье³³.

До раннего утра я просидел в холодной машине. Не думая ни о чем.

Я возвращался, но уже не к себе домой.

Ужаснувшись и соболезнуя мне, густые леса отошли от шоссе; они попытались. Они тоже пережили смятение. Вот убавилось щемящей непотраченной красоты, которую я колыхал на дне своей памяти, как тревожную восхитительную сумму.

Гораздо меньше берез.

Черные насупленные ели.

Меня язвила эта перемена. Словно поправа самая главная ипостась моей надежды. И я к ней теперь никогда не смогу пробиться.

³³ Я все-таки очнулся тогда. Но мое пробуждение почти не важно. Я не хотел, чтобы все походило на хорошие фильмы Хичкока. Я хотел совсем другого кино. Как в «Ночном портье» Лилиан Кавани, на худой конец. Я вообще-то не очень люблю, когда в теперешнем бросаются камерой, как выданным глазом, меня это слишком нервирует. Я сосредоточенно раскрылся перед собой как пошляк, подчиненный убогой грубой фантазии. Я предстал пред самим собою как неустойчивый трус. Будто самого себя я увидел сквозь замочную скважину. На кого я стал похож... Если бы кто-то меня за этим застал... Но вот вопрос: испытал бы я стыд? На моем языке, в моем помутневшем, но хорошо организованном сознании этого химического элемента не было.

Мне бы хотелось здесь воспроизвести огромную цитату. На двадцать страниц. Про то, как рушится не сам лес, а его образ, как утренние смутные непереносимые краски превращаются в гуашные колера из таблиц, как они вымарывают тревогу, населяющую рассудок. Как вот-вот все завалит снег.

Корявые торжественные слова, не произнесенные мною, обуяли меня — ни одной точки на многие километры.

Пренебрежительно свободная речь леса. Прибежище шума. Пустоты.

И это будет богохульство, столь необходимое мне.

Я буду хулить и прославлять свое прошлое чужим языком.

Ведь мне надо его повредить — надрезать, вывернуть и тем самым сделать безусловно прекрасным.

Кто подсобит мне в этом богохульном, но богобоязненном бесчинстве?

Меня не оставляет воодушевление, оттого что эта лесная масса говорит со мной отвратительными намеками. Темными и зыбучими, лесными, засыхающими, как мои желания. Присутствующими во мне, но не шевелящимися.

Я должен был вывернуться из этих обстоятельств.

И я вывернулся.

III

Сквозь ватную муть я услышал слово «вторичник».

Реанимационная палата для свежих неудачливых суицидников. С круглосуточным надзором. Можно не углубляться в скучный и серый колер и реестр моего отчаяния?

Но вот бледные стены и потолок палаты впервые на меня не наезжали. Я очнулся на том же самом свете. Так как признал их своими, даже больше — почувствовал их как себя самого, согласно и безразлично. Увидел, что я пустой и во мне ничегошеньки нет, что все только начинается — с трудом и мукой, но начинается.

Может быть, я все получу изначально и сполна.

И первым существом, наткнувшись на меня, — была она, моя Эсэс.

Эти две близкостоящие скользкие буквы «эс» были вышиты красным на ее халате по самому краю кармашка и чуть растеклись болезненным ореолом, вылиняв от стирок. Единственная, кому я хотел бы дать полное имя и фамилию. Как выпел. Но мне показалось, что нужды в этом нет.

Также я увидел, как она хлопнула дверкой белого шкафчика с корявой надписью «шок». Я подумал, что она сама писала это слово.

Она подошла к моему соседу.

— Да, ломает просто-таки, — сказала она его всклокоченной башке.

Из его ноздри торчала прозрачная трубка. Обметанный рот был полуоткрыт.

Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, как она легка, — искусно прокалывала вены, слегка пробежав по ним пальцами пониже локтевого сгиба. Чтобы в жестко зафиксированную руку воткнуть трубку от капельницы.

Она небрежливо, сама, не дожидаясь няnek, подкладывала жалкие прозрачные утки, металлические холодные судна, ставила бескомпромиссные глубокие клизмы.

— Легче сделать, чем ждать, — провозглашала она девиз, вынимая из-под моих чресл гигиенический сосуд.

Все процедуры, выполняемые ею с легчайшей, чуть-чуть плотоядной улыбкой, были почти нестыдливы и нечувствительны, так как рука у нее была, как говорится, легкая. Я при ней чувствовал себя никем.

Когда она во время манипуляций так улыбалась, я замечал — она будто что-то сглатывает, и легкое утолщение, такой небольшой желвачок убегал по ее высокой склоненной шее в вырез призрачного халата, не скрывающего ее тела.

Но самое главное. Мне виделась особенная святость в ней, ведь она ежедневно присутствовала и свидетельствовала пробуждение чужих несчастий. Она, как архаическая Даная, с легкой улыбкой принимала в себя эти золотые ливни человеческой идиотии.

У нее, судя по широкой кости запястий и лодыжек, был очень крепкий организм. Чтобы обрести прелестное неколебимое равновесие, ей, наверное, достаточно было всего лишь умыться. Взглянуть в зеркальце.

Я помнил, как меня зашивали. Она ассистировала и улыбалась мне сквозь дурман. Одними глазами, так как ее рот был сокрыт маской.

Перебинтовывая мои конечности, она несколько раз поинтересовалась: «Не очень жмет?» Она буквально протискивалась ко мне через невидимый, но плотный дым помраченности. Я видел ее очень отчетливо в едком сиянии медицинской лампы. Она брала в руки металлические инструменты, и ее неукротимое тепло моментально перетекало в них.

Я не осязал холода касания в той же степени, в какой не почувствую никогда стеснения перед этой молодой женщиной, не раз и не два обтиравшей влажной салфеткой мои гениталии и промежность.

В голом огромном окне палаты яснило чудное утро. Я умирал, распятый (это не красивость, а в самом деле так) на жесткой кровати. Руки мои были накрепко привязаны к распялкам. Делаясь меньше и меньше, я усыхал, как шагреневая шкурка.

Она дежурила подле меня. Она иногда выходила, но особенным образом — не исчезая.

Тихая проникновенная прифронтовая сцена. Нет, оперная, из «Войны и мира» Прокофьева, когда маленький женский хор, спрятанный в толще оркестра, издали поет смертельно раненному князю Андрею: «Терпи, терпи, терпи».

И я чувствовал отменную романную легкость.

Между мной и этой ясной порой не было перемычек.

Утренний час показывал мне, что настоящий восход не за горами, он близится, и вот-вот совершенно естественно я обустроюсь в дивной парадигме времени, предъявив себя новому миру как признак необратимости, но отчуждаемости.

Наверное, я все это бормотал ей в бреду.

И как ни дико это звучит для моего тогдашнего положения, я испытывал к ней непомерное влечение. Алчность. Я хотел ее видеть.

Влечение выразалось в том, что мне было необходимо только одно — говорить с нею. Не переставая. Не переставая. И получать ответы, не спрашивая, не вопрошая, не погружая себя в паузы, поворачивая к ней лицо, хоть мне и тяжело было это делать. Она белым облаком скользила по палате. Моя шея выворачивалась.

— Да не вертись ты... — сказала она.

Крепкие рукопожатия бинтов не сковывали, а воодушевляли меня дружеским жестом, вселившимся в мою ладонь и запястье.

Кто хотел меня?

Кто любил меня со всей благорасположенностью и щедростью?

Тихая платяная моль сидела на моей правой забинтованной руке, как свидетель моего поражения, и мне было ясно, что, взвившись, она унесет с собой большую часть моего непереносимого прошлого. Ведь оно перестало вообще что-либо означать и тем более весить.

Свет из окна лился прямо в мои глаза, в меня, как литания, лития, благословляя на полное растворение, теряясь во мне, становясь мною.

Она погладила мою пегую щетину от подбородка к щекам, до висков, коснувшись уха. Она таким нехитрым образом поддержала мой лепет, вложила в свой земной жест (о, высокопарное слово) столько серафического материнского смысла, ослепляющего меня сильнее, чем свет, нарывающий в окне.

Ни одного дерева, словно больше я не увижу их.

Итак, мы стали любовниками. Особенного свойства. Не переспав ни разу.

Я понял сразу, кем мы станем, когда прочел, под ее халатиком — прозрачным и выглаженным по эфемерной сестринской моде, — алую сбрую скользкого белья, перемикающего ее не очень-то худое тело. Перевязь лифчика. Трусики, тонущие в мягком крупе.

Я попросил у нее зеркало, и она растворила створку пудреницы — на ней было написано облезлыми золотыми буквами «*рира*». И это траченное слово понравилось мне больше всех других больше, чем «задница», «жопа», «ляжки», «буфера», «попа», «лядвей», «ягодицы».

Из самой лучшей «пупы» на меня посмотрел желто-серый субъект, иконописный идиот из письма северной школы с усталыми глазами. Губы мои были все в запекшихся трещинках, из узких ноздрей повылезали волоски, я стал мощами, и внутри меня — пакля. Простыня под горлом походила на хитон святого. Я поделился с ней этим наблюдением.

Она взяла довольно больно меня двумя пальцами за нос и сказала, что если бы я не был так слаб, она бы с удовольствием — да-да, с удовольствием! — меня выдрала.

Как? Чем? Чем бы выдрала?!

И она больно свернула за нос всю мою голову.

Одним словом, это начиналось смешно, вульгарно и сулило мне если не сердечную отраду, то хотя бы соматическое развлечение. Ведь ей был известен мой зыбучий анамнез. Как она его понимала, мне было наплевать.

Паренька, лежащего в паутине трубок со мной в палате, унылого балбеса, в энный раз попавшего сюда, она жизнелюбиво звала Мульти-пульти.

— Ээх... Головушку в пакетик. А? И там тебе MTV, пока не найдут на полу, а потом уж и «скорая», и прямо к нам на пятый. Пятёрошник ты наш. Ну-ну, ты даешь, в степь смотришь, эй, вернись-ка, вернись, — звала она его, тормоша бессловесное тело, утирая его рот. — Ты хоть слюну-то не пускай, верблюжонок, дурачок.

О, как я хотел в тот миг стать «дурачком», чтобы мне утирали верблюжачьи слюнки.

Видимо, во мне было нечто, что она искала. Но, конечно, не внешность.

Я всегда оставался антиподом тучной матери, ставшей давным-давно для меня кучевым высоким облаком. Дольним мифом. Я рос и антиподом отца-легкоатлета. Набрать вес мне не удавалось никогда. Даже занимаясь культуризмом. В нарциссических залах, наполненных сопением, как утроба большого животного, мне показывалось из зеркала тело, приобретенное блажной облик сдуревшего мужчины. Я с трудом признавал себя в кожухе проступающего рельефа мышц. Будто забрался в окоп нового себя. Будто готовлюсь к страшной войне.

На приобретение мужской красоты я, поусердствовав полтора года, плюнул.

Мышцы с меня стекли, как наледь.

Свою мать, по бабушкиным словам — полную женщину, я едва ли помнил. Даже сильно напрягшись, я мог промыслить и услышать только ка-

кие-то обрывки чьей-то еле различимой шелестящей речи, как в волшебном мультфильме. Ну еще мог представить сколы плохой погоды. Мы якобы на прогулке возле нашего старого дома. Ну, еще — я едва топочу по скрипучему, синеющему от солнца снегу, не оставляя следов. Так как очень легок.

Но уверен лишь в том, что вижу белый-белый испод своей коляски, где лежу, замотанный в тысячу слоев.

На чем зиждется моя уверенность? На безусловном знании, доставшемся мне без напряжения, — будто нашел картинку в старом чемодане. Когда еще не было стыда и отчаяния.

Снежит из низких облаков. Зима запахивает на материнском теле, обмотанном пуховым платком, рыхлое снеговое пальто. Один снег. Может, над улицей уже встала унылая низкая луна. Но сомневаюсь. Мать зыбко стоит в дверях спиной ко мне, на ее плечи опирается никому не видимая атмосфера. Рядом с ней врач и отец. Отец ее поддерживает (это было бы приятно изобразить бабушке, как он это старательно и соболезнующе делал — «вот так, прямо с того боку»). Бабуля разыгрывала сцену).

Ее, почти неведомую мне, увозят в больницу, чтобы больше я никогда ничего не обрел — ни ее тело, ни ее образ. Я не помню, невзирая на бабушкины подробные рассказы, что она мне говорила на прощанье. Я не в силах эти речи себе навязать. Не могу представить губ, их выговаривающих. Я не знаю их упругости. И маска ее лица, воссоздаваемая мной, как оживающая с напряжением фотография, — слишком зловеще перетекает в личину отца.

Как она смотрела сквозь нее, были ли слезы на ее глазах?

Облачный образ, состоящий из мельчайшей перламутровой, мутящей меня пыли, никогда во мне не фокусировался ни в ее тело, ни в лицо, ни в голос. Первейшие качества — унылость, зыбкость и тоска, не позволяли произойти этому чуду.

Моей любви к ней не за что зацепиться.

Я бросаю наживку в прошлое время, но вытягиваю обратно голый вострый крючок, на который каждый раз бессмысленно цепляюсь сам. Это абсолютно пустое и порочное желание.

Иногда я думал, что коль уж у меня нет ее примет, то по крайней мере я могу вдохнуть воздух, что когда-то наполнял и ее. И куда ему деваться, ведь хотя бы одна молекула должна достаться и мне. И я вдыхал, как баян, ожидая хотя бы одного-единственного сигнала от нее, чтобы почувствовать то же, что и она, попасть как шар в ту же лузу. И я доводил себя до головокружения, я не мог прервать глубокое дыхание, пока голова не начинала кружиться и в красном зареве мне предстала тень — то ли распахнувшегося тяжкого зимнего пальто, сброшенного на пол, то ли помутившегося от непросыпанного снега облака. Я оседал на стул, на диван или на пол. Я ведь задерживал дыхание, я сглатывал колючие звезды галлюциноза, и в голове моей тоже мутилось, пока бабушка не колола меня своей сухой ладонью в живот. Детский наркотик, который всегда был со мной. Но он был особенным — он не издевался над реальностью, а давал мне из ее арсенала то, что мне хотелось, то, что было от меня заслонено. И эти образы выходили как актеры театра теней — из-за ширмы реального дня с его суетой и склонностью к иссяканию. Если я видел эти образы, то понимал, что живу не зря.

Воспитание перехватила бабушка.

Мягко, без понуканий, тихо и устало, чуть безразлично.

В ее квартирке, в двухэтажном неказистом домике мы и обитали.

Это она шутя, немного грустно, говаривала, взглядывая на меня: «Да, дирижера, даже хора слабых детишек, из тебя, шелкунчик ты мой, не выйдет. Ах ты моя сиротливая бедная обезьянка...»

Итак, я мало-помалу, сначала в бреду, а потом и в трезвом уме, изложил доброй, но требовательной сестрице, моей Эсэс, всю свою историю.

Без эпитетов.

В основном жесткие глагольные формы: «он был», «она вышла», «я не хотел», «я плакал».

На что мне строгая сестра, моя Эсэс (это имя само звучало во мне, равное двум глухим сердечным ударам, лишь стоило посмотреть на кармашек ее халата), сказала, что тоже соплей не любит, а любит мороженое и сласти, и я смогу ее угостить, если представится потом, когда отделаюсь от своей мутаты, случай.

— «Му та-та» — танец телят, — неостроумно сказал я.

Она не заметила моей шутки. Она обходила их, оставаясь, по большому счету, всегда серьезной. Хотя смеялась. Но только в определенных обстоятельствах.

Итак, я смогу ее угостить, да, смогу, если приму на себя некоторые обязательства.

— Посмотрим, — быстро, не раздумывая, согласился я.

— Вот и умница.

Я захотел посмотреть на те обязательства...

Она склонилась и поцеловала меня в лоб, совсем близко к брови. Поцеловала чуть влажнее, мягче, чем заслуживал добрый христианин, целуемый в горячий горячечный лоб. И я будто отгиснул на изнанке своего черепа ее уста. Украл их особенный чувственный след. От осознания, что этим поцелуем сказано очень много, меня прошиб пот.

— Не волнуйся, — сказала она.

И я понял, что это — пароль.

По жестяному клавишу подоконника скрябал голубок. Он принес мне из гангренозной сини какую-то весть.

Именно какую-то, а совсем не благую.

В этом я не сомневался ни одного мгновения.

В безблагодатности этой вести. Она была совсем не Божеской. И я не смог ее поименовать иначе.

Без-счастливая весть на улице Безблагодатной...

Дальше для меня началось, точнее, простиралось самое интересное.

Как завоеванная земля.

Я понял, точнее, не понял, а застал себя на мысли, пришедшей ко мне как письмо, а не воплотившейся из тумана недомолвок и околичностей, что я хочу, безумно хочу модернизировать свою жизнь.

Начиная со своего тела.

Полом своим я был вполне доволен, — даже в кошмарном сне представить себя теткой с моей костяной оснасткой было невозможно.

Я захотел, чтобы моя жизнь оставила на мне зримые следы. Как на гладиаторе, отчаянном бойце или там помоечном котяре. (Но мне это было не смешно.)

И следы не случайные.

Они должны были быть рассчитаны мной самим.

Мои расчеты должны были быть переданы в надежные руки и дальше — пусть тот, другой или другая, решают.

И созерцание старых шрамов — четырех на каждой руке (от локтя к запястью бежали перекладинками лесенок их нежные розовые спинки) — доставляло мне щемящее наслаждение.

Я-то знал, что мне не дадут помереть.

И воспоминание о безотзывности моего тела, подвергаемого манипуляциям, всегда спутнило и будоражило меня.

И я нашел спутника, мою строгую сестричку, из монастыря с суровым уставом. («С. С.» всегда горело красным фонариком на краю карманчика ее сестринского халата, — видя ее, читал именно эти двусмысленные, кошмарные для русского человека буквы.)

В моем мозгу две эти буквы слипались. Я искал слова, начинающиеся на них.

Суммировал слова. Сканировал смыслы. Сворачивал скрутки. Страдал сутки. Соскальзывал с утки.

Мы заключили сценарное соглашение. Достаточно простое, но трудно-выполнимое. И она

стала
самым
строгим
соглядатаем
этого бредового распорядка.
Как хороши эти четыре «эс» кряду.

А вот наконец и правила!

Якобы — мы познакомились при помощи посредницы. За деньги. Я должен был их откладывать, чтобы в определенный момент по первому требованию отдать разом.

Мы должны были каждый раз встречаться в театре и заводить галантный разговор и все такое. Как впервые...

Весь фокус состоял в том, что мы должны были это делать абсолютно одинаково. И любое нарушение с моей стороны карается. Наказание могло быть сильным. И я должен был его вытерпеть, сжав зубы.

С радостью и замиранием сердца я согласился на чудесную взрослую игру. Мне давно хотелось понять — в какие же игры играют взрослые кроме карт, шашек и шахмат. И, честно говоря, давно хотел попробовать сыграть сам. Сыграть, сразиться, резаться.

Я не буду описывать, с каким видом и при каких обстоятельствах Эсэс мне это внушила. Замечу только, что облик ее был совершенно будничным, не торжественным, в то время как все клетки моего тела пережили совсем не простодушную, а дерзновенную благодать, — они вскипели и похолодели разом.

И накануне театрального свидания с Эсэс я так волновался и психовал, делал глупости на работе, что к вечеру уже валился с ног от усталости, не совершив по-настоящему ничего.

Я был слишком занят своим подступающим существованием, каковое и стало для меня подлинным бытием — тем, что ждут и алчут.

Тем более стоило это недешево, да и случалось не часто.

Я просыпался утром в испарине оттого, что вот — живу снова, как все, ничем не поддержан, один на один с собой на воле при безразличном свете. И жизнь моя снова превратилась в белое шитье, и достаточно только дернуть эту злосчастную нитку и чуть потянуть...

И это была одна из самых сильных трагедий, переживаемых мной, — трагедия отказа. Тем более, что отказа и не было.

В такие утра я, ей-богу, готовился умереть, но часы склонялись к полудню, потом к вечеру, и мне делалось легче. Свои служебные функции я давно перепоручил безукоризненному галантному автомату.

Уязвлен я бывал только одним — неким гипотетическим случаем, который подстерегает меня на пути к Эсэс.

Я стал бояться водопроводных труб, могущих лопнуть, проводки, могущей вмиг загореться, бабушки, могущей впасть в кому.

Хотя, полагаю, бабушкина кома меня вряд ли бы остановила.

Это должно было быть событие, оковывающее меня физически, а эмоционально я был более чем свободен.

Немнущиеся брюки, стрелка как бритва, сорочка с короткими рукавами. В мой ящик буфета, единственный запирающийся на ключ, я клал деньги — в пятьдесят раз больше стоимости пары билетов на паршивую драму. На конверте надписано: «Для (*)».

Что эта (*) будет потом делать с деньгами, для меня было не важно, и вообще такой категории, как «потом», не существовало...

По нашим с Ээс правилам я должен был быть опрятен и коротко подстрижен. Такая стрижка придавала мне глуповатый вид. Но это не обсуждалось никем, кроме парикмахерш, коих я и посещал раз в три недели. Ничего нет слаще заведенного порядка, ставшего неумолимым законом.

В «театральный» вечер я выходил на улицу.

Выходил за ворота дома, а у него действительно были скрипучие деревянные ворота с калиткой, и сразу переходил на другую сторону.

Тротуар под моими ногами показался мне недостаточно твердым.

Мне кажется, меня немного шатало.

В одном из домов на той, не нашей стороне мне нравились разномастные фиалки на низких подоконниках. Старик иногда ковырял в горшках специальной шпилькой или лопаточкой, и я раскланивался с ним, как с мифическим существом. Кроме знака собственной близкой кончины в этом древнем человеке ничего не было. Мне хотелось задержаться у этих фиалок, стоящих на этажерках. Постоять на краю неугрожающей пропасти, означенной чужой близкой смертью.

Мне всегда казалось, что старик отойдет в эфире, источаемом непашущими нежными фиалками. Растворится в небе над городом, пока я дойду до театрального подъезда.

И эта мысль сладостно угнетала меня.

От нее идти мне делалось чуть труднее, будто в ботинки наливалась ртуть, и я начинал волноваться, что входило в строгий перечень процедурных назначений.

Где-то через квартал, когда я миновал и железный проржавевший плакат, предупреждающий беспечных родителей о маленьких пироманах, и полупустой в этот час молочный магазин «Зорька», я начинал по-настоящему не волноваться, а психовать — ведь я начинал попадать в свои старые следы.

Я узнавал их по волне зуда, вдруг прошивающего с исподу всю мою кожу.

Мою физиономию покрывали липкие горячие архипелаги. И я всегда смазывал себе щеки и лоб детским кремом из маленького тюбика. На нем — зайка ест морковку.

У этого дома меня потерял отец.

Я помню все подробности того дня.

Утром в затененной занавесками комнате почти наизусть, чтобы не разбудить меня, отец брился, но меня будил равнодушный треск срезанной щетины, по ней скользил станок с правленным несколько раз лезвием.

В меня постепенно входил этот звук, и я всегда начинал такой день с чувства, что отец страдает. Наверное, не меньше, чем страдала мать, когда болела перед смертью.

Я также понимал, что испытываю к нему жалость, страх за него, но не могу свои чувства проявить.

И в такие утра я вставал со своего дивана растерянным и грустным.

У зеркала он, стоя спиной ко мне, залепливает папиросной бумажкой порез.

— Мой бедненький, прям весь исполосовался, — говорит бабушка своему маленькому сынку, моему отцу.

Я по-настоящему пугался за его жизнь. Через скулу — две полоски порозовевшей бумаги.

Мы шли вечером с Волги. Он вел меня за руку. У ларька, постояв в очереди, отец выпил пивка, он так и говорил: не пиво, а пивко, а потом у других киосков еще, еще. На нашей улице он нырнул в глубокий, зарос-

ший сиреню двор, я за ним, он попросил меня постоять несколько минут под окнами. Он зашел к приятелю, тоже, как и он, автомобилисту, и я битый час безмерно долго ждал его во дворе, выковыривая камушки и стекляшки из незасеянного газона. Из утоптанной почвы торчали редкие сорняки.

Через весь двор наглой диагональю несколько раз спокойно прошла равнодушная кошка, не оборачиваясь на мои «кис-кис». Мне показалось, что, если отец не выйдет, жизнь моя перестанет быть человеческой, я переменюсь так, что смогу жить в ужасных темных сырых подвалах. Я почувствовал, как вечернее время муфтой скручивается вокруг меня, и я не смогу оттуда никогда выбраться, как моль.

Отец наконец вышел во двор, наверное, порядочно нагрузившись со своим милым другом-товарищем-автомобилистом.

В руке у него нетяжелая неясная деталь.

Он почему-то (отчего это взбрело ему в голову?) сделал очень строгий вид, будто я ему совершенно незнаком и он впервые меня в этом незнакомом дворе видит, а вечером с чужими маленькими мальчиками дело ему, взрослому человеку, серьезному мужчине, иметь совсем не пристало. Лучше бы я, мальчик, «не знаю, как тебя зовут», отвязался от чужого серьезного дяденьки и шел бы себе своей дорогой. Играть там или вообще домой баиньки. Он говорил, как-то смягчая согласные, будто во рту у него ком. Час ведь для детей поздний, могут ведь и того.

— Что «того»? — задрожал я от страха.

Сквозь рыдания я стал убеждать его, что стоящий перед ним, семенящий за ним, именно я — его единственный сын, что этому мальчику известно, как его зовут и по имени, и по отчеству, и по фамилии, и где он живет, и могу доказать в любой милиции, любому милиционеру, и, например, мне известно, какой марки и какого цвета у него машина. И как звали его умершую жену, мою маму... Но он, перейдя меру игры, все более и более серьезно отчуждался.

Склонившись, он зло сказал мне, что я мал и без настоящих документов ничего никому никогда не докажу. А их, этих документов, у меня нет.

И я сегодня, сейчас, у этого злосчастливого дома похлопал себя по карманам и документов не обнаружил.

Я понял, что я — пропал.

И тогда до меня дошло, теперь дошло, как, наверное, и тогда тоже, — что он репетирует свою смерть, что он уедет, умрет для меня, и меня охватило обручем желание пропасть вместе с ним. Спуститься в эту разверстую за один миг пропасть на самое дно, где туман и мягкость, совершенно растворяющие меня, как поток слез.

Отец чувствует, что перегнул палку.

Он берет меня на руки, прижимает к себе и нежно целует в губы. Я это не люблю.

Что-то в таком поцелуе есть очень тревожащее меня, что-то от посягательства на мою цельность, и мне всегда ясно, что это — диверсия.

Мать исчезла из моей жизни полтора года назад, и мне кажется, что он сам вот-вот заплачет над своим сиротством, и, прижимаясь еще сильнее, я глажу его голову — высокие залысины, редкую шевелюру, впалый затылок. Помню. Помню!

Я ловлю себя на том, что глажу самого себя по голове — от макушки к затылку...

Мне не заслониться ничем от того эпизода. Он все глубже и глубже растравляет меня.

Я кажусь себе пряхой, сучащей нитку монотонности.

Я прибавляю шаг, с трудом вырываясь из сени старого тутовника. Меня словно держит асфальт. Я останавливаюсь. Смотрю на чернильные брызги упавших и брезгливо подавленных ягод.

Мне кажется, что я нахожусь в таком же состоянии, как мой молодой отец, собиравшийся жениться на матери. Это не принесло ему счастья. Ее тяжелая болезнь, смерть. Был ли я для него желанен — мне неясно.

Мать стала отсутствующей фигурой, а потом я понял, что она умерла. Как произошла эта перемена в моем детском сознании, перемена ее участи из отсутствующей в убившую, я не знаю, не понимаю, это никогда не было связано с моими чувствами. Она словно переметнулась в недостижимую нишу. Так же и отец потом будет исчезать в сумерках своей новой жизни, новой семьи, совсем без меня. Наша непродолжительная встреча, осеннее свидание. Это почти все. Мои мысленные разговоры с ним, когда его не было, были отравлены мыслью, что он вообще-то здесь, но не со мной. Из этой трудности, как я понимаю теперь, росла моя мука. Ведь все превращалось в мнимость. Я, когда учился в старших классах, даже писал ему письма-проклятия. Я их не отправлял.

Главной субстанцией, в которой я колебался, в которой не мог утонуть, но и плыть она мне не давала, была тревога. Время для меня сделалось трудным и безрадостным, и я раздумывал об этом, когда шел по Мясницкой, мимо метизного завода к драматическому театру.

Подтверждая мои мысли, в больших окнах светился цех, как жаркий аквариум, и станочники вечерней смены, в основном тетки, понуро стояли у своих зеленых агрегатов. Им на руки сочилось золотое масло. И одна из них, самая веселая, стала сердечно манить меня, разглядывающего их вечернюю жизнь чересчур долго. Она даже покривлялась, встряхивая высокой грудью. Что-то сказала мне беззвучно.

Пение сирен из-за толстых стекол не достигало моего слуха. Вид их был не ужасен, а сердечен. За стеклом для меня их как бы и не было, и я легко мог подарить им самую печальную историю, какую только мог присочинить. Моим милым химерам, копошащимся вокруг, но не могущим задеть меня. Принести в дар чистое томление безумного духа и зыбкого тела.

Этот завод, занимающий несколько кварталов в выстаревшем центре, всегда мнился мне мороком, декорацией бездарного труда, кулисой никчемного созидания, затаившимся неисполнимым блудом.

Обходя эту территорию по периметру высокого забора, я никогда не проникал внутренней жизни. Дороги, проходные, железнодорожные пути... На округу оседал смрад измученного металла, из-под тела заводской территории будто сочились нечистые ручейки сукровицы.

Иное — войсковая часть отца, представшая мне когда-то метафизическими прямоугольниками, в чьих границах чеканились простые слова — «штаб», «батальон», «гараж», «кухня», «баня». Мне даже помнятся жесткие невидимые провода, связывающие все в один смысл. И мой отец переходил, держась незримого напряжения, от одного прямоугольника к другому, исполняя договор своей военной жизни. Никакие ветры его не снесли бы от проложенных директив.

Мать же, ведя заводское существование, в моем сознании отдавалась на поругание и насилие молоху судьбы.

Она, мать, работала на этом заводе. У нее была непыльная должность, но в заочном втузе она так и не продвинулась дальше второго курса. Сперва из-за меня, а потом из-за болезни. Значит, и я, и болезнь были ей помехой. И я равен болезни в каком-то смысле.

Я хочу возвести руки и вскинуть очи горе, чтобы вызвать ее образ, чтобы ввести ее в континуум этого цеха, я напрягаюсь и пристально смотрю на стекло: не ближе и не дальше. В поле моего зрения попадает тетка. Она крутит пальцем у виска, будто вкручивает шуруп. Я понимаю, что эта женщина, так не похожая на мою Любу, — фантом.

Если бы я предстал перед окном с манускриптом договора в руках.

Если бы я задрал рубаху и показал бы кое-что, что исчисляется личной цифрой, — мать, моя мать, мать моя очумела бы.

И я так искренне хочу нарушить благопристойность ее несуществования. Этот мир для меня не ласковее, чем твой!

IV

Я не знал, что девочки делают с пупсами, как рисуют им гениталии мягкими карандашами на безразличной плоти пластмассы. Что вкладывают им под тряпичные оболочки. Какие шепчут слова. Как целуют. Чем, в конце концов, вызывают к жизни их полые тела с раскучуроченными потрохами. И я иногда, чтобы вступить как-то в зону отгадок, ел соцветия, если у них были женские имена — мальва, роза, бегония, астра. Соцветия «мужских» цветов меня не интересовали, мне ведь достаточно было спустить штаны у зеркала — «то же самое» — говорил я им, этим мужским соцветьям, и самому себе. Играя во врача с девочками, я не смел и думать о ней, о моей матери, хотя так хотел промышлять лишь ею, ее исчезнувшим и поэтому безымянным, безупречным телом.

Я спокойно давал им, моим маленьким подружкам, трогать и заголять себя так, как им хотелось, за что и сам мог видеть их маленькие розовые небеса с трогательной завязью отверстий — образ покоя и завершенности.

Заря в безветрии, пахнувшая теплым румяным пластилином, из которого я вылепил однажды чудную волшебную сокровенность, которая была так схожа с настоящей, и я ласково трогал и мял ее, пока она не оплыла от множества моих жарких прикосновений, став простым плавким месивом. Из него я, не долго думая, скатал валик члена, а потом снова — лоно, и так многократно, пока меня не застигла бабушка. Она почему-то перепугалась и заплакала, но разве я безвозвратно что-то похитил у нее? Или из нее? Когда она держала руки внизу живота, сложив их в жменю, я пугался, так как ее нагота, скрытая и прикровенная, была мне не нужна. В этот миг я понимал, что вся ее кожа пахнет сухостью, и свои ладони я тер друг о друга так быстро, что они почти искрились и жгли мою плоть с исподу. Я тогда понял, что это и есть символ старости.

Тмин, укроп, шелуха старой газеты, рисовая пудра.

Безуханность, исчезновение.

Но у моей матери запахов не было вообще. Пока я их не нашел, но совсем в иных местах...

Вот странная древняя игра, которой я забавлялся в одиночестве, о ней я не могу позабыть, так она до сих пор вызывает во мне слезы. Особенные слезы — не сожаления и не соболезнования, а неосуществимости.

Эта была самая нетревожащая ее (именно ее, я всегда это четко понимал) игра. И я вопрошал любой объект, что-то — длинную щель в полу, полусъеденную серебряную столовую ложку, нестираемое пятно чернил на клеенке, и сам быстро отвечал, так быстро, чтобы не задумываться. Игра называлась «имена запахов». Вот реплики из нее:

— А вечер чем?

— Коробком новых спичек.

— Почему?

— Потому что свет зажгут.

— А день чем?

— Высохшим носком.

— ...?

— Потому что ветер пыль принесет.

Я всегда мог ответить, так как не напрягался.

— А облако?

— Тобой.

— ...?

— Ведь я его никогда не достану.

Моя мать умерла, а я живу как ни в чем не бывало.

Во мне нет и толики траура, сколько я ни пытаюсь его вызвать, ведь я столь подвижен. Жизнь идет без изменений для всех остальных людей, только лишь я — итог жестокого, неумолимого вычитания. Ведь меня не становится меньше, но, существуя, я убываю. Неужели это происходит на ее глазах? Ведь она-то живет во мне, будучи мертвее мертвого.

Это чья-то особо циничная интрига, махинация памяти? Кто за этим стоит? Я не могу ответить на этот вопрос.

Я не хочу никого спрашивать о ней. Вместо связной речи я получу невнятную болтовню, завитки слов и складки предложений, в них утонут все ее невеликие останки.

Пара платьев на дне старого паршивого чемодана.

Пластмассовый шарик, как глаз больной рыбины³⁴.

В целлулоидной мути слайда, который от моего взглядывания когда-нибудь станет полной слякотью, мои родители непроницательно глядят вперед. Насквозь, чрез меня. Дальше и глубже. Туда, где простирается мой предел.

Они, искусственно цветные, уже выжелтевшие, они будто немного стесняются друг друга. Того, что там, в этой мутнеющей желти, еще живы. Зримые, они лишены качеств. Про их заторможенность я ничего не могу сказать. Мои чувства скваны недоумением.

Погода, место, время дня? Знала ли мать тогда о своей болезни, говорила ли она отцу о подозрениях?

Тот шарик, как глаз, населен бациллами растравы, и я чувствую, как покрываюсь пятнами, когда заглядываю в него. Да-да, я теперь понимаю, почему глаза рыб не едят...

О чем я сожалею — так лишь о том, что не мог ухаживать за ней, когда она была больна.

И вот я представляю, как подавал бы ей легкую чашку с водой, чтобы запить несколько пилюль. Я с трудом, словно в изнеможении, могу представить только ее мягкий, сплывающий к подушке профиль. Ведь она лежала на высокой постели, а я, наверное, все-таки стайвал у ее изголовья, почти вровень с нею, лежащей. В ином ракурсе она недостижима для меня и моего желания быть с нею. Наверное, я что-то запомнил...

Мне хочется, чтобы она стала для меня совсем маленькой девочкой. Моей тогдашней сверстницей. Небывшей младшей сестрицей. С лучшей разницей всего в один год. И мы, ничего не говоря друг другу, смогли бы друг друга полюбить.

Я иногда рассказываю ей истории. Никак не представляя себе ее облик. Узреть — слишком трудно для меня.

Просто говорю слова, обращаясь к словам.

Когда остаюсь один — то вслух.

Хотя бы про то, что моя Буся, Любаша, моя Любовь с твоей, мама, работы, из твоего цеха. Мне так нравилось повторять эту историю, ведь кроме безобидных слов она ничего не содержала. Когда же я пускался в подробности, то тут же утрачивал нить беседы с тобой. И не то что твоей ответной реплики, а легкого кивка я не мог представить... Я не знал, как вне слов, вне их смыслов, может склониться твоя голова.

Буся ведь тоже упивалась словами.

³⁴ Рыбина, перед тем как ее сварили, углядела в желти осеннего времени тусклые пятна моих драгоценных родителей — матери и отца в доме отдыха. Они потупясь стоят в демисезонном платье у бетонного животного. На пожухлой холодной траве. Мои родители — безблагодатная мать и бездобрый отец, связанные осенним днем на выжелтевшем слайде. Пластмассовый шар, как урна, предательски хранит их телесное тепло, доступное только зрению. Я брезгую этого теплого прикосновения. К самому лицу, к глазнице. Эта теплота как надругательство над ними, похолодевшими в разных могилах, в разное время.

Она, например, всегда говорила, всегда возвращалась к тому, что очень сожалеет, что я не военный, ведь почти всем мужчинам так идет форма, тесный и ладный мундир. И самое главное — погоны. Вот — мужичишка из себя ну нет ничто, а пуговицы как застегнет, как португеей препояшется — и пооди ж ты — офицер!

Ну что за слова... Пустая болтовня. Какой я офицер...

Люба, когда я повзрослел, а жизнь так и не отпустила ее от меня, тихо радовалась, что по возрасту годится мне ну совсем, ну почти что в матери.

Если бы родила меня в четырнадцать с половиной дурных малахольных годков.

— Веришь, ведь это с врачебной точки зрения, говорят, вполне и может быть, а что... — серьезно говорит она, держа мою руку, разглядывая линии на ладони, и я чувствовал узкое лезвие ее взгляда. Какие линии она искала? Она никогда не говорила мне.

— Вполне. Четырнадцать с половиной — отличный возраст для здорового материнства. Но зачать тебе надо было бы в тринадцать. Лучше осенью. Ведь ты — вполне январская? — Я чувствовал жестковатую кожу ее ладони.

— Что — вполне? Январская я. Самый волчий месяц в наших краях. Ветрюга и холодрыга, — соглашается, немного подумав, она.

— В наших, наверное, тоже волчий.

Я серьезно поименно отсчитывал мнимые месяцы, загибая ее крепенькие пальцы. Ровно те девять перстов-месяцев, что Бусенька не была мною чревата.

— Нет, ты мне совсем не веришь, — заключала она.

— Ну, почему же совсем, всего лишь чуть-чуть, — улыбался я ей.

Во что же я должен был поверить? В этот нежный шантаж? В эротическую притчу? В метафизическое расстояние между нами? Ведь разница наших лет была невелика. Литература и жизнь знавали разницы и покруче.

«Дельта делается уже», — в свой очередной день рождения думалось мне, глядя на ее гладкое и чуточку азиатское лицо. Ровная чудная кожа. Ни капли косметики. Вблизи.

Она всегда говорила: «Ты мне не веришь».

Она начинала свою речь с вопроса — веришь? «Слушай, веришь, вот ведь случай сегодня, как я мороженого хочу, не поверишь...» И никакого вопрошения в этих словах не было.

Мне кажется, что она, Буся, всегда где-то рядом.

Поодаль меня. Даже сейчас. Вот тут. Сейчас войдет.

И это чувство, невзирая ни на что, не проходит, остается со мной как мрачное опьянение собственным прошлым; и его, невзирая на все усилия, мне не перебороть.

Я, думая о моей матери, пытаюсь ее представить, сразу вспоминал Бусю и начинал исчислять годы, некие разницы между мною и Бусей, потом мной и матерью, засекая на этой раздвижной шкале свое появление на свет, подозревать смутное время своего зачатия.

И вот мне мнилось:

— в глубокой конвульсивной меже на краю пшеничного поля,

— в неопрятном чужом доме в закутке,

— и, наконец, на экстатически красивой бесконечной пустоши.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы на пустоши, на фоне прекрасных заволжских далей, — с недвижным облаком в фокусе перегоревших небес. И я передвигал на зыбких шкалах образ местности и время года, точнее, род погоды, как магический лимб по логарифмической линейке. Но кто же теперь знает, что это за устройство?

И от правильного совпадения погоды и места моего зачатия зависел весь мой жизненный путь.

Но они не побереглись ни неблагоприятных погод, ни неопрятных местностей. О спиртном или закуске, повлиявших на сочетающиеся инстан-

ции — и отцовского семени, и материнских важных клеток, я и не смею помышлять. Мне не представить ничего, кроме огуречно-свекольной отрыжки и невеселого похмелья. Ведь их брак случился лишь потому, что мать оказалась беременна мной. И когда это обнаружила, то предпринять что-то по искоренению вопиющего следа происшествия было поздно.

Моя дорогая мама была полной, так что на свадебной фотографии не очень-то и заметно, на каком она месяце. О, если бы у меня была эта самая фотография! А так — я себе только их представляю: вот отец — в грустном штатском костюме и смотрит куда-то вбок, ну чуть-чуть, будто на недалекие межевые столбы. Образ матери я не могу восстановить, как ни пытаюсь, она, не став зрелищем — ускользает. А кстати, была ли эта самая свадьба?

Я уверен теперь, что отец меня просто случайно пролил. Или же мною торопливо пролились. Как лучше?

Просто где-то мной насорил отец, и они, мои дорогие, спроси я их с пристрастием, и не вспомнили бы столь значащие обстоятельства и приметы того скупого торжества.

Но так как я не выбирал ни место, ни способ, ни самих этих людей, я их всех люблю. Ну, как умею, так и люблю.

И эта любовь, ее голый смысл, ее невосполнимая и неистребимая нежность — нудит и изъязвляет меня.

Но вот моя чудесная, невзирая ни на что, моя дивная мать исчезла, так и оставшись в моей жизни траченной проекцией летнего облака, никогда не сползающего с горизонта. Я ведь так часто и столь любовно наблюдал именно этот высокий сегмент ландшафта. В запущенном пьяном парке над Волгой, до полного истирания этого зрелища. Пока голова моя от тупого созерцания не начинала кружиться. Пока долгим вглядыванием я, совсем тупея, не истирал последней точки опоры.

В любом времени года я искал тот самый след. Возвышенный и отчужденный. В пышном оснеженном — зимнем времени, в куцем, каком-то межуточном — осеннем, и в самом дорогом, всегда меня больно язвящем — летнем.

(Окончание следует.)



БОРИС ВИКТОРОВ

*

ВСЕГО ЛИШЬ ЗВЕНЬЯ...

* *
*

Испытания ревностью подлы.
И не стоят гроша
одобрения кодлы.
Мечь-чернавка и так хороша.

И, присев на крыльцо холобуды,
поощрения жаждет, дрожит,
как щенок на коленях Иуды,
позовут — за другим побежит...

Без продолжения

Исполнилась ваша угроза —
из сердца не вытравить жалость.
И сумерек черная роза
к глазам приближалась.

С годами рассказ все угрюмей:
разлуки, тщета и потери...
Но кто о них помнит, подумай?
И кто им поверит?

При жизни избрал я дорогу,
с которой свернуть не посмею,
сначала ведущую в гору,
и только позднее...

При жизни уйду в долговую,
а позже — беззвездную яму,
о первой все знают, вторую
не помнят упрямо.

При жизни я вам благодарен
за то, что нелюб и свободен.
— Послушай, о чем мы гутарим?
Я пса отвязал, мы уходим...

Смеркается. В пригород душный
врывается вечер цикадный.
Звезда колокольцем поддужным
сверкает в пыли эстакадной.

Мой след опечатан прогретой
листвой, накопившейся за год.
Я всеми забыт в это лето.
Дымит Юго-Запад.

Вокруг ни души; папироза
погасла, звезда догорела,
забвения черная роза
к глазам прикипела.

Безлюдно шоссе. Лишь собака,
как тень, что уже отделилась,
плетется и помнит... Однако
в ночи и она заблудилась.

* *
*

Попадая в поле зренья
василиска или зверя
в полдень, в зарослях глухих —
мы с тобой всего лишь звенья
тех миров, где из двоих
лишь тебе дано ведомой
быть, вживаясь в облик их,
исчезающий в медовой
гуще встречных облепих!

Маме

кружит пахарь
полям черным
в белой манке

то ли вяхирь
сеет зерна
то ли ангел

в глыбах сосен
хор скрипучий
воздух месит

то ли солнце
мреет в тучах
то ли месяц

лодкой утлой
парусами
правит ветер

то ли утро
снится маме
то ли вечер

в Икше синей
кобылица
пляшут звезды

то ли иней
на ресницах
то ли слезы

* *
*

И ты будешь тем, что видел.

Апостол Филипп.

И верблюд, повторяющий мысленно сотое имя Аллаха,
и базар на сращенье эпох, и в оливковой роще
живая шарнирная птаха,
и на площади плаха,

И Самаррра в снегах, и стрекозья игра в знойном воздухе
над ледяной иорданью —
это ты, не забудь и душой обратись к состраданью,

Будешь тем, что увидел, поверишь раздробленным грудам
поселений в горах и жующим колючую землю верблюдам,
даже людям,

Даже женам,
сохраняющим статус святых, и блудницам прожженным,
осужденным

Благодарной толпою на казнь; не побрезгуешь властью,
оттолкнешь от себя человека с оскаленной пастью
и приблизишь зверей; память станет твоей ипостасью;

Видел минное поле, а в поле десант мясорубок,
взвод бессмертников, ангелов в рубищах грубых;

Льва пленил, проторил вместе с ним первопуток,
спал в бездонной воронке с женой из семьи незабудок,

Жил в раю и в аду, назывался пророком и тварью,
знал почет, снисхождение, травлю,
оживил все, что мог, сохранил и скрепил киноварью,

Клеем, глиной, слюной; осветил огнедышащей бездной,
и молитвой, и словом, и скрепкой железной.

Даже глыбы камней, прикрывающих танк, БТРы, радары
у подножия гор — до сих пор превращаешь в живые отары!..
И они разбегаются, чуя пришествие кары.

2001, 2003.



НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР

*

ЛЮБОВЬ — БАБКИ — ЛЮБОВЬ

Пьеса в двух частях

Действующие лица:

Неля Цветкова.

Виктор Цветков, ее муж.

Андрей

Александр } их дети, братья-тройняшки.

Алексей }

Нонна Ивановна, разносчица телеграмм.

Костя.

Лариса, вторая жена Виктора.

Дядька Леонид, дядя Виктора.

Людмила, невеста Александра.

Граф Разумовский, поэт из Москвы.

Равиль.

Федор, одноклассник Алексея.

Василиса, невеста Алексея.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Картина 1

На просцениуме метель. Выходят Неля и Виктор. Им по двадцать лет. У Виктора два завернутых младенца на руках, у Нели — один.

Неля. Саша, Леша и Андрюша.

Виктор. Не так! Александр, Алексей, Андрей.

Неля вдруг отдает третьего младенца мужу.

Неля. Что-то мне не идетя. *(Садится на снег.)*

Виктор. Неля! Ты что — уже окна видны! Сейчас придем... Капля воды на стакан спирта — излечивает все!

Неля. Скорее! Детей уноси и считай шаги вслух. Приди... за мной.

Виктор. Дети полежат. *(Укладывает их на снег.)*

Неля. Ну почему... ты без мамы моей?

Виктор. Тесто у нее подошло. *(Пытается поднять жену на руки, она отбивается.)*

Неля. Я тут продержусь — детей, детей уноси! *(Заваливается на бок.)*

Метель усиливается, становится резко темнее.

Горланова Нина Викторовна и Букур Вячеслав Иванович родились в Пермской области. Закончили Пермский университет. Авторы многих книг прозы. Печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда». Живут в Перми.

Виктор. Жили мы на хуторе... (*Перекидывает Нелю через плечо.*) Все на хрен перепутали!

Неля. Считай шаги. Громко! Чтоб я слышала.

Виктор. Один, два, три...

Виктор громко считает. Свет из окон приближается. Младенцы начинают плакать.

Картина 2

Квартира, очень богато и со вкусом обставленная. Виктор, постаревший на двадцать лет, за столом с сыновьями. На столе какие-то салаты.

Виктор. И вот я насчитал, когда возвращался, столько же шагов: девяносто два.

Александр (*крутит свое ухо*). Да знаем, папа, сто раз слышали: ты пришел, а нас нигде нет, одни сугробы.

Виктор. Потом один из вас громко закричал, и я вас разрыл, схватил, думал: вот они, мои будущие защитники!

Александр. Папа, я все равно не поеду на разборку.

Виктор (*качает сокрушенно головой*). Была метель! Я вас разрыл...

Александр. Для чего? Чтобы нас снова зарыли и уже не в сугроб?

Виктор. Ты не корч из себя типа Гамлета! (*Декламирует.*) Быть или не быть... баксам у меня в кармане!

Александр. Не смешно.

Виктор. Конечно, какой тут смех! Этот Смоктуновский с черепом в руке такое мочилово устроил, как сейчас помню.

Александр. А Гамлет совсем не хотел этого. Так получилось... Он справедливость устанавливал.

Андрей. И мы тоже — за справедливость. Если они заняли кучу баксов...

Алексей (*перебивает*). ...Верните кучу и еще кучку.

Александр. Я ухожу жить к Людмиле и ее сыну. Не хочу, чтоб как в Чечне...

Неля. Да чеченская мафия при Зеркальцеве!.. Пикнуть не смела! Помните: Зеркальцев в сентябре загнал в Каму — на два метра от берега — всю чеченскую мафию? И полтора часа там их продержал! После этого они притихли сильно. А теперь что будет?

Алексей. Кто знает... Надолго ли посадили Зеркальцева?

Неля. Все-таки вокруг завода территория тоже к заводу относится. Новый директор может нас погнать...

Александр. Я буду жить с Людмилой.

Виктор. Что-то такое я уже слышал. Ты в пять лет привел с улицы Галку из соседнего подъезда и сказал: «Это моя женщина».

Неля. Да что там вспоминать — в пять лет! Вчера только! Вчера! Ты оставил в игральном автомате тысячу шестьсот. Так себя, что ли, будущие мужья ведут?

Александр. Это в последний раз. Прощание с молодостью.

Виктор. Мать, ты в уме — его деньги считать? Как будто ты их ему даешь!

Неля берет тарелку со стола, замахивается на Виктора, а потом начинает протирать ее фартуком.

Неля. Сейчас будет царская уха: судак, стерлядь... А в конце я положила брюшки семги.

Александр. Осудаченная стерлядь, обрюхаченная семгой.

Виктор. Это ты своей Людмиле говори. Может, ваши шуточки и сохранили ваши капиталы, а мы вот так — кулаками — должны защищать

наши кровные. Только уходи к ней вместе со своим контрабасом. А кстати, зачем тебе этот контрабас? Твоя Людмила сама как... *(Обрисовывает в воздухе формы.)* Там совсем другой смычок нужен.

Андрей и Алексей в это время в шутку завозились, обнаруживая знание рукопашного боя.

Алексей. Сашка! Ведь семья — это семья!

Неля уходит на кухню.

Андрей. Сашк, ну ты опомнись. Кто тебя от армии отмазал? Семья, то есть наш батя.

Александр. Не батя, а отсрочка. Я студент все-таки.

Алексей. Студент, ха-ха! Ты на платном, а бабки-то чьи?

Виктор. Да ладно — бабки. А вот такие лбищи за бабки не купишь. От кого они у вас? *(Хлопает себя по лбу.)*

Александр. Нахмутив огромные лбищи, пошли они на кладбище.

Неля приносит уху, начинает разливать.

Неля. Витя, я же говорила, говорила: крохалевским взаймы никогда не давай. А ты — проценты, проценты большие!

Виктор. Так при Зеркальцеве — проблем же не было! Замкнем на первое число — первого числа как штык возвращают! И с какими процентами! Песня! А теперь что...

Александр *(обращаясь к отцу)*. А герб? Помнишь, ты был с Зеркальцевым у геральдиста! И там вам намекнули, что вот таким крутым... вообще они гербов не рисуют. А также сатанистам, сумасшедшим...

Алексей. Не верится, как это могли ребятам из бригады отказать?

Виктор. Борис Аполлинарьевич Зеркальцев вам не из бригады. Он директор завода, культурный человек!

Александр. Такой же был комсомолист, как ты. Только он первый многих купил, а другие... сейчас неизвестно где.

Виктор *(Александру)*. Думаешь, у меня очко чересчур железное? Но даю тебе девяносто восемь процентов — ничего с тобой не случится. Это как гориллы в зоопарке: встанут друг против друга, подыбят шерсть на загривках... У кого яйца пожиже — они сразу бабки отдадут. А мы будем стоять как зацементированные.

Андрей. Когда разбогатею, построю для разборок — разборочную, буду сдавать в аренду.

Алексей. Еще перестрелочную надо.

Александр. Да и браталочную нужно пристроить: постреляли — побратались с оставшимися в живых.

Виктор. Ты можешь шутить, а я — с нуля начинал!

Александр. Да какое там с нуля! Комсомолистам приказали срочно начать богатеть, ты сказал «есть!». *(Козыряет.)*

Виктор. Я, сынуля, всегда был практичный. В пятом классе из Артека полрюкзака лаврового листа привез. Никто из пацанов не догадался, только я. Полрюкзака лаврового листа!

Неля. Да-да. Верно. Даже из комсомольских лидеров не все раскрылись.

Виктор. Мне тут повезло: кое-кто в нашей семье оч-чень хотел, чтобы было много денег.

Неля. А кое-кто говорил: если каждый день экономить рубль, то можно накопить триста шестьдесят пять рублей в год.

Виктор *(кричит)*. Это не скупость — просто я был расчетливый. А ты-то! *(Нормальным голосом.)* А ты-то уху обещала. *(Александру.)* Саша, ты хорошенько подумай.

Звонок в дверь. Неля уходит и возвращается, ее обгоняет очень закутанная и очень раскованная разносчица телеграмм Нонна Ивановна.

Нонна Ивановна. Цветкову Виктору Ивановичу! Вся я промерзла. Целый час звонила вам по телефону. Наверное, в Интернете у вас кто-нибудь сидит?

Неля. Вас как по имени-отчеству?

Нонна Ивановна. Нонна я, Ивановна.

Неля. Выпейте, согрейтесь!

Неля подносит ей рюмку водки. Разносчица лихо опрокидывает.

Неля. Распишись. *(Протягивает мужу телеграмму, он расписывается. Разносчице.)* Закусите. *(Подает ей бутерброд.)*

Нонна Ивановна. Телеграмма срочная, вот и пришлось по морозу лететь. Но это еще что! Я в музее уборщицей работала — так весь народ ломится в мой зал с мамонтом! А в советский период вообще никто не идет. Платили же одинаково за уборку: за мамонта, как за советский зал! *(Закусывает.)* Директор в советский зал пристроил свою мать — конечно, там уборки на пять минут... Какая несправедливость! *(Уходит.)*

Виктор. Что-то эта, с телеграфа, слишком приткая! Может, наводчица? Теперь жди воров. *(Не глядя нашаривает и надевает очки.)* Опять, наверно, сестре денег надо. Точно!

Александр. Уж не знаю, почему она не могла дозвониться. Я всего минут пятнадцать был в Интернете.

Виктор *(читает телеграмму)*. «Пятьсот на антибиотики пришли, пожалуйста. Целую. Рита»... Хотя целуй, хоть не целуй, все равно не получишь... Я ведь не мать Тереза!

Неля. Какие люди! Как говорила мама: слово — олово, сердце — железо! Это же твоя больная сестра!

Виктор. А мэрия наша здоровая, что ли? Объявила конкурс на лучшую автозаправку. К десятому июля мне нужно шиномонтаж построить да еще пару хоть деревьев в кадках на летний период, а каждое дерево по пятьсот долларов.

Неля. Им скоро фонтаны подавай...

Андрей. Павлинов..

Неля. И первое место в кармане!

Виктор *(после паузы)*. Смейтесь, смейтесь! А со временем у меня там и фонтан будет, и бассейн крытый. Только бы Зеркальцева не засудили! К тому же в прошлом году я Рите посылал пятьсот и в позапрошлом, а нынче дядьку на себя повесил.

Неля. Который поддает о-го-го...

Виктор. Хватит, наверное! Слезьте с меня немножко! У меня сейчас Зеркальцев в следственном изоляторе — я без крыши! Стервятники вокруг — разборки одна за другой! Знала бы сеструха, как достаются деньги!

Неля. Если бы наша жизнь была только тяжелой, а то в ней столько грязного!

Андрей. Но ты же сам говорил...

Общий свет меркнет, остается только яркое пятно на Викторе.

Виктор *(с рюмкой в руке)*. Я пью за тебя, Рита! Ты меня натаскивала день и ночь! И вот я в институте!

Свет меркнет совсем, потом вспыхивает по всей сцене.

Андрей. А теперь ты не хочешь помочь родной сестре!

Александр с грохотом роняет контрабас.

Виктор. Короче, маэстро! Зачем ты не играешь на этой бандуре, а только все время ее роняешь! Полторы деревянных она стоит, а ты ее роняешь!

Алексей (*поднимает с пола что-то*). Тут какая-то фигня отломилась.

Виктор (*Андрею*). А тебе я вот что хочу сказать, сынок! У тебя ведь был сенокос в прошлом месяце, ты зеленых тысячи три накопил... Помогли сам родной тете.

Неля. Да уж, как Зеркальцева арестовали — с тех пор не видали мы таких праздников, когда подавали поросят, зажаренных целиком. Целое стадо!

Виктор. А вы заметили, господа, что изысканная еда насыщает быстрее, чем простая. Сравним осетрину и селедку...

Андрей с оскорбленным видом отходит в дальний угол сцены, к компьютеру.

Неля (*Виктору*). Твоя сестра пельмени ведь стряпает быстро! Могла бы на продажу делать — знакомым, без лицензии, без налогов. Ну, время прошло, уха настоялась. (*Начинает разливать по тарелкам.*)

Виктор. А напрасно сейчас не ценят комсомольцев. У нас выучка на самое святое осталась! Иду на разборку — и ничего не задрожит. Недаром я в ПВО служил!

Андрей. Знаем, папа: два солдата из стройбата заменяют экскаватор...

Алексей (*подхватывает*). А солдат из ПВО заменяет хоть кого!

Дядька Леонид, небрит и сильно с похмелья, медленно входит из коридора, читая на ходу письмо. Проходит на середину сцены.

Дядька Леонид. С кем вы имеете дело! Я без пяти минут гражданин Германии! Жена пишет, что Эльзе уже тринадцать лет. (*Целует письмо.*) Вот бы она вышла замуж за богатого, такой бы у меня был сват богат!

Виктор. По-моему, еще в восемьдесят шестом году, когда Эльза родилась, ты все мечтал... богатых кумовей присматривал. Хотел с выгодой окрестить дочку, чтоб крестная мать была из торговли, я помню. Ну и с кем ты покумился, расскажи?

Дядька Леонид. Тогда было мало богатых, на всех не досталось.

Виктор. А сейчас богатых на всех хватает, да?

Дядька Леонид. Так я среди кого, по-вашему, вращаюсь? Я, когда на автостоянке сторожу...

Виктор. На *моей* автостоянке.

Дядька Леонид. Пока на твоей. И... я бы всегда хотел, чтоб — на твоей, конечно!

Несколько секунд Виктор бешено смотрит на дядьку Леонида. Вдруг делает резкое движение и ловит из воздуха моль.

Андрей. Войска ПВО на высоте!

Неля. Ну откуда эта моль?

Виктор. Ясно откуда! (*Смотрит на дядьку Леонида.*) Некоторые шляются со всякой шелупонью. С кем ты вчера квасил?

Дядька Леонид. А с кем ты так разговариваешь? Я, защитник Белого дома...

Неля. Кого ты можешь защитить!

Дядька Леонид. За ухой выпивает и глухой!

Андрей. Вы забыли? Я же на квартиру коплю, чтобы не стеснять родителей в будущем. Как же я могу эти деньги тете Рите послать.

Звонок в дверь. Кто-то из детей срывается и быстро открывает дверь. Входит Костя.

Костя (*машет конвертом с фотографиями*). Это с прошлого лыжного воскресенья. Потом, потом посмотрите. Даю вам всего полчаса на сборы. (*Протягивает Неле конверт.*)

Все начинают рассматривать фотографии.

Дядька Леонид (*пренебрежительно бросает на стул фотографии*). Это что — ширпотреб! Передвижники. Костя, ты видел когда-нибудь мои фотографии? Есть целый альбом — я снимал в Коми округе.

Виктор (*дядьке*). Слушай, не до этого! (*Косте*.) Костя, какие могут быть сейчас лыжи! Все лыжные гуляния отменяются. У нас другое намечено.

Неля (*достает из кармана фартука очки, рассматривает фото. Косте*). У тебя Лиля всегда так хорошо выходит.

Костя. А она и в жизни такая, как Рената Литвинова.

Неля (*Виктору*). Вот если бы ты давал мне на жизнь столько же, сколько Костя своей жене, я бы тоже выглядела как Николь Кидман!

Алексей. Дядя Костя, а что — вы не в курсе? Наш Зеркальцев сидит в СИЗО.

Костя. Страшное дело — очередной передел собственности! Но лыжи — это кислород! Кислород — это мозг! А мозг там придумает что-нибудь.

Виктор. Я сейчас водкой только могу переключаться. Ничего больше не помогает. Когда хозяин точит нож, козе не до гребли.

Неля. Да знаю я одну твою козу на даче, которой все время до гребли!

Виктор растерянно оглядывается на дядьку Леонида.

Дядька Леонид (*выскакивает на середину и поет*).

Я фотограф хоть куда!
Приходи ко мне всегда!
Полежим под лодкою,
Там тебя я сфоткаю!

Неля. Приживала запойный! Забыл свое место?

Виктор. Неля, ты с ума сошла? Это мой родной дядька, поняла! Извинись сейчас же.

Неля. Я хороший человек, с чего я буду извиняться.

Виктор. Деньги мои — извиняешься ты. Были бы твои деньги, тогда другое дело.

Дядька Леонид. Виктор, тихо! (*Подходит к столу, наливает огромный фужер водки и с показной нервностью выпивает.*)

Костя. Так вкусно здесь все стоит! (*Берет бутылку в руки.*) Пермская водка? А запах какой-то непростой.

Виктор. Это мы ее на смородине настояли.

Неля. Ухи налить?

Виктор. Неля, что ты делаешь? Достань для гостя тарелку из моей коллекции советского фарфора. Чтоб агитпроп, там треугольники, серп и молот. Вон ту, под Татлина.

Костя (*садится*). Все говорят: русская национальная идея — где она? А вот она: уха с водкой!

Неля. Не надо. Я в шесть лет с подружками нашла у мамы самогон. Ну, мы выпили. Нас потом долго по лопухам собирали. И с тех пор я ни капли.

Костя. Прекрасная история! Значит, будет такая национальная идея: в шесть лет всем россиянам — по рюмке самогона, а потом вся страна навсегда трезвая!

Опускается подсвеченный занавес. На нем двигаются четкие тени, слышны крики, шум борьбы, удары.

Голос Алексея. Андрей, сзади!

Голос Виктора. Леха, у него нож!

Голос Андрея. Мать! Твою мать! Ма-а-амаа!!!

Чей-то чужой голос. Ну все, хватит. Димон, слышишь? Хватит. Трупов нам не нужно.

Картина 3

Кафе. Андрей и Алексей садятся за стол. У Алексея пластырь на лице. У Андрея — за-гипсованная рука на перевязи. Алексей держит в руках цветы.

Алексей. Ты заметил: там дядька Леонид стоит с каким-то собутыльником? Один в виде икса, а другой — в виде игрека. *(Встает и изображает.)*

Андрей. Ну и что?

Алексей. Ты тоже каждый день начал квасить.

Андрей. Батя что-то опаздывает.

Алексей. У него, кажется, вторая молодость началась.

Андрей. Гормональный шторм.

Алексей. А может, он тебе невесту нашел? Непьющую. Поэтому и букет велел купить. Какой-то Ларисе по телефону назначал свидание.

Андрей. Свидание? А ты уверен? Где свидание?

Алексей. Где нынче встречаются — в ювелирном магазине.

Андрей. Представляю! «Дорогая, какой бриллиант хочешь, такой и куплю!»

Входит Виктор с молодой и красивой Ларисой. У Виктора травмирована шея — это видно по пластмассовому «воротнику». Поэтому вид у него поневоле гордый. Алексей бессознательно комкает букет, Андрей судорожно трет руки о скатерть.

Виктор *(подскочившему официанту)*. Нам все как всегда. И шампанского! Дети мои! Знакомьтесь! Это Лариса. Скоро я познакомлю вас с еще одним братом. Ему уже четыре месяца. *(Ларисе.)* Дай фотографию. *(Лариса открывает сумочку, достает фото.)* Вот, смотрите, ресницы — вылитые как у меня.

Алексей *(рассматривая снимок)*. Еще и полгода нет, а уже с сотовым телефоном!

Андрей. Будто с ним родился!

Виктор. Значит, так — это Игорь, брат ваш.

Лариса. Игореху с няней мы сейчас оставили, он покашливает.

Андрей *(брату)*. А ты говорил — мне невесту. Тут отцу родному не хватает! *(Дурашливо утирает слезу.)*

Виктор. В общем, дети мои, вас я прошу — называйте Ларису мамой.

Алексей вскакивает, подрагивающей рукой вручает Ларисе полуразрушенный букет.

Лариса. Витек, перестань! *(Шутливо бьет Виктора букетом.)*

Алексей. Очень приятно! Мы сегодня... Для нас это так неожиданно. *(Садится.)*

Андрей. Так вот почему у мамы все фиалки завяли!

Виктор. Подумаешь — фиалки! Зато у вас братик появился. Будете к маме Ларисе ходить, с ним дружить.

Лариса. Витек!

Андрей *(дурашливо весь искосившись, руки по швам)*. Слушаюсь, мой генерал!

Появляется официант, все расставляет на столике.

Виктор *(Андрею)*. Ну что тебя корчит! Ты успокойся! *(Поднимает бокал.)* За нас с вами и за хрен с ними!

Все пьют.

Алексей *(Андрею)*. У отца сейчас сложный момент жизни. Ты поменьше выступай.

Виктор. Я не в силах был дальше бороться... с судьбой. Судьба бросила Ларису мне прямо вот в эти руки. *(Показывает.)* Я плыл на нашей яхте... Смотрю: красавица! И тонет...

Лариса. Я была уже вялая, как вареная вермишель.

Затемнение. Луч света на Викторе.

Виктор. Держитесь! Я вам помогу! *(Прыгает из круга света головой вперед.)*

Общий свет. Все сидят в кафе за столом.

Андрей. Многие бы хотели спастись в миллионерских руках!

Виктор. Наследник, как ты разговариваешь — это твоя новая мать!

Андрей. Если еще скажешь, что у меня должно быть две матери, я тебе в ухо дам! *(Трясет рукой в гипсе.)*

Пауза.

Виктор. Лариса, вот этих вот битюгов, этих красавцев, этих засранцев я из-под снега разрыл! А Андрея, который сегодня такой критикан, я с таким трудом приклеил на его юрфак! Всех подключил: телефон у нас звонил с частотой раз в десять минут.

Лариса. А на платное-то почему не пошли?

Виктор. Именно за деньги мы и устраивались с таким трудом. Не тянет Андрюшка-то! Сочинение написал на твердую двойку. Я похудел, накрутил на спидометре две тысячи километров, пару раз даже спал в машине: не было сил загнать в гараж. Устроил! Можно сказать, второй раз родил. А теперь он хвост на отца поднимает!

Лариса. Ничего, это твое счастье — быть нужным.

Виктор. А что труднее — быть нужным или быть ненужным? Представляешь, когда ему было семь лет, он диван распилил. Ножовкой. Учился пилить. Ну ничего *(обнимает Ларису за плечи)*, с твоей помощью у меня будут наследники, которые больше отца уважают. А что касается двух матерей, то этот больной вопрос мы решим. Я ведь понимаю, что моя первая жена больна, я ведь ее не оставляю...

Андрей. Не надо, папа! Какая болезнь? Мама абсолютно здорова.

Виктор. Начнем с того, что — помнишь, во время взрывов в Москве? — она паспорт к руке привязывала, чтобы ее опознали в случае чего.

Алексей *(отводит брата в сторону)*. Андрюха, уйди сейчас, а то такого наговоришь.

Андрей *(злобно)*. Хочешь сократить число наследников?

Алексей. Брось! У нее *(кивок в сторону Ларисы)* полмиллиона яйцеклеток в запасе. Как тут сократить.

Андрей. И еще она такая... тихо-очаровательная! *(Делает пальцем пролезающее, замысловатое движение. Обращается ко всем.)* Я предлагаю тост. *(Держит паузу.)* За хорошее лето, а также за хорошую зиму... осень и весну!

Виктор. Да-да! Выпьем за зиму. В Новый год будем! За джипом! На корытах кататься.

Андрей. Если Зеркальцева не выпустят из тюрьмы, джипа никакого у нас не будет.

Виктор. Зеркальцева обязательно выпустят! Не такой это человек, чтоб его засудили. Все у нас пойдет-будет. Вы даже не представляете!

Входят Александр и Людмила. У Людмилы прическа в четыре цвета.

Виктор *(Ларисе)*. Это мой сын Саша и его невеста Людмила.

Александр. Вы тут разлагаетесь, а мама дома всю посуду перебила.

Людмила. Мы три часа убирали.

Виктор. Перебила — к счастью! На что, на что, а на посуду бабок у нас хватит. *(У него звонит сотовый телефон. Он слушает, каменеет, по-бу-*

ратинному встает.) Понял: приставы. Так. Маски. *(Его качнуло, он падает на колени, роняет сотовый. Тут же подбирает его, вскакивает.)* Нет, это не выстрел. Не дождутся.

А н д р е й. Неужели все отобрали?

В и к т о р. И это кафе уже не наше.

А л е к с а н д р. Но воздух еще наш. Давайте глубоко подышим и подумаем, как нам дальше быть.

В и к т о р. Знаешь, мыслитель, на всех пряников не хватает. Новый директор завода свою команду приведет. А их надо кормить и кормить, и все будет не хватать.

Л а р и с а *(Виктору)*. Ничего, мы не пропадем.

А л е к с а н д р. А где моя Людмила? Она только что была здесь.

Л а р и с а. Девушка простецкая, прическа сложнецкая.

А н д р е й. Мы ее больше никогда не увидим.

А л е к с а н д р. Это зачем? Почему? Вышла на минутку, сейчас придет.

А л е к с е й. Если Зеркальцева выпустят, она обязательно придет, крыса.

А л е к с а н д р. Я не позволю!

А н д р е й. Воскликнул герцог...

Занавес.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Картина 1

Прошло полтора года. По просцениуму рассказывает А л е к с е й, весь уйдя в воротник пальто. Только виден один глаз, глядящий в никуда. Прохожие шарахаются от него, он — от них, в результате пару раз сшибаются. Столкнувшись в очередной раз, Алексей останавливается.

Ф е д о р. Леха!

А л е к с е й. Ну я это! Я! Я!

Ф е д о р. Где же твои как бы золотые цепи? Где твоя колесница «А-во-семь»?

А л е к с е й. Все ушло вслед за Зеркальцевым, когда его посадили! Прошло полтора года всего, а отец уже почти бомжует со своей... Мы думали, что она ради денег, а смотри — все еще не отстает. Хотя батя продал джип, ездил, как простой лох, на «Москвиче», а теперь вообще пешком ходит.

Ф е д о р. Не ной! Скажи спасибо, что родился не бактерией и не американцем. А вообще, надо было делиться.

А л е к с е й. Пусть делятся те, у кого нефтедоллары. Нефть — это наше все... А у бати было только что: автозаправка, автостоянка, ресторан, кафешка, шашлычная — так, по мелочам.

Ф е д о р. А у нас Апельсинов как бы все еще сидит. Ты же на свободе — и не радуешься, закуклился весь. Свободушку-то надо ценить, народу посвящать. Завтра приходи к нам...

А л е к с е й. Да у вас там, наверно, гомосеки одни!

Ф е д о р *(подскакивает к Алексею, трясет его, повис на нем)*. Молчи! Лучше молчи! Как друг тебе советую! За нами знаешь что? За нами все будущее!

А л е к с е й *(ставит Федора на ноги)*. Ну загляну. Все равно нечего делать теперь.

Ф е д о р. Только сначала позвони, вот тебе телефон, товарищ тебя встретит. Пароль: «В этом году большой урожай апельсинов». *(Внезапно вспыхивает.)* Эту систему надо разрушить к гребаной матери!!! *(Обрывает трубку телефона-автомата.)*

Алексей. Как мы будем друг с другом связываться, если все снесем?
Федор. Мы никого не прощаем! Мы всем отомстим! За то, что нас не любят! А за наших стариков ушиотрежем!
Алексей.

Дайте в руки мне баян,
Я порву его к фуям.

Федор. Но родина! Родина! *(Несколько раз лбызает телефонную будку.)*

Алексей. Ты серьезно, что ли? Или репетируешь?

Федор. Родина — это как бы такое место, которое как бы нужно любить.

Оба уходят.

Картина 2

Прошел еще один год. Однокомнатная квартира. Большой стол посередине. На нем — фаянсовое белое изваяние Толстого. По полу разбросаны детские игрушки. В наличии также диван и детская кроватка. С кухни, где обедает дядька Леонид, доносится звяканье, иногда что-то падает.

Лариса *(развешивая выстиранных игрушечных зверей прищепками — кого за лапы, кого за уши)*. А отец-то! Никогда к нам с мамой не приходил! И на похоронах ее не был. А теперь Игореху нашего все время берет к себе на выходные, игрушками завалил внука — стирать не успеваю. В чем тут секрет?

Виктор. Да в деньгах. Раньше у мужиков не было денег, и все были злые, как я сейчас. Надо чаще тосты поднимать! *(Достает из настенного шкафа бутылку и стопку.)* За то, чтоб Зеркальцева скорее выпустили!

Лариса налетает на него как вепрь, выхватывает у него все и ставит на самую верхнюю полку.

Голос дядьки Леонида *(с кухни)*. Когда-нибудь я встану! И все достану! Ох достану!

Лариса *(перебивает)*. Мама говорила: мы строили кооператив для себя, как вороны вон за окном, по хворостинке... А все досталось отцу и мачехе.

Виктор *(кричит)*. Тебе помочь, дядька Леонид?

Голос дядьки Леонида. Защитник Белого дома не нуждается в вашей помощи!

Лариса. Когда все мои подруги удалялись замуж, я за мамой лежачей ухаживала. Она меня иногда спрашивала: «Красивая девушка, вы кто?» И каждый раз я думала: Господи, чем же это все кончится? Не смертью же, правда ведь?

Виктор. Думала, думала, а деньги-то в церковь носила? Или хотела всю помощь на халяву получить?

Лариса. Для вас Он *(показывает вверх)* какой-то супербизнесмен, с которым вы все время торги ведете. *(Передразнивая.)* Боженька, смотри, сколько я на твой счет перевел!

Виктор. С Супербизнесменом сильно-то не поторгуешься. Он сказал — десятую часть отдай, и все!

Лариса. И ты отдавал, что ли? Десятину — от всякой прибыли?

Виктор. Ну, дурак был, что не отдавал. Но теперь — только дай снoва подняться, я все! Все! Если б раньше я делал как надо... Ему *(жест вверх)* сейчас бы не пришлось...

Из кухни на кресле-каталке показывается дядька Леонид.

Дядька Леонид *(поет)*. Жили мы на хуторе, все на хрен перепутали...

Лариса. Добавки надо?

Дядька Леонид. Съел мюсли — и оказался внутри себя. Столько разных ощущений, и все мировые.

Виктор. Ты стал много говорить о еде.

Дядька Леонид. Не затыкай рот защитнику Белого дома!

Лариса. Леонид, ну что ты говоришь. Ты здесь, на Урале, Белый дом в Москве.

Дядька Леонид. Даже и не пытайся заткнуть рот защитнику демократии! Я тогда в Переделкине отдыхал с женой. Мы фотоальбом с ней издали про Коми округ. Кодовое название — «Страна Або». Або по-коми-пермяцки — нет. Потому что в Кудымкаре ничего не было тогда.

Лариса. Что же вы тогда снимали?

Дядька Леонид подъезжает к полке, берет фотоаппарат, наводит на Ларису. Ослепительная вспышка.

Дядька Леонид. Вот что! Красоту!

Виктор. Стопудово, что красоту. Что еще в этой жизни снимать? *(Забирает у дядьки Леонида фотоаппарат, снимает Ларису с другой стороны, отдает фотоаппарат дядьке.)*

Дядька Леонид *(Виктору)*. Сколько я тебя фотографировал! На скольких выставках твой морды прозвучали! Это сейчас я стал шелкунчиком. *(Вспышка фотоаппарата — снимает Ларису и Виктора.)*

Виктор. Ну и где это все, скажи, скажи!

Лариса. В самом деле, интересно бы посмотреть.

Виктор. Наш светописец заснул пьяный с сигаретой и все спалил.

Дядька Леонид *(подъезжает на кресле к Виктору, смотрит на него в упор)*. Защитника Белого дома — в инвалидный дом! Вы думаете, что — в Переделкине все дружат? Нет, там они... по своим кружкам. Кстати, воздух там такой чистый! Утром встанешь — голова с похмелья несколько не болит! А тут девятнадцатого августа одна тысяча девятьсот девяносто первого года вдруг такие все стали друзья! Поэт граф Разумовский отговаривал меня в ночь на двадцатое ехать на баррикады Белого дома *(изображает в кресле графскую прямую спину)*: «Ты, милый, не военный, даже в армии не служил, помощи от тебя никакой, а убыют запросто».

Виктор. Пуля из «калашникова» пробивает рельсу.

Дядька Леонид. И вдруг что вижу вечером? Сам граф Разумовский — старик уже — садится в электричку, на баррикады. Я его там перехватываю: «Ваше сиятельство, как это понимать?»

Свет мигает, появляется граф Разумовский, как его представляет дядька Леонид: во фраке, цилиндре, с каким-то белым цветком в петлице.

Граф Разумовский. Я граф Разумовский и не могу не ехать, когда решаются судьбы России!

Свет мигает, граф исчезает.

Виктор. Помню, как ты защищал демократию. Собаки переделкинские залаяли: помогите. Тетя Лида рассказывала: она выбегает, а ты между новым корпусом и столовой пьяный валяешься.

Дядька Леонид. Все путаешь или злонамеренно искажаешь историю! России. Это было уже потом, когда я противогаз обратно сдал, и приехал Калинин, и сказал: «Я знаю, что вы хотите услышать!» И запел «Поручика Голицына». И все подхватили, как все подхватили!

Виктор. Ты все это где-то вычитал.

Дядька Леонид. Наш отряд стоял у бокового фасада, чтобы пройти к главному, нужно через несколько контролей было... сказать пароль «Вымпел» или «Выход» — я забыл. Я же за противогАЗами ходил — сам лично получал противогАЗы.

Лариса. Успокойся.

Дядька Леонид (*показывает на пластилинового Шварценеггера*). Мог бы я создать это воплощение героизма и демократии, если бы не был там?

Виктор. Врачи сказали, что тебе поможет после инсульта, вот ты и лепил.

Лариса. И очень хорошо — хотел ведь выздороветь.

Дядька Леонид. Так почему же я ваяю не голую бабу, а героя? А что толку быть героем? Я вчера слышал, как вы на кухне разворачивали конфеты и ели потихоньку, даже мне не предложили.

Лариса. Мы сейчас не можем каждый день конфеты! А наверное, это лук так шуршит, я его чистила.

Виктор. Все-все, молчу, ты герой! Награждаю тебя «Россией». (*Вручает ему шоколадку.*)

Дядька Леонид. Наконец-то! (*Неловкими руками разворачивает звенящую фольгу — зритель, может быть, слышит ее ломкий серебристый звон. Ларису это раздражает, она закуривает, но тут же тушит сигарету и начинает собирать разбросанные игрушки в сетчатую корзину.*) Симфония звуков! (*Ест.*) Симфония вкусов! Как электрофорезом все внутри прогрело! Я весь погрузился во вкус. Так только в детстве! (*Звонит фольгой.*) И эти колокольчиковые звеньки — тоже из детства. Мы там обменивались разноцветной фольгой...

Виктор. И в доме инвалидов — вы там тоже будете обмениваться. А какой шоколад — ты же говорил, что в семь лет уже курил?

Дядька Леонид. Какие вы... безжалостные! У человека не только сосуды лопают. У человека душа может лопнуть...

Виктор. Какое холодное лето!

Дядька Леонид. Это нам сверху... Огорчили Боженку, суки!

Виктор. Не говори так! У меня и так сердце надтреснуто.

Дядька Леонид. Надтреснуто? А мое сердце вообще смято... железными пальцами жизни.

Виктор. Я упал, как Икар, и никто не заметил! (*Тянется за водкой на верхнюю полку «стенки».*)

Дядька Леонид. Вперед и выше! Через тернии к звездам!

Лариса. Ты хочешь окончательным импотентом стать?

Виктор. О русская земля! Доколе ты будешь рожать таких ненасытных жен! (*Быстро наливает себе, дядьке Леониду. Выпивают.*) Хариусом бы сейчас закусить! Помню, последний раз выпивали с Зеркальцевым, ну, не такую уж водку, конечно.

Дядька Леонид. У Зеркальцева твоего лоб такой узкий, что палец не помещается. Как он стал директором? Непонятно.

Лариса (*вырывает остатки водки, ставит в шкаф. Дядьке Леониду*). Мы за Игорехой поехали. К моему папе. А ты поработай автоответчиком, записывай, если кто позвонит.

Дядька Леонид остается один. Вдруг сзади него, на гладильном столе, сам по себе раскрывается большой черный мужской зонт, шурша шорохом крыл. Сразу становится темнее.

Дядька Леонид. Как странно... Что-то под жопу лет я стал всего бояться. Ну и что — зонт раскрылся: пружина, может, такая, ослабла. Да может, они и раньше раскрывались в прежней прихожей у Витьки, шуршат там, летают...

Становится еще темнее. В луче света появляется граф Разумовский. Дядька Леонид почтительно встает.

Граф Разумовский. Хватит, маркиз, вы уже много сделали для демократии. Пойдемте вместе, я так соскучился по беседам с вами.

Дядька Леонид. Ваша светлость! Позвольте на память...

Вскидывает фотоаппарат (вспышка!), падает и умирает, но еще несколько раз фотовспышка освещает сцену.

Картина 3

На просцениум выходит Равиль. У него звонит сотовый.

Равиль. Тигра опаздывает. *(Дальше несколько слов по-азербайджански. Затем снова по-русски.)* Все равно скоро будем. Пиндыр купили? Тигра любит сыр.

На просцениуме появляется Неля. Они идут навстречу друг другу — Неля и Равиль. Он моложе ее лет на десять. Вручает Неле плюшевого тигра в прозрачной упаковке.

Неля. С чего это? *(Протирает уголки глаз.)*

Равиль. Сегодня ровно год... с нами происходит.

Неля закидывает руки ему за шею, в одной — эта самая тигра.

Неля. А я забыла. *(Целует его.)*

Равиль. А я вчера перевозил детскую кроватку... туда, куда идем сейчас. К сестре.

Неля. Племянника кроватку?

Равиль. Да. Брата сын. Он вырос. А сестра родила. Кроватка два года была в кладовке. Разобрали... И там вчера я увидел гнездо мыши. Красивое. Вата так завита. Как волосы твои. Где мышь нашла вату? И мави лента.. Да-да, лента! Почему лента, слушай?

Неля. Мави — это что?

Равиль. Мави — цвета моря.

Неля. Голубая?

Равиль. Да, голубая лента. Почему так красиво? Ведь мыши не понимают красоту? Или понимают? Или любое материнство красиво?

Неля. Опять ты за свое? Я должна подумать. *(Протирает уголки глаз.)* Год всего мы знакомы.

Равиль. Год — это много.

Неля. Ты ведь знаешь, что я пережила: муж был миллионер, а теперь он — бомжара бритый.

Равиль. Зачем так говоришь, слушай! Ты его не жалеешь.

Неля. Мне петрушку жалко рвать — она ведь ни в чем не провинилась. А Виктора не жалко, он заслужил свое. *(В сторону.)* Когда я рожала ему тройню, было полное впечатление, что у меня снарядом отрывает обе ноги на поле боя. А он? Бросил меня! И после этого его жалеть?

Равиль. Эх, если бы я тебя встретил в Азербайджане... Там столько этой петрушки и вообще зелени! И водопад, как... готовое соскользнуть одеяние.

Картина 4

Прошел еще год. Входит Виктор. Затем Лариса — она свежа, но одета уже с китайского рынка. Виктор брит, но обтрепан.

Лариса. Купила уцененное печенье — сломанное, как моя жизнь.

Виктор. Представляешь: Зеркальцева три дня как выпустили на свободу!

Лариса. Откуда ты узнал?

Виктор. Есть такой источник информации — сыновья.

Лариса. Наверное, выпустили его по «зеленой амнистии» — дал миллион мертвых президентов.

Виктор. Три дня назад выпустили, а мы как в деревне — ничего не знаем. Вот что значит без телевизора.

Лариса. Но зато этот телевизор три месяца нас кормил.

Виктор. К Зеркальцеву вчера двух светил привозили. Медицинских. Что-то с легкими, говорят.

Лариса. Ну, светила его вылечат за сутки. Сейчас есть такие антибиотики, одну таблетку выпил — и все. Ты вот что: не жди, а сам ему позвони.

Виктор. Сон я видел сегодня: будто у нас пол вот здесь пророс травой и мы корову пасем. А тут солнце выглянуло на потолке, оводы налетели, кусаются. И речка так петляет, чуть ли не впадает в саму себя.

Лариса. По-моему, отличный сон. Трава зеленая — это к долларам. Ну! Стартуй! *(Вкладывает телефонную трубку ему в руку.)*

Виктор. Не дави на меня! Ведь если Зеркальцев скажет «нет», то... я даже не представляю, что делать!

Лариса машет рукой и уходит на кухню. Мерцающий зыбкий свет. Появляется дядька Леонид с фотоаппаратом и зонтом.

Виктор *(дядьке)*. Все понял! Понял! *(Частит.)* Я комсомольскую отчетность подчищал, сестре денег не посылал, и еще это — двух лохов на бабки развел.

Дядька Леонид отрицательно мотает головой.

Что? Неужели за то, что жену бросил я? Ты просто не знаешь: Неля нашла себе другого.

Дядька Леонид. Знаю я здесь все. Если вы хотите завести роман, сначала заведите собаку. Вот она и завела спаниеля, выгуливала.

Виктор. Я никого не убивал!

Дядька Леонид. Ну, положим, меня-то ты убил. Но я не за этим.

Виктор. Извини, ты вообще без меня умер! Я тебе в ухо ничего не капал.

Дядька Леонид. Кто же мне рюмку водки накапал? А для сосуда в мозгу это было смертельно. Он хрясь! — и все. Но заморочка не в этом. *(Открывает зонт.)*

Виктор. Не тяни! При жизни ты был таким быстрым.

Дядька Леонид. Я сам убийца.

Виктор. Как? И ты тоже?

Дядька Леонид. Но тебе этого не понять. Я убил свой талант.

Появляется граф Разумовский.

Граф Разумовский. Я позволю себе внести ясность в происходящее. Ваш младший сын Игорь Викторович весьма одарен. Ему скоро четыре года исполнится. Он может быть живописцем.

Дядька Леонид. Но для этого ты должен кормить нашего Игореху. А чтобы кормить, надо пахать. Звони сейчас же Зеркальцеву!

Граф Разумовский. А теперь разрешите откланяться.

Дядька Леонид делает судорожные движения, будто хочет улететь с помощью зонта.

Вы забыли разве, что нужно делать?

Дядька Леонид. А! *(Складывает зонт, вскидывает фотоаппарат, ослепительная вспышка, он и граф исчезают.)*

Трепещущий свет сменяется обычным.

Виктор. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались... А напрасно говорят, что между жизнью и смертью блоха не проскочит.

Возвращается Лариса.

Лариса. Игорехе нашему нет и четырех, а он уже на каждом шагу говорит слово «компромисс».

Виктор. Что?

Лариса. От бабушки, что ли, у него такие сложные слова? Наверно.

Виктор. Скажи спасибо, что твой отец берет его на выходные!

Лариса. Да, конечно, я хозяйством успеваю заняться.

Виктор. А! Ну конечно, сынула хватает все со стола до обеда, а потом говорит: «Надо идти на компромисс».

Лариса. А недавно он меня спросил: «Мама, а в компромиссе светло?»

Виктор. Все понял, звоню Зеркальцеву. *(Делает три круга по комнате, стучит три раза по деревянному столу, достает из-под футболки образок, целует. Набирает номер.)* День добрый. Это Виктор Цветков. Алена, папу позови. *(Лариса судорожно сжимает игрушечную свинку, та взвизгивает. Виктор встает с прижатой к уху трубкой, забирает у нее игрушку и снова садится.)* Борис Аполлинарьевич! Как я рад вас слышать! С возвращением! Я очень-очень рад. Вы уже знаете? Да, все я потерял! Автозаправку? В первую очередь!

Лариса. Спроси про здоровье.

Виктор *(закрыв трубку)*. Он не любит. На рыбалку? Обязательно. *(Мнется.)* Борис Аполлинарьевич, вы только не удивляйтесь, я тут всю снасть продал... *(Пауза.)* Нет, душу не продал... Да, конечно, помню этого сома. Тридцать шесть килограммов! Он лежал в джипе загнувшись. *(Виктор изгибается.)* Да-да, этот гигант думал, что это он нас поймал, — мы с трудом его переубедили. Полчаса нас мучил!.. Начальником снабжения в строительной фирме? *(Лариса кивает головой: соглашайся.)* Конечно! Остальное за ухой? Прекрасно! *(Кладет трубку. Тут же ее хватает и снова звонит.)* Андрюша, сынок, я прорвался! Мы сейчас везде пройдем! Да, ты угадал! У Зеркальцева! Там будет видно! Сашке передай, заходите на днях, там будет все видно! Обнимаю! *(Сияя, бросает трубку.)*

Лариса. С аванса сразу же купим одежду! Всю одежду! Чур я делаю стрижку в «Силуэте»! *(Открывает дверцу шкафа, смотрит в зеркало.)*

Виктор. Друзья вернуться ко мне. Да, вернуться! Друзья не только уходят, но и возвращаются.

Лариса *(красит губы)*. И неизвестно, что хуже. Костя, например, ни разу не позвонил за эти три года.

Виктор. Он же любитель здорового образа жизни, он не хочет нервничать. Да и поднялся он очень высоко, отсюда уже не видно.

Лариса. Зайди завтра же в храм.

Виктор. Естественно, чтобы... А с первой же зарплаты я отправлю сестре пять тысяч. Телеграфом!

Лариса. С чего это пять? Написано в Библии — десятину, а ты прямо отломил четвертину.

Виктор. Ну тогда три тысячи.

Лариса. С чего это три?

Виктор. Ну полторы... Только ты мне скажи об этом в день зарплаты, а то я закручусь, столько дел навалится на новом месте.

Лариса. Телевизор надо срочно с окончаловки...

Виктор. А через год купим «мула» белого шестисотого. Скорее всего, и тебя смогу оформить кем-нибудь.

Лариса. Хоть огурцы-то не буду в банки закатывать.

Виктор. Конечно! Я тебе ящиками венгерские консервы начну привозить. Как раньше.

Лариса. А то нынче закатала четырнадцать банок огурцов. Это наша стекляннная крепость. И думала: как будут стоять — вот главный вопрос.

Виктор. Это всегда главный вопрос: как стоять...

Лариса *(смотрит на часы)*. Интересно, что «Демидовское радио» скажет нам о Зеркальцеве? *(Включает приемник.)*

Голос диктора. ...что говорит о том, насколько губернатор недоволен работой своей команды. Сегодня утром взят под стражу известный предприниматель Константин Одинокоев. Ему предъявлено обвинение по одиннадцати пунктам. Мы ожидаем, что в следующем выпуске новостей наш корреспондент Ирина Мартынова сообщит подробности этого громкого дела. Сейчас она находится в суде Ленинского района Перми. Оставайтесь с нами.

Лариса (*выключает приемник*). Очередной передел собственности. Когда-нибудь это закончится, нет?!

Виктор. Ну, Костя, что ты говорил? «Лыжные прогулки помогут, свежий мозг придумает для спасения Зеркальцева...» Ну и ничего ты вообще потом... для нас не сделал!

Лариса. Но для себя-то он будет думать на полную катушку! Ты, Витя, уж не волнуйся за него сильно.

Виктор. Выход один: накосить побольше зелени и потом — в Испанию, Португалию, Бразилию!

Лариса. В Италию, Францию, Штаты!

Слышен гулкий стук в железную дверь, одновременно — несколько резких звонков. Лариса идет в коридор, щелкает выключателем. Лампочка в прихожей пронзительно вспыхивает и перегорает. Египетская тьма.

Голос Виктора. Это еще откуда? Кажется, больше никого я рюмкой не убивал.

Голос Ларисы. Ты о чем?

Голос Виктора. Так, навеяло.

Виктор светит спичкой, Лариса нажимает кнопку вылетевшей пробки. Свет появляется в комнате. В дверь снова ломятся.

Лариса. Кто там?

Голос Алексея. Это мы, освободители народа!

Лариса (*открывая*). Вы как чекисты: поздно и с грохотом.

Входит Алексей с Федором и Василисой.

Алексей. А где мой маленький братик Игореха?

Лариса. У моего папы.

Виктор. Пробки из-за вас вылетели.

Федор. Это — предвестие разрушения буржуйского мира!

Виктор. А мы предвестников не приглашали.

Федор. Дядя Витя, вы меня не узнаете? Ну да, лет пять не виделись.

Виктор. Если тебя побрить, то проглянет Федька Поваренных. Одноклассник Алексея.

Федор. Положим, из Федек я вырос. Даже сам Апельсинов печатает меня в своей газете под псевдонимом Фекул Беспощадный. Может, съжгли?

Вдруг шипение, два сильных хлопка.

Лариса. Огурцовый полтергейст. (*Несет из кухни капающую банку с огурцами.*)

Виктор. Ты уверена, что это можно есть?

Алексей. Ничего! Нас много, всех не перетравишь.

Василиса хватает из банки огурец.

Василиса. Вот такой же сморщенный прокисший коммерсант привез меня в свое двухэтажное гнездо: «Это все твое, что тебе еще надо?» А

я говорю (*внятно — огурицу*): «Мне нужна социальная справедливость». (*Раздавливает огурец двумя руками.*)

Алексей (*оттягивает ей ворот кофты и дует внутрь*). Успокойся.

Раздается еще несколько хлопков-выстрелов из кухни. Молодые радикалы втягивают голову в плечи.

Виктор (*Василисе*). Он и в детстве был такой бойкий, такой бойкий! Помню, в три года у него резинка в трусах лопала по два раза в день. Поймает на улице трех котов сразу, шелудивых, тащит: «Папа, накорми!» А теперь...

Василиса. А я в детстве говорила: «Хоть бы ты, папа, поймал золотую рыбку, не сидели бы мы у разбитого корыта».

Все молчат.

Лариса. Целая стая тихих ангелов пролетела. (*Начинает демонстративно раскладывать диван.*) Время позднее.

Федор садится на трехколесный велосипед. Тренькает звонком.

Виктор. Перестань.

Федор (*играет звонком, тоже демонстративно*). Дайте деньги на нашу партию — и баиньки! (*Он пересаживается с велосипеда на пол и начинает перебирать детские игрушки.*) Чух-чух. Наш паровоз, вперед лети... Ту-ту-у-у-у!

Алексей (*отцу*). Братья сказали, что у тебя скоро опять зашевелятся денежки.

Виктор. Я вам не Савва Морозов.

Федор (*взяв в руки игрушечный автомат*). Трататата! Пиу! Пиу! (*Дуло автомата переливается разноцветными огнями.*) Мы, это... В общем, мы надеемся... Вы же были комсомольский лидер... Есть такое слово — сознательность. Вы сознательный, сознательный. Ведь даже во время процветания вы собирали что? Пролетарский, пролетарский фарфор!

Василиса. Через месяц-другой мы к вам зайдем.

Лариса. Все, я больше не могу. Алеша, ты слышал, что сегодня Костю арестовали, Костю Одинокова?

Алексей. Завтра же с утра еду к его сыну, Вадиму.

Виктор. Я поражен. Ты поедешь, чтобы потом благодарный Костя вам деньги отсыпал на партию?

Алексей. Отец, ты меня за кого уже считаешь?

Федор. Денег на партию? Спасибо! Спасибо! (*Подбегает к Виктору, трясет за руку.*)

Виктор. За что спасибо?

Федор. За свежую идею. Непременно, непременно наведаемся со словами сочувствия в семью Константина Одинокова.

Лариса. Виктор, где твой пистолет? Гони их!

Виктор. У кого есть Зеркальцев, тому пистолет не нужен. Давай, ребята, шагом марш. Облизнулись и пошли.

Василиса. Мы же к вам как к людям пришли, понимающим, на какую сторону пора становиться.

Федор. А потом будет поздно.

Алексей начинает хохотать без остановки. Соратница обнимает его сзади, Лариса пытается напоить его водой из стакана. Федор бьет Алексея по щекам.

До чего довели человека.

Алексей. Папа! Ты не думай! Мы... Я не хотел!

Борцы за справедливость уходят.

Лариса (*берет ватку с лосьоном, начинает перед зеркалом удалять косметику со лба*). Ну и денек. Что у меня с лицом?

Виктор. Нормальное фронтное выражение лица.

Лариса. Потому что я боялась: они выморозят у нас последние двести рублей.

Виктор. А я боялся, что начну рассказывать: своих сыновей из метели спасал я... С трудом удержался...

Лариса. Удержался — ну и хорошо. Надо успокоиться.

Виктор. Нет, не могу. Я словно наполовину умер.

Лариса. Нехорошо из-за одного наполовину умирать. У тебя же четверо детей. Умри только на четверть!

Виктор. Когда-то говорил мой друг Миша Мордмилович: в Одессе есть могила, а на памятнике всего одно слово: «За что?»

Лариса открывает форточку. Становится слышна наркотическая музыка техно, которую заглушают странные хлопки и залпы. Виктор собирает с полу игрушки, разбросанные Федором. Настораживается.

Похоже на перестрелку. Но далеко. Что-то я калибр не разберу. Я надеюсь, Лешка еще далеко не ушел. Они все тут где-то. Их не затронет это?

Спешит к окну. Там видны световые пестрые дорожки салюта.

Лариса. Может, какая-то фирма что-то свое празднует.

Виктор. И мы тоже когда-нибудь как запразднуем! (*Дурашливо хватает ее в охапку.*)

Лариса. Ты же говорил — будем копить на отъезд. Из России.

Виктор. Да у нас на все хватит!

Выключает свет. Разноцветные вспышки и рыки салюта наполняют комнату. Виктор и Лариса стоят перед окном такие беззащитные.

Картина 5

Поздний вечер. Автобусная остановка. Справа выходят: Алексей, Василиса и ее мать — та самая разносчица телеграмм Нонна Ивановна.

Нонна Ивановна. Каждый день вы где-то бродите! Я уже все вымыла! И жду вас, жду. Обещали встречать каждый вечер...

Василиса. Я вообще не понимаю, мама, зачем ты в музей вернулась.

Нонна Ивановна. Да ума у меня не было! Поверила! Мне сказали: в советский зал много стали ходить, теперь носят грязь везде одинаково. Я думала, что будет справедливость: у мамонта мыть трудно — и в Советах тоже трудно.

Алексей. Да, Нонна Ивановна? Это правда? В советский зал опять ходят?

Нонна Ивановна. Ну, похаживают, интересуются, как люди жили без колбасы, талоны там выставили сейчас на водку. В витринах, представляете? Но к моему мамонту — толпы! И грязи, грязи тащат!

Алексей. Талоны на водку? Это перестройка, Горбачев, это уже не советское время. Хитрые, они специально искажают, чтобы опорочить советскую власть!

Василиса. А ты вообще молчи, а то все маме расскажу.

Нонна Ивановна. Дай мужику сказать! Что ты встречаешь каждый раз! В общем, теперь я поняла, что равенства не будет никогда. Советы вымерли, как мамонт, но... толпы народу все равно никогда в этот зал не будут ходить.

Прохожий. О чем вы говорите? Черных надо бить!

Алексей (*глядя ему вслед*). Как они людей испортили! А ведь раньше был интернационализм. Куда же он делся?

Василиса. Жопе слова не давали!

Нонна Ивановна. Ты что, доченька?

Василиса. А то! Знаешь, мама, какой перед тобой интернационалист? Ему стали нравиться и белые, и черные телки! Когда я на третьем месяце.

Алексей. Твоя мать за гроши подмывает мамонта, пенсия сейчас у всех — как насмешка, а ты в такой момент уходишь из борьбы! Ну ладно, ты сейчас нервная, потому что беременность и так далее. Но потом-то мы вернемся к товарищам?

Василиса. Размечтался! Лучше работу ищи.

Алексей закуривает.

Другой прохожий (*с бутылкой в руке*). Харе курить на сухую! Пошли выпьем! У меня сын из Чечни вернулся — раненый, но живой.

Алексей. Слушай, отец, я рад за тебя, но мне сейчас не до выпивки.

Другой прохожий. Не может быть! Ты в Чечне был?

Алексей. Нет.

Другой прохожий. И хорошо. (*Уходит.*)

По просцениуму проходит влюбленная парочка. В это же время Василиса беззвучно продолжает выговаривать Алексею, жестикулирует, замахивается на него... Нонна Ивановна показывает на парочку: мол, вот как нужно. Василиса свирепо обнимает Алексея.

Занавес.



ВЕРОНИКА ДОЛИНА



СТАРЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ПЕСНИ

* *
*

Теперь почти что невидимка —
Еще слышна, но не видна уж...
Так девушка-простолюдинка
Хотела петь, да вышла замуж.
Она без музыки томится,
Хотя не знает нот и клавиш.
Всегда одна, всегда таится,
Поет в тени старинных кладбищ.

Оно, конечно, глуповато —
Неужто жизнь не перед нею?
Да на кого же уповать-то?
Кругом одни лишь Пиренеи...
О, слабый дух простонародья!
Всегда отыщутся лекарства
Для погубления здоровья,
Для отправления дикарства.

Поешь, пока не обессилешь.
Поток огня взбежит по склону,
Потом созреют апельсины,
Придет Роланд — сожжет Памплону.
Природа дышит полной грудью!
Научат в деревенской школе
И озорству, и рукоблудью,
И вороватости тем боле.

Ты сладость, пенье, ты не слабость.
И, как обычно, через силу
Простит ей муж ее нескладность —
Пойдет и выроет могилу...
Была засада накануне,
Там мертвый рыцарь под сосною.
...И никогда, и никому не
Расскажу я, что со мною.

* *
*

Ты была мегерой мегер,
Мою голову в пасти держала.
Ты любила меня, мигрень,
Не любила, а обожала.
Ты присасывалась у виска
И выщезивала до донца:
От ресничного волоска
До последнего волоконца.

Путешествуя с багажом,
С багажом средь зимы и лета, —
Помню всех, кто был поражен
Стрелами твоего арбалета.
Но среди пустынь и морей,
Исполнительна и покорна,
Похищала меня мигрень
Из-под самого носа партнера.

Саквояжик мой пуст, увы.
Замолчала моя виола.
Где таблетки от головы?
Книги, ноты, семья и школа?
Я сама себе менестрель
В центре литерного вагона,
И все та же со мной мигрень,
Та химера. Чума. Горгона.

* *
*

Отпусти меня, пожалуйста, на море.
Отпусти меня хотя бы раз в году.
Я там камушков зелененьких намою.
Или ракушек целехоньких найду...
Что-то камушков морских у нас не густо!
На Тверской среди зимы их не найти.
А отпустишь — я и песенку негрустных
Постараюсь со дна моря принести.

Отпусти меня, пожалуйста, на море.
В январе пообещай мне наперед.
А иначе — кто же камушков намочит?
Или песенку негромких подберет?
Извини мои оборванные строки.
Я поранилась, сама не знаю где.
А поэты — это же единороги.
Иногда они спускаются к воде.

Трудно зверю посреди страны запретов.
Кроме Крыма — больше моря не найти.
Только море еще любит нас, поэтов.
А поэтов вообще-то нет почти.

Ах, достаточно румяных, шустрых, шумных.
 Где-то там косая сажень, бровь дугой.
 Но нет моих печальных полоумных —
 Тех, что камушки катают за щекой.

* *
 *

На исходе двухтысячной пьесы,
 Избегая чужого веселья,
 Мы приплыли с тобой в замок Если —
 Это недалеко от Марсея...

Нас доставил пригожий кораблик,
 У причала их было немало.
 Мы сказали себе «крибле-крабле»
 И вернулись к началу романа.

То-то было на море тревожно,
 То-то было на пирсе студено.
 Если чуть дальнзоркости — можно
 Разглядеть силуэт «Фараона»...

К сожаленью, наш принц не читает.
 Подрастет, доберется до текста.
 Мне и четверти часа хватает —
 Рассказать приключенья Дантеса.

Терпелив, но и грозен, и пылок
 Был моряк, проходивший сквозь стены.
 Замок Если глядит нам в затылок
 Как любовник, сошедший со сцены.

Заночуем сегодня в предместье.
 Нас приморская ночь не простудит.
 А на лучшее в мире возмездье —
 Зря надеешься, денег не будет.

* *
 *

Из далеких пустошей, затерянных графств
 Прискакали гонцы накануне,
 Воскликая: сударыня, вы кунст! Вы крафт!
 А другие все затонули.
 Кого-то поющие засосали пески.
 Кто-то спит как последний пропойца.
 А вы, королева, потрите виски
 И хоть что-нибудь нам пропойте.

Да, мы знаем, вы не любите низкорослых пород.
 Машину водите — как цунами.
 Но мы все же надеемся, что этот год
 Вы пробудете вместе с нами.

Если наша просьба вас удивит —
 Отошлите нас просто жестом.
 Но вы тут дома, сударыня, и не делайте вид,
 Что в изгнание и под арестом!

Королева, вы стали последним звеном
 В цепи, что мы тут сплетаем.
 Ради вашей вышивки жемчужным зерном
 Мы сотрудничаем с Китаем.
 Мы разграбили Рим, разгромили Прованс,
 Перламутр ввозя, терракоту...
 Заклинаем, сударыня, именно вас:
 Не бросайте ручную работу!

* *
 *

Как Ламолю ноги ломали!
 Как ломали ему виски...
 В медальоне цветной эмали
 Белокурые завитки.
 Ах, любовь нетрудно угробить.
 Обезглавить, ошеломить.
 Уничтожить еще в утробе,
 Просто голову проломить.

Ничего твой Ламоль не скажет.
 Только всхлипнет: «Прощай, Марго!»
 И заснет, соскользнет и ляжет
 В темно-красное молоко.
 Дворянину, бойцу, атлету —
 Жизнь не очень-то дорога.
 У реки, впадающей в Лету,
 Невысокие берега.

В Лангедоке так желт подсолнух,
 Так вино бежит из мехов...
 А откроешь глаза спросонок —
 И полна тетрадка стихов.
 Будто здесь никого не убили
 И цветет лаванда опять.
 Будто здесь никогда не любили
 Кровь пустить, с королевой спать.

* *
 *

Безнадежное мое дело.
 Так о чем же душа хлопочет?
 Все глаза себе проглядела,
 Раз он слушать меня не хочет.
 Неподдельные мои страсти.
 Суп не сварен, роман не вышел.
 ...Он едва говорит мне «здрасьте»,
 Он и песен моих не слышал.

Безнадежное мое дело.
Он смеется, лицо мне глядя.
Все глаза себе проглядела,
Будто он — незнакомый дядя.
Будто вместе не ночевали,
Тело телом не задевали...
Будто он, если я разденусь,
И узнает меня едва ли.

Безнадежное мое дело.
Мои сны — сотни утлых лодок.
Все глаза себе проглядела
В ожиданье иных находок.
Был бы он моих слов ценитель,
Был бы строф моих собиратель,
Стал бы жизни моей хранитель
Да и снов моих толкователь.

...Стал бы снов моих толкователь
И всей жизни моей хранитель.



ОЛЕГ ЛАРИН



ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

Записки сельского москвича

«ХОЗЯИН ВЕРНУЛСЯ»

Я едва не столкнулся с ним нос к носу. Шел себе по лесной тропе, ни о чем не думал, согнувшись под рюкзаком, а когда поднял голову, поначалу принял его за обгоревший пень. Нет, со зрением у меня все в порядке, просто глаза отказывались верить: представьте себе, в километре от деревни, озвученной петушиными воплями и собачьим лаем, на утоптанной тропинке со следами рифленых шин — и вдруг лохматое, головастое, желто-дымчатое чудище, примерно метр семьдесят ростом. Медведь! Он стоял спиной ко мне и, видимо, не чуял никакого подвоха. Расстояние между нами сократилось до пятнадцати метров. Зверь резко обернулся, глянул на меня оторопело, вывалив острый язык, опустился на четвереньки и снова встал в полный рост. Зеленые дремучие глаза были парализованы страхом, шерсть на холке поднялась дыбом, из разинутой пасти медленно потекла слюна. Это продолжалось секунд десять, не больше.

Из шокового состояния его вывела, наверное, палка в моих руках. Мишка отпрыгнул в сторону, затравленно рывкнул и понесся через перелесок в сторону чащи. Слово «косолапый» прозвучало бы сейчас самым отъявленным враньем. Подумалось даже: как бы его инфаркт не хватил!

Мне, конечно, никто не поверит, но страха я не почувствовал. Изумление, шок, полное обалдение — это да. Страх придет позже — дома, во сне, во время прогулок по лесам мне долго еще будут мерещиться эти зеленые дремучие глазки, выбивающиеся из дыма пушистой шерсти. Хотя зверь этот, по правде говоря, больше напоминал мирную колхозную корову или нашкодившего ученика, которого застали на месте преступления.

Самое интересное, что наша встреча произошла там, где когда-то располагалась бригада Паши Набатова. Здесь всегда горел большой костер, стояли заляпанные грязью трактора с прицепами, виселись бочки с соляной и мазутом, и бригадир Паша, озлившись на какого-нибудь пьянчугу, бессвязно выкрикивал грозные пророчества. Природа вокруг тракторного стана плакала нефтяными слезами. Земля у кострища была утрамбована так, будто по ней прошелся асфальтовый каток. О медведях тогда никто и не думал: их вывели отсюда полвека тому назад, и последнюю шкуру я видел в доме знакомого охоттехника из Костромы, который хвастался, что якобы добыл зверя именно в районе Ряполова.

Набатовские механизаторы думали о гектарах вспашки, о вовремя или не вовремя закрытых нарядах, о нормах выработки, «об выпить-закусить и чтоб солнце было...». Но вот закрылся колхоз, увезли трактора и комбайны, умерли бригадир Паша и многие из его ребят; поля, которые они обихаживали, мало-помалу превращались в бурьянные пустыри. Каждую вес-

ну и лето на деревню обрушивалась эпидемия сорняков-паразитов. А ведь наукой доказано, что у каждого культурного растения есть свой спутник-сорняк, семена которого имеют ту же форму, величину, окраску и вес. Бороться с этими двойниками-приспособленцами так же трудно, как с мерзавцами в человеческом обществе. Слава богу, что пришел на помощь лес. Он задавил дурнотравье, и теперь ряполовцы имеют возможность собирать здесь молодые подберезовики. Такая уйма земли — и вся она теперь пустая! Может быть, так и надо? Есть в этой пустынности, девственной шири, дикости какая-то величавость, полнота возобновившейся жизни, не требующей участия человека. И вернулся наконец исконный хозяин этих мест: природа не терпит пустот...

Я шел в свое Ряполово и нет-нет да оглядывался по сторонам. Кто его знает, этого «хозяина», какие у него намерения: вдруг опомнится от страха и нападет сзади?

У НАС ВОРУЮТ

Туристским топориком я поддел разохшуюся доску, гвозди легко вышли из пазов, и дверь со скрипом подалась назад. В нос ударил спертый дух плесени, мышинных закоулков и соскучившегося по печному теплу дерева. В сенях я помедлил немного перед тем, как толкнуть другую дверь, в жилую комнату, и слегка запаниковал. Вдруг опять залезли? Опять придется вставлять оконные стекла, собирать с пола битую посуду и развороченное постельное белье со следами грязных сапог? Я шарил глазами по затененным углам — нет, кажется, все в порядке.

А ведь были, были такие годы, и не столь отдаленные, когда по весне в моей московской квартире трезвонила междугородка и голос на том конце провода участливо сообщал: вашу избу, товарищ Ларин, обворовали! Влезли, видать, ночью, сбили замки, взломали шкафы и сундуки. Даже лампочки вывернули, мерзавцы!..

И вот, нагруженный замками и скобами, я ехал в свое костромское Лукоморье, в свое уютное гнездышко на окраине полувымершей деревеньки. В места глубинные — грибные, ягодные и рыбные (а теперь уже и медвежьи), куда вместо дорог ведут слегка угадываемые тропинки. Но куда все чаще и чаще стали наведываться некие личности комсомольско-уголовной внешности на мотоциклах и без. Вынюхивали, высматривали, окольными путями наводили справки, у кого чем можно поживиться, — и однажды, не обязательно ночью, совершали набег.

Ей-богу, раньше так не грабили. Раньше, в эпоху алкогольного дефицита, даже находясь в кромешной глуши костромского бездорожья, вор лез в мой дом с чувством некоторого стыда и страха. Да и вором, по теперешним временам, его можно назвать с очень большой натяжкой — скорее бомжом, забуддыгой. Его интересовали чай, сахар, дрожжи (для бражки), какая-нибудь замызганная телогрейка или подушка с одеялом, на большее он не покушался.

А вот нынешних воруяг ничем остановить нельзя. Эта нелюдь сметет любые запоры, может и дом подпалить, были такие случаи. Вообще я толком не могу понять, что это за людишки и откуда они взялись. Их появление в наших лесных палестинах нельзя объяснить только тем, что, мол, «кушать хочется», что, мол, вся страна подверглась криминогенной порче и приходят такие времена и воцаряются такие нравы, о которых сказал еще древний мудрец: «стыдно не быть бесстыдным».

Дело, по-моему, гораздо проще и страшнее: появилась новая генерация «двуногих» с совершенно иной, чем у нас, системой жизненных координат. Внешне похожих на нас, людей, но потерявших исходное человеческое начало — совесть. Совесть для них — как аппендикс.

Во все времена и у всех народов были свои воры, пройдохи, мошенники, хапуги. Но было чувство греха, понимание неотвратимости кары за совершенный грех, и на этом держалась народная нравственность. Раньше вор знал, что он вор, что он выглядит преступником в глазах других людей, потому и промышлял скрытно, прячась от посторонних взглядов, чувствовал себя волком, обложенным красными флажками. А теперь вор вышел из подполья — научился «бомбить лохов», «гнать пургу и тюльку», «вешать сопли на уши», «жать на весь костыль», «ботать по фене» — и при этом смотреть тебе в глаза не краснея... Разум у этих людишек еще есть, кой-какое красноречие, располагающая внешность своего в доску парня — а стыда и совести нет и никогда уже не будет, потому что они лишены этого на генетическом уровне...

МЕСТНЫЕ ПРОХИНДЕИ

Восемь километров по раскисшей тропе, три перехода через разливаемые ручьи (ни дна им, ни покрышки!) — я, конечно, устал с непривычки. Пододвинув табуретку, уселся напротив русской печи. Язычки пламени быстро схватывали бересту, дымок, свиваясь в кольца, привычно пополз в тягу — и выступил из тьмы вымороженный печной под, простреливаемый искрами. Напитываясь жаром, очаг понемногу отдавал свое тепло бревенчатым стенам, постелям и вытягивал сырые запахи, застоявшиеся за полгода моего отсутствия. Подумалось, что хорошо бы поставить чайник на огонь, почистить картошку и открыть консервы, но в это время хлопнула входная дверь.

— Живой кто есть?

Именно этой фразой встречал меня совсем недавно Василий Егорович Иванов, мой дружок деревенский, закадычный частушечник и певец чувствительных баллад о неразделенной любви. По знанию всяких историй, быличек и небылиц Егорыч мог дать фору любому краснобаю. Кавалер трех боевых орденов и пяти медалей, единственный из знакомых мне солдат-ветеранов, кто прошел всю войну (аж с 22 июня), не получив ни единого ранения. И хотя я писал, что люди, подобные Егорычу, «не болеют, не дряхлеют, не чахнут и доживают до глубокой старости; их высохшая плоть, перевитая жилами, долговечнее камня», вот уже полтора года Иванов лежит на Голубинском кладбище под могильным холмом с обелиском из черного лабрадора.

...На пороге — два обалдья-бездельника, брат и сестра, жители подмосковного Чкаловского. Почти каждое лето они поступают на иждивение тетки Лизы Мухановой, когда вдрызг пропьются и их вытурят с очередной работы. Теперь это называется «доить предков»: племянники шастают по Лизиним сундукам и затайкам, хватают, что плохо припрятано, и потом неделю гужуются без зазрения совести с такими же, как они, прохиндеями на фоне одинокой старости. Появление их в деревне означает для нас, дачников, что мухановская изба будет круглые сутки звенеть от магнитофонного грохота и мата, соседи ночью станут затыкать уши и бросаться на стены, а овцы — кашлять и терять в весе. Но даже если и не будет никакого застолья, что проку от этих теней замогильных, все равно работать не станут...

Почему они появились у меня? Вопрос этот может задать только нерусский человек, некомпанейский и обязательно непьющий... Обалдуи еще не успели раскрыть рты, а уже услышали: денег нет, выпить нечего, так что гуляйте, ребята! Но они, конечно же, не поверили мне, ибо что это за мужик, который едет в бог знает какую тмутаракань, не прихватив с собой продолговатой округлости сосуд стеклянного происхождения.

ПРОШЛОЕ ПРОШЛО!

В 1928 году село Ряполово (тогда еще село) упоминалось в постановлении ВЦИКа под личной подписью М. И. Калинина, а жителей на ту пору насчитывалось: «мужчин 103, женщин 131». И вдруг взметнуло их на крутом повороте. «Умные разбежались, а дураки тут остались. Вот я первый дурак и есть, — ухмыляясь, говорил Василий Егорович, когда речь заходила о прошлом. — Но ничего... сопим еще в обе дырки».

Егорыч мог часами расписывать мне лавку-магазин купца Грызлова, что стоял когда-то в десяти шагах от моего дома. По словам старика, нэпман-торгаш выкладывал на прилавок икру черную и красную трех сортов, семгу, севрюгу, колбасу медвежью, языковую, копченую «Столичную», полукопченую «Краковскую», желтовато-белые тушки гусей, уток, кур, куски малосольного сала с чесночной заправкой. Головки сахара высились на полках, как стога. В банке со сметаной столовая ложка держалась без всякой опоры. «Осенней скуки друг», водочка переливалась всеми цветами радуги в пузатых бутылках.

Пятьдесят ряполовских домов и прежде жили вполне сносно, а тут в середине 20-х мужика словно прорвало: кто кого обскачет по производству ржи, овса, мяса, молока, льна. У Черного омута, что на речке Мезе, где любил охотиться поэт Некрасов, встала водяная мельница. Волостной староста Павел Федорович Федоров бросил клич, и ряполовцы сообща построили начальную школу, отремонтировали церковь Рождества Богородицы. Большой медный колокол, отлитый на деньги местных прихожан, благовестом гудел на десятки верст. Оборотистый мужик Василий Иванович Харламов основал колбасную фабричку и за год с небольшим завалил своим сырокопченым товаром не только ближайшие села, но и саму Кострому. А сколько здесь было своих кузнецов, пекарей, кондитеров, маслоделов, сыроделов, бондарей, пасечников! Жил в Ряполове даже свой доморощенный нищий, Крылов Иван Никифорович, по всем статьям истый богомол, собиравший копейки для восстановления костромских храмов. Но у себя в округе он не побирался, потому как гордость не позволяла...

Образцом сытости и благополучия подошло Ряполово к весне 1930 года, когда по соседству, в Абросьеве, начал раздувать пары бедняцкий колхоз «Броневик» с двумя десятками зычных глоток и парой тощих коров. А с другого фланга, из Михайловского, соловьем разливался «Боевик», заманивая доверчивых селян в свой коллективистский рай. И не устояло Ряполово перед таким соблазном, сдалось на милость большевикам и стало называться «Новой жизнью».

Между прочим, в коллективизацию мужиков загоняли не только страхом и лживыми посулами, очень многие шли сами, без принуждения — со своим скотом, домашним скарбом, с задорной частушкой под разливы гармошки. (Но пели в Ряполове и другие частушки: «Ленин, Сталин и Калинин — первые вредители. Ехал дедушка с навозом — и того обидели». Или: «Кабы не было б морозу, не было б и холоду. Кабы не было колхозу, не было б и голоду».) Откуда ни возьмись объявились в деревне собственные активисты, понаехали уполномоченные всяких мастей и калибров, закрыли лавку, колбасную фабричку, сырзавод. Заодно прикрыли и зубастую газетку «Борона», выпуск которой только-только наладил волостной староста Федоров, вскоре угодивший в лапы ОГПУ. И началось...

АЛЕХА-ОБЛИЧИТЕЛЬ

Копаясь у себя на повети в груде старья, оставшегося от бог весть каких времен, я случайно наткнулся на желтоватые, ломкие листочки с полувыцветшим текстом, вырванные из ученической тетради в косую линейку. По всей видимости, это был черновик письма, адресованного в

высшие инстанции. О чем же размышлял ряполовский летописец Алексей Харлампиевич Харламов по прозвищу Алеха-безжопый, строитель и хозяин ныне принадлежащего мне пятистенка?

«Наломала ты с нами дров, товарищ вэ-ка-пэ-бэ. Хочешь с нами в дурачка сыграть в последний раз и чтоб карманы набить за чужой счет? А кто кормить тебя будет, думала? Мы хоть дураки дураками, а разбираемся с лаптем. Плохого Бога и телята лижут, а вы, партейцы, своего боженьку за ноженьку — да и об пол бряк... Грабеж и разорение — вот и вся ваша власть, уничтожение невинных семейств. А кто посылает вам хлеб, молоко, мясо, племенных жеребцов? Нешто без нас обойдетесь или на нищие колхозы надеетесь?.. Ты, товарищ партия, сиди уж лучше в своих креслах и ешь, покуда тебя кормят, а на чужой каравай рта не разевай...»

Я не застал в живых Алексея Харлампиевича. Ни в каких народных легендах не прославленного, ни в каких церковных святцах не записанного — но подлинного мученика за идею. Я даже не знаю, послал ли он свое письмо наверх и какие выводы там сделали. Самое интересное, что его не тронули. Видимо, система ВКП(б) дала осечку. А ведь мужик был, по словам Василия Егоровича, «шебутной и крикучий», все куда-то рвался, все к чему-то призывал — и всюду стремился быть первым, «хоть на ленивом мерине, но впереди». (Не отсюда ли и его прозвище?) На всех сходках и собраниях не было старику равных в споре. Хотя к концу жизни, измороженный, изрядно натерпевшийся от колхозных баронов, замкнулся в себе и потерял вкус к словесным баталиям. Умер Алексей Харлампиевич на девяносто третьем году, а в восемьдесят, говорят, еще ходил в Кострому пешком — полста верст туда и обратно.

«ЖИВЕМ КАК ЗАЙЦЫ НА ОСТРОВЕ»

Давно уже смолкли в Ряполове детские голоса, тропинки между домами затянуло гусиной травой. На окраине деревни в зарослях бурьяна валяются полиэтиленовые мешки с окаменевшими удобрениями, бочки из-под солярки, ржавые скелеты комбайнов и тракторов, оставшиеся от эпохи развитого социализма. Василий Егорыч когда-то шутил: если собрать весь ряполовский металлолом и отправить на переплавку, крупнейшая в Европе домна Череповецкого комбината могла бы работать как минимум сутки. А сколько у нас таких деревень?

«Живем как зайцы на острове», — говорит баба Лиза Муханова, семидесятилетняга бобылка, более сорока лет, от звонка до звонка, отработавшая в колхозе. И хотя все годы, что мы знакомы, она постоянно жалуется и канючит, что «жисть хуже некуда», однако хозяйство свое содержит на диво справно и «всего у нее до горла» (Егорыч). Сама-то росточка махонького и на вид болезная, вся черная от солнца, а голос такой трубный, раскатистый. Бывало, собираешь грибы в лесу, полная тишина — и вдруг наплывы Лизино крика: то ли овец кличет, то ли с Васей Ивановым ругается. Одно слово, бой-баба! Ее как ни умасливай, как ни подслащивай, а если начнет говорить — хоть стой, хоть падай, ибо захлестнет тебя несметный поток слов-самородков из золотого запасника отечества. («Ты чё прешь на клубнику-то, сатана?!» — это она стыдит лебеду, сурепку и прочее дурнотравье, а свою корову называет не иначе как «зечка», так как куплена она в подсобном хозяйстве ИТЛ общего режима Костромского УВД.)

Баба Лиза работает так, словно назавтра обещаны потоп или светопреобразование, и если она не успеет закончить свою прополку или окучивание, то ее расстреляют уже сегодня. Другой так водку любит, как она работу. К пьяницам же относится с осатанелой ненавистью, тут ее голос возвышается до пророческого накала, а язык заводит в такие глубины «великого, могучего» и такие потроха выворачивает наружу, что боже ты мой...

Пока высоколобые витии бьются над разгадкой русской души, а депутаты Госдумы (предварительно плотно пообедав) кричат о «глубоком обнищании крестьянства», Елизавету Васильевну Муханову мучит неразрешимый вопрос — стоит ли ей добиваться законного пая и дивидендов после ликвидации колхоза имени XX Партсъезда или ну их куда подальше. Она хоть и ждет милостей от родного государства, чешет в ожидании не слишком образованный затылок, однако верит прежде всего себе самой. Потому и взяла дело обеспечения в собственные руки. Получается совсем неплохо.

Но одной ей, конечно, не управиться. Поэтому ранней весной приезжает на подмогу сестра, еще кой-какой народец подваливает. Хозяйство у Лизы немаленькое: корова, телка, череда (12 голов) овец во главе с передовым бараном Ромкой, десятка полтора курей, фруктовый сад, два огорода, пасека и гектаров пять сенокосных угодий. Это не считая оручего, но не кусачего пса Томика и двенадцати кошек и котят, которые регулируют мышинное поголовье.

Я покупаю у Мухановой молоко и сметану по смехотворной цене, иногда яйца и творог. Яблоки и кабачки она отдает мне задаром, а по престольным праздникам угощает еще пирогами с малиной и черникой. Баба Лиза могла бы запросто расширить владения, ничто ей не мешает: ни сельская администрация, ни налоговая инспекция, ни завистливое подглядывание соседей. Но есть нечто общее, что роднит ее с другими сельскими пенсионерами, которые отплыли от одного берега — колхоза, а к другому — личной собственности — пристать не сумели.

Вспоминаю Василия Егоровича образца девяностого года, когда он собрался продавать Вертушку: на ее молоке выросли мои дети. Но всему когда-нибудь приходит конец — состарилась королева Вертушка. Старик готов был отвезти ее на животноводческий комплекс за восемь километров, обещали заплатить половину магазинной цены за килограмм живого веса.

— Так мало?! — возмутился я тогда. — Это же грабеж среди бела дня!

— А чё делать-то? — обреченно выговорил Егорыч. — Хлеб и мясо от Бога, а плата за них — от дьявола. Так что вот...

— Будем торговать сами! — распорядился я за него, хотя не имел на это никакого права. — Что такое шашлык — знаешь? — Слышать-то он слышал и даже видал, как его зять Андрей едал. — Очень выгодное и ходовое блюдо. Водители-дальнобойщики берут его на ура. Сто граммов шашлыка — два с полтиной. — Примерная цена 1990 года. — Кусок хлеба — бесплатно. Один день торговли у тракта Кострома — Буй — и две тыщи у тебя в кармане.

У старика загорелся кошачий огонь в глазах. Но это длилось какое-то мгновение.

— Дак ить это... едрит твоя муха... мне нельзя. Я здешний...

Всю жизнь он никогда ничем не торговал. Даже представить себе не мог, что можно встать у обочины шоссе, облачившись в белый халат, и кричать во всю ивановскую: «Шашлык! Берите дешевый шашлык!» Что подумают о нем в Кузнецове, Михайловском, Абросьеве, что скажет громкоголосая бабка Муханова? Позору не оберешься и вовек не отмоешься от наждачного язычка ряполовской кумушки.

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

Лет тридцать назад, плутая по заволжским лесам, в нашу деревню забрел художник Герман Комаров. Понравилось ему Ряполово: место открытое, удобное, картинное. Куда ни посмотришь — всюду лес, река, медоносные луга. Не долго думая, купил избу за 150 рэ и стал жить здесь с семьей до самых холодов.

Так начиналась наша московская дачная колония.

Спустя пять лет Герман привел меня, потом Валентину Петровну Андрианову, я в свою очередь позвал супругов Лазаренко и Татьяну Васильевну Браткову с мужем Леонидом Андреевичем, которые поселились в соседнем Абросьеве. Так и живем, кто три, кто шесть месяцев в году. Копаемся на своих десяти сотках, варим, сушим, маринуем, солим, замораживаем на зиму ряполовские дары природы. Одним словом, каждая птичка своим носиком кормится. Если поначалу, чуть что не так, бежали за советом к бабе Лизе или Егорычу, то потом они сами стали прибегать к нашей помощи. Я, конечно, не в счет, а вот Комаровы, Лазаренки и Браткова с мужем стали — не побоюсь этого слова — подлинными зубрами овощеводства, цветоводства и ягоdnичества. (Не уверен, есть ли такой термин.)

Вокруг комаровской усадьбы настоящий английский газон — ковер из плотной изумрудной травы. На фоне увядающей деревни, поросшей сорняками, владения Гали Комаровой — будто с другой планеты. Здесь растет даже экзотическое фейхоа... Анатолию Лазаренко тоже есть чем похвастаться. Три стебелька ремонтантной малины, что он привез из Москвы, три веточки небывалого морозоустойчивого сорта, которые спустя два года принесли неслыханный урожай ягод, стали тем авансом доверия, который распространился и на всех нас, дачников. А ведь поначалу никто из местных и слышать не хотел «об эфтом ремонтане»: зачем лишние хлопоты, когда в лесу и так малины навалом? Теперь этот сорт заполонил все приусадебные участки, и даже малOVERка Лиза не может ему нарадоваться...

Татьяна Браткова, автор многих публикаций в толстых и тонких журналах, ехала сюда с единственной целью: «чтобы встречать рассветы и провожать закаты», а в перерыве заниматься литературным трудом. О том, что она, светская дама, станет закадычной огородницей, «земляным червем», никто не мог предположить, даже муж. Глядя на ее наманикюренные пальчики, думалось, что Таня в лучшем случае разобьет цветочную грядку под окнами. Но власть земли вкупе с родительскими генами делает с нами что хочет. Это не мной замечено. Впрочем, говорить о том, как выглядит сейчас братковский огород, нет никакой необходимости.

Лучше я перечислю запас произведенных ею продуктов, предназначенных на вывоз в Москву. 60 трехлитровых банок соленых и маринованных огурцов, помидоров, патиссонов, 3 ведра соленых и 2 килограмма сушеных белых грибов, 2 таза клюквы, 110 кабачков и тыкв, 12 трехлитровых банок варенья, повидла и джема (клубника, малина, смородина, крыжовник, черника, черноплодка), несчитанное количество сушеной моркови, свеклы, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, базилика, 2 мешка картошки. (Между прочим, почти половина этого «творчества» предназначена друзьям и подружкам, многочисленному племени гостей, до которых Таня большая охотница...)

Я тоже могу кое-чем похвастаться, однако чувствую себя в этой дачной компании как лопушок в долине роз. Как говорил Егорыч: «При настоящем мастере у подмастерья всегда руки трясутся». Поэтому стараюсь помалкивать и наматывать на ус, когда при мне заводят сельскохозяйственные разговоры.

Представляя меня своим приятельницам, регулярно наезжающим из столицы, Браткова обычно говорит:

— Знакомьтесь, выдающийся селекционер-мичуринец. Мастер по выращиванию особо стойких сортов... — здесь она делает выразительную паузу — ...крапивы, бурьяна, чертополоха и прочих жизнелюбивых злаков...

Все смеются, и я смеюсь вместе со всеми. Обидно? Да нет. Наоборот, я даже готов подыграть ей:

— Действительно, что-то у меня нелады с растениеводством. Все, решено и подписано: переключаюсь на животноводство. Буду выращивать крыс, мышей и тараканов...

МАРЕСЬЕВ. ДА НЕ ТОТ!

Есть такой фантастический рассказ. Не помню, к сожалению, фамилии автора и всех сюжетных подробностей, но за смысл ручаюсь. Ученый-биолог, проводя очередной эксперимент, разглядывает в микроскоп шустрого микроба. Тот тоже смотрит на человека и в крайнем раздражении вопрошает: «Чего тебе надо? Ты кто такой?» Биолог, растерявшись, начинает перебирать разные варианты ответа: я, мол, известный ученый, семейный, непьющий, член КПСС и все такое. Чувствует при этом, что несет ахинею, путается в словах и краснеет. «Вот то-то же! — по-родительски отчитывает его микроб. — В себе разобраться не можешь, а к другим в душу лезешь...»

Не хочу лукавить, но что-то похожее испытал и я, когда много лет назад попытался «влезть в душу» Толи Панова по прозвищу Маресьев. Не укладывался он под общий знаменатель! И так к нему подходил, и эдак — и напрямик, и окольными путями, и с подковыркой. А он смотрел на меня холодно и отчужденно, лишь глазами давая понять, что я вторгаюсь в личную, закрытую для посторонних сферу его жизни.

Вроде разговорчивый человек Толя Панов и характером вполне компанейский, на внешность — ну прямо член палаты лордов. (Редко, очень редко рождаются среди корявой народности эдакие красавцы аристократы.) Внук знаменитого ряполовского мастера Харламова, что владел особыми секретами приготовления сырокопченой колбасы... Да, но при чем тут «Маресьев»?

У древних греков существовало по крайней мере шесть легенд о том, как Тесей убил Минотавра, а мы знаем только одну. Что же в таком случае говорить о деревенской истории, которая насквозь пропитана мифологией? Я бы очень хотел, чтобы случай, о котором сейчас расскажу, был бы очищен от всяких слухов и вымыслов. Но там, где они борются со здравым смыслом и не хотят слиться с истиной, я заранее рассчитываю на снисходительность читателя.

Короче говоря, набрался Панов «под Октябрьскую» на колхозном активе, но показалось мало. Случилось это почти сорок лет назад, когда Анатолий подавал надежды как первый тракторист и первый пахарь колхоза имени XX Партсъезда. Были уже подготовлены документы для представления его к ордену Трудового Красного Знамени... Ходил Толя по знакомым, стучал в двери — может, кто нальет стопочку? И не заметил, как оказался в открытом поле. Человек давно не пил, ослабел, упал — и заснул, замерз. Подобрали его уже на следующее утро. Что это, расейская дурость, расхристанность? Тут просятся выражения похлеще: жизнь плохо оберегает молодых людей, то и дело норвящих по собственной воле сплавить себя на тот свет. Результат: ампутированная нога и восемь пальцев на руках.

Как жить после этого? После деревенской славы и деревенской зависти! Чем заняться тридцатилетнему инвалиду и несостоявшемуся орденосцу? А ведь на руках еще двое ребятишек и долги за квартиру. И немые укоры жены, хохот приятелей-собутельников, приклеивших ему кличку «Маресьев».

Все пришлось начинать с нуля: держать ложку, топить печку, ходить, извиняюсь, в туалет... колоть, копать, чинить, прикуривать, наконец. Крестьянская жизнь не признает увечий: кряхти да гнись, а упрешься — переломишься. Как гласит народное присловье: «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья — потерплю и я».

Но Толя не ограничился одним только терпением и освоил массу новых мужских и женских обязанностей, особенно после смерти Жени, синоккой супруги. Теперь это хозяин — будь здоров! Огород вскопать, печку сложить, сарай соорудить — пожалуйста! Рыбы наловить, обед приготовить, постирать, погладить белье, обувь починить — да ради бога!

Однажды я видел, как, обвязавшись кожаными фартуком, Панов уселся за гончарный круг. Он коснулся глины, и два его пальца, почував привычную сырость, вдруг запели, забегали, как живые зрячие механизмы, и глина ответила им взаимностью... А как он носится на велосипеде — и пером не описать! «Анатолий в друзьях у всех дачников, полюбивших его за редчайшее жизнелюбие и доброжелательность, — писала год назад газета „Версты“. — А еще за то, что всегда готов слетать в далекий от Ряполова магазин. По мнению художника Комарова, Толя даже превзошел „того самого“ Маресьева: с одной ногой по лесным колдобинам на разбитом велосипеде — такое „ралли“ никому другому не одолеть».

Я пришел к Панову прошлой осенью накануне отъезда: одолжи, друг, лестницу, чтобы снять со столба фонарь.

— А зачем тебе лестница? — удивился Анатолий. — Лучше возьми «когти».

Я развел руками: извини, мол, не умею пользоваться этой штуковиной.

— А я на что? — мигом отреагировал Панов.

Он взмыл по столбу, как ящерица, а лучше сказать — как обезьяна. Шестидесятидевятилетний старик, «английский лорд», одноногий инвалид — только протез поскрипывал.

Через пару минут я уже держал этот фонарь в руках.

ВОРУЙ, НО НЕ ПОПАДАЙСЯ!

До Кузнецова, где мы платим налоги, восемь километров, до Михайловского — три с половиной. Но Михайловское — это уже другой район, и там мы считаемся чужаками. Тем не менее по вторникам, четвергам и субботам, в хлебные дни, когда завозят товар, на лесной тропе выстраивается целый выводок ряполовских ходоков.

Населенный пункт Михайловское дышит бензиновой гарью, озвучивается треском мотоциклов и ревом циркулярной пилы с местной пилорамы. Михайловское вызывает в памяти десятки поселений, какие не раз доводилось видеть в срединной России. Вроде бы не поселок, не деревня, не агрогород, а так — какое-то непонятное пристанище. Как это у поэта? «Околица, родная, что случилось? Окраина, куда нас занесло? И города из нас не получилось, и навсегда утрачено село».

Две длинные улицы с аккуратными домами-коттеджами, приличный детский садик, школа-долгострой, двухэтажное здание правления СХК «Боевик», три продмага и хлебный ларек (выбор продуктов не хуже, чем в Москве). По окраинам — пенные разливы бурого месива, взбаламученного тракторами, которые летом превращаются в неодолимую каменную преграду. Может быть, для кого-то Михайловское удобно для жилья и по нынешним меркам вполне современно, но я чувствую себя здесь нежеланным гостем и, выйдя из магазина, спешу на родную тропу.

Основа здешнего населения — приезжие, которые по тем или иным причинам покинули родные края. Новоселам устроили нечто вроде экзамена, кто на что способен, нет ли среди них отъявленных пьяниц или лодырей, предпочтение отдавали специалистам широкого профиля. Одни пустили прочные корни, обустроились с прицелом на детей и внуков, благо жилье получили незамедлительно. Другие остановились как бы переждать жизненную непогоду или семейную драму, чтобы отдохнуть перед рывком в другие, звонкие и изобильные, края — да так и застряли здесь на долгие годы.

Жалко смотреть на этих людей. Застой, апатия, унылое увядание сквозят в их глазах. Словно отбывают жизнь как тяжелое наказание. Иногда пускаются в разгул, залезают в долги, лишаются работы в сельхозкооперативе и, накачав глотку, по-черному клянут власть. У них, конечно, есть резон быть недовольными президентом, правительством, Госдумой и здешним ру-

ководителем товарищем Голубковым Е. А. Но большинство никак не хочет признать, что оно тоже виновато в том, что дошло до ручки.

Очень многие спят и видят, чтобы «выйти из стада», попробовать себя в самостоятельном хозяйствовании, но и кооператив боятся потерять. Какая-никакая, а все же защита, поддержка! Хотя, случается, по два-три мешка в «Боевике» не выплачивается зарплата... Другие взяли себе за правило ни во что не вмешиваться, ни во что не вникать: день да ночь — сутки прочь. Иногда даже бахвалятся: хоть и бедно живем, зато все вместе, коллективом — нас не трожь, и мы тебя в обиду не дадим. Люди такого сорта всегда найдут себе хороший приварок к заработку или пенсии, а точнее говоря — подберут, что плохо лежит. Еще точнее — все домой тащат, что подвернется под руку. Доски, запчасти, инструмент, сено, зерно, комбикорма. Запас карман не тянет, авось да пригодится! И при этом самые языкастые всегда найдут себе оправдание.

— Какие ж мы воры, чужак человек? — как-то разливался передо мной в легком подпитии бывший бригадир «Боевика», а ныне свежеепеченный пенсионер с воловьими ручищами, кровь с молоком. — Воры тащат чужое, в чужой дом залезают, как, к примеру, в твой. А мы ежли и возьмем чего — дак свое.

— А не путаешь ли ты свое добро с колхозным, то есть с кооперативным? — поддел я его.

— Ежли и путаем, дак и что? — Бывший бригадир смотрел на меня весело и задорно, ни один мускул не дрогнул на его румянном лице. — Колхоз нас годами тиранил, колхоз нам недоплачивал, так. Ежли мы и возьмем маленько, ему от этого не убудет... Это как бы компенсация за грошовую пенсию, понял? — нашел он вдруг сильный аргумент. — Один фраер-начальник так прямо и говорит: я сам цыган и другим цыганить не мешаю. Только не попадайтесь!

— Ну а если все же попадетесь? — не отставал я.

— Да ни в жисть! — засмеялся он и махнул в мою сторону рукой: мол, чего разговаривать с таким бестолковым. — Это только бабы-дуры попадают, которые без понятий. Одну тут давеча на току застукали — в сапоги себе зерна насыпала. Это, значит, чтоб курей своих подкормить. Дак начальник в голос: тебя надо под суд отдать! А она как начала причитать, и все про голодных ребятишек, такой вой подняла! Начальство и не радо было, что связалось...

ВЫШЛИ ТЕЛКИ ИЗ ЛЕСА...

Целый вечер слушал, как соседские бабки с ехидным азартом обсуждали последнюю деревенскую новость.

А случилось вот что. Недели три назад пропали два телка из кооперативного стада. Паслись в лесу, заблудились — и с концами. Видать, пастух виноват: либо проспал, либо долго опохмелялся. И произошло это «чепе» в самый разгар отчетной кампании. Что делать, как выкручиваться? Ведь начальству пора сводки везти в район. Сколько могли, столько тянули: может, еще отыщутся, сердешные. А уж как сроки поджимать стали, поняло начальство: виновных искать — дохлый номер, надо самим что-то придумать, надо с цифирью поработать...

Запрягли в работу бухгалтера. Крутили, вертели отчетность и так и эдак, с щеки на щеку разные статьи расходов перекладывали, две ночи не спали — выкрутились. И по сводкам вышло, что этих двух телков как бы и не существовало в природе. Съездило начальство в райцентр, отчиталось по всем статьям и забыло эту историю.

А тут — здрасте-пожалуйста! — выходят эти телки из леса. Прошлись фертом по всей деревне, показали сытые бока в комариных укусах — и на скотный двор. А там с них прописку-то сняли! Ревут телки как оглашен-

ные, домой просятся. Что делать-то, опять отчетность портят! Чем ему теперь крыть, начальству-то? И перед народом стыдно, и перед губернскими чинами ответ держать. А главное — как их снова в цифирь вогнать?..

ПАМЯТИ АНДРЕЯ СЕЛИВЕРСТОВИЧА

У ученых-диалектологов бытует такой термин — билингвы. Иначе говоря, «двуязычники». Это люди, одинаково хорошо владеющие и деревенским говором, и нормами литературного языка. Они, как и все сельчане, смотрят телевизор, читают газеты, но в беседах с диалектологами пытаются во что бы то ни стало избавиться от словечек родного говора, расценивая свою речь как «нечистую», более низкого сорта, — в особенности если они приехали в город. Очень уж стараются, чтобы из их уст не выскочила какая-нибудь «деревенская заскоружлость». Не знаю только, выигрывает ли от этого их речь? Однако с домочадцами им и в голову не придет говорить так, как с учеными.

Но билингвизм, то есть двуязычие, а если хотите, и двоемыслие, проявляется не только при собирании диалектов... Моя соседка Павлина Андреевна, вполне разумная женщина, способная к мудрым решениям, до самозабвения любит президента («До чего человек-то хороший — Путин-от Володимер Володимеревоц!»). Однако в раздраженном состоянии способна вlepить ему такую словесную оплеуху, не стесняясь присутствующих, что впору задуматься о применении пресловутой 58-й статьи, пункт 10 (анти-советская агитация). Особенно если в михайловском продмаге в очередной раз повысили цены на хлеб.

Она напоминает мне своего отца, царство ему небесное. Бухгалтер Андрей Селиверстович всю жизнь слепо шел в фарватере партии, каждый день чуть ли не конспектировал передовую «Правды» и, выступая на колхозном активе, клеймил частнособственнические настроения. Свято блюл все партийно-советские праздники, за что получил нелестную кличку — Попка... Но вот пришла перестройка — и что куда подевалось. Когда бухгалтер узнал, что новая власть вроде как собирается ввести прежние порядки — то есть нэповские, — стал судорожно вспоминать, что забрали у его семьи в 1930 году проклятые коммуняки: 12 овец, быка, 2 коров (куррей не тронули, за что он бесконечно благодарен Советам), 2 телеги, сани, лошадь, 8 ульев, комод старинной работы, 12 шелковых платьев, 3 кашемировых платка, ковер, 18 кубов наколотых дров и серебряную уздечку великоустюжской работы. Когда подсчитал, какое богатство светит ему на старости лет, если возместят убытки, Андрей Селиверстович не поверил своему счастью и от преждевременной радости скончался.

СТРАСТИ ПО ВЛАСТИ

Не перестаю удивляться тому, как здешнее население относится к власти, особенно накануне выборов. С одной стороны, власть признают все — поголовно и безоговорочно, когда она выступает в роли некоего безличного механизма. А с другой — ее лягает каждый, кому не лень, если она воплощается в конкретного человека. Бездна оттенков жизни текучей, переменчивой порождает бездну мнений, суждений, неадекватных поступков.

Вот баба Лиза Муханова. Увидела однажды, как по свежей пашне расхаживает кавалькада хорошо одетых господ. Рядом, у обочины, приткнулись их джипы и «мерседесы». Еще не разобравшись, в чем дело, Лиза с диким воплем, на раздутых парусах понеслась навстречу благонамеренной свите с губернатором Шершунным во главе. Ох, что тут началось! На втором русском языке бабка честила «его превосходительство», воздавая сторицей за все содеянное, и не жалела красок. Никакого чинопочитания! Будто это не она, а он ходил у нее в подчиненных. Досталось и за «балах-

рыстов» водителей, что заехали на пашню, где только-только высеяли овес; и за пустующие, заросшие «нежитью поганой» крестьянские уголья, где прежде росли лен и жито; и за так называемых «графских лежней» (лентяев), которых давно пора «с тычка на тычок положить» (устроить хорошую взбучку), а то ведь большущие деньги получают, а толку — «шиш да маленько»... Многие припомнила Шершунову бесстрашная баба Лиза — тот только кряхтел да поеживался...

А вернувшись в деревню, она рассказывала о губернаторе: «Уж и человек хороший! Уж и наговорила я с им! Нать ему рукавички связать...» Чем он расположил старуху, ума не приложу, этот малоприятный в общении субъект?

Вот так же в 1996 году удивил меня и Василий Егорович Иванов, заявив, что будет голосовать за Жириновского. За что, за какие такие посулы, заслуги? «За крестьянство выступает, — сказал Егорыч серьезно. — Чтоб мужику жилось как следует быть. Чтоб мужик-от человеком стал. Вот он каков, Жириновска-то!» Эту мысль ему, вероятно, подкинул кто-то из «несгибаемых ленинцев», сбжавших в свое время из лона КПСС. Сколько же пришлось сломать копий и выпить голландского спирта марки «Роял», чтобы переубедить доверчивого селянина!

Помнится, в деревенском дневнике М. М. Пришвина за 1924 год тоже говорилось о том, что мужики-де скопом пойдут за Троцким. Объясняется это тем, считал писатель, что они вообще настроены против власти, а потому им кажется, что всякий, кто критикует власть, непременно выступает за мужика...

ЧЕСТНАЯ ДЕВУШКА ШУРА

У каждой окрестной деревеньки своя диковинка, своя особая отличка: то говором, то норовом, то ремеслом, то забавным анекдотом из незапамятных времен. А еще нередко то или иное селение ассоциируется с проживающей в нем личностью. Например, стоит кому-нибудь в разговоре упомянуть Ряполово, первым делом вспоминают Егорыча или бабу Лизу Муханову. По части выпивки старик был великий мастак, а по исполнительскому мастерству — первый тенор на деревне. Лиза же, помимо громкоголосия, могла похвастаться невероятной осведомленностью обо всем, что творится в грешном мире и в каждой семье в отдельности. Если завтра где-нибудь вспыхивал пожар, то старуха знала об этом уже сегодня...

Ну а Лиходейки, крохотную лесную деревушку за Мезой-рекой, отличало редкостное радушие и хлебосольство. И жила там, как мне говорили, сельская дурочка Шура Никифорова, бобылка лет пятидесяти. Сам я ее раньше никогда не видел и вот столкнулся случайно с глазу на глаз в избе Прасковьи Федоровны Мячиной, когда той не было дома.

— Шурка меня зовут, Шурка, — с ходу представилась женщина. Голос ее был не тихий и не громкий, а какой-то бесцветный. Не вышла она и фигурой: то ли закоренелая сердечница, подумалось мне, то ли заплывший жиром даун. — Мне Боженька тут приснился. Сидит у постели и волосы мне гладит. Ла-а-сковый! «Ты, — говорит, — Лександра, оттого больна, что с мужиком не живешь. С мужиком те нать жить — все хворости пройдут». Что, не веришь? Вот те крест, святая икона!

Шура не отрываясь смотрела в мою сторону и все ближе и ближе двигала табуретку, на которой сидела.

— Зовут-то ты как? — Голос ее набирал силу.

— Олег.

— Алех?.. Так ты яврей али немец?

— Русский.

— Ру-у-скай?! — Сначала не поверила, а потом удивилась и обрадовалась. — А лет-то те сколько?

— Пятьдесят три, — сказал я. (Разговор был двенадцатилетней давности.)

— Пятьдесят три? Ух ты! — придвинулась с табуреткой еще ближе. — А мне, Алех, сорок годов скоро будет. Вот те крест, святая икона! Чтоб с места не сойти!.. Шурка меня зовут, Шурка... А мне ить пятьдесят дают, во как. Лицом я больно темная. А все потому, что с мужиком не живу. Я ведь, Алех, девушка...

Придвинулась совсем близко, коснулась ладонью моего колена, заглянула в лицо.

— Не больной, случайно?

— Да вот... насморк одолевает. — Я демонстративно зашмыгал носом.

— На-а-асморк? Дак это рази болесь? Дядька мой, Игнат, каку неделю соплями текет, и то ничё. — Шура смотрела на меня с надеждой и доверием. — Холостой небось?

— Нет. Я женат и трое детей.

— Ну-у-у?! — Она закипела от гнева, заерзала на табуретке, отодвигаясь и взмахивая руками, словно пыталась взлететь. — Ты бы хоть сапоги вытер, лиходеи! Вон каку грязь-то развел. Энтеллигенсия называется. Щас вот Прасковья придет, она те даст...

ГУМАНОИД НА ЛОШАДИ

Шел я прошлой осенью через лес — дело было на подходе к Ряполову. Птицы поют, раннее утро, и комаров нет — красота! Пейзаж дышал бблинной, первобытным непорочием — радуйся, смотри, думай! Сквозь сизый туман, чуть подсвеченный солнцем, увидел пасущееся стадо. И вдруг — густопсовая брань: матюк на матюке. Сначала подумал, что это пастух гневается на непутевую скотину. Раздвинул заросли кустарника... Нет, не коров ругал этот почтенного вида гуманоид в голубых джинсах и белых кроссовках. Сидя верхом на лошади и держа на весу какую-то замызганную книжонку, он напропалую шпарил рифмованную похабщину типа барковского «Луки Мудищева», но похлеще и позабористее. Понимаю, был бы еще недозрелый отрок, мучимый плотскими забавами, а то ведь седатый детинушка с есенинским пробором на голове — семья уж, поди, есть, взрослые дети. И вот он наслаждался словесной блевотиной, находясь наедине с собой и зная наверняка, что его никто не слышит... Залитый солнцем лес, паутинные тени на деревьях с застывшими каплями росы, праздничная перекличка птиц — и эти похабные пасторали на всю округу. Я бежал как от чумы...

«Ох, какие мы нежные! — слышу голос не слишком щепетильного читателя, поднаторевшего в житейских передрягах и, возможно, махнувшего на все рукой. — Между прочим, сам Александр Сергеевич чтит незабвенного Ивана Баркова. Русский мат — явление планетарное! В Средней Азии, на Кавказе приходилось бывать? Слышали тамошнюю речь? Говорят по-аварски, по-грузински, по-узбекски, а чуть разволновались и рассорились — сразу мать-перемать. Видно, в нашем языке сокрыты какие-то крайне притягательные зоны непристойности, злости, алчности, мести. И восточный человек, не в силах совладать с собой, прибегает к помощи русского мата... Вспомните: все великие стройки коммунизма плюс Асуанская плотина были построены в его сопровождении. Без ненормативной лексики остановились бы заводы, без нее мы лишились бы урожаев. Не будь горячего русского словца, сказанного вовремя и в масть, все валилось бы из рук. Как иначе можно договориться с человеком? *Второй русский язык* порой обладает таким же преимуществом, как боксерский прием...»

Наверное, он в чем-то прав, этот третий читатель.

СКАЖИ, ЕГОРЫЧ!

В этой связи снова вспоминается Иванов Василий Егорович, в прошлом пастух, скотник, бригадир, председатель колхозной ревизионной комиссии. Речь восьмидесятилетнего старика — это законченный театральный спектакль. С многозначительными паузами и покашливаниями, бурным нарастанием темпа, сверканием глаз из-под белых бровей — и никакого мата. Он крайне редко опускался до низкопробной матерщины и прибегал к ругани в самых исключительных случаях, когда в споре, казалось бы, все приемлемые аргументы исчерпаны и нужно сокрушить противника одним резким суворовским броском. И он совершал этот бросок в виде отточенного афоризма, после которого все хваталось за животы, а посрамленный уходил, громко хлопая дверью. «Хитрый Митрий: наклепал в штаны, а говорит „ржавчина“»; или: «Все люди как люди, а ты хрен на блюде. Тебе не районом править, а беременной блохой из порток дяди Кузи». (Кое-какие словечки я, естественно, заменил.)

Речь Егорыча жила в самом его дыхании, в его способе самовыражения, жила — пока она стихия, не зарегулированная правилами литературного языка, официозным косноязычием и матерным распутством окружающих его лиц из породы прибудных шоферов, трактористов и прочих представителей слабо развитой, но крепко пьющей страны. Таких, к примеру, как мой михайловский знакомец Генаха, который, как он сам признается, тяжелее стакана ничего в руки не берет.

Входя ко мне в избу, Генаха с ходу включает свой мат. Я требую «закрыть пасть» — жена все-таки рядом, внучка. Он растерянно хлопает глазами, тужится, пытается выстроить фразу типа «дай двадцатку на опохмелку», но, чувствуя свою беспомощность, плюется и жестом просит меня выйти на крыльцо. Здесь он облегчает душу с помощью обценной лексики... Любопытства ради я как-то подсчитал: в полутораминутной «взволнованной» Генахиной речи 12 раз встретились слова с корнем «муд», 18 раз — с корнем «б...дь», 23 раза с корнем на буквы «х» и «п»...

Сегодня все можно! «Живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман» (Гоголь), словно сорвался с нравственных якорей, и понесло его, горемычного, по самым мерзким закоулкам отеческой речи. Будто открылись невидимые шлюзы и отовсюду, из всех щелей и закоулков, выползли и поперли бесы. Как будто там, где был когда-то свет, все объялось тьмой. Вот и вышел язык из берегов, как река в половодье с ее опасными руслами, прижимами, с ее завихрениями и подводными течениями, несущими грязь, мусор, донную взвесь...

Но, с другой стороны, как можно жить и не ругаться, когда видишь агрессивных потомков древних людоедов, грубый цинизм полублатных книжонок про ментов и шалав, когда по ТВ гремит «музыка половая» и скачут с крестом на пузе патлатый Гарик Сукачев и хрипатая Маша Распутина, сверкая розовыми ягодицами...

Никогда не забуду бабушку Марину Трофимовну из Сафонова, самого дальнего селения в Архангельской области, где я прожил неделю, дожидаясь рейсового самолета. Каждое утро я прощался со старухой. Она провожала меня до ворот, крестила, по церемонному северному обычаю кланялась в пояс, и я отправлялся в аэропорт... Но... Через пять примерно часов возвращался обратно, потому что Ан-2 не пришел по причине нелетной погоды. Тот, кто побывал в моей шкуре, поймет: хоть сквозь землю провались! Но деваться-то некуда, вот и приходилось снова и снова тащиться через всю деревню и на следующее утро повторять весь этот тягчайший церемониал.

На четвертый день принял решение: все, баста, сколько можно переживать проволочку! Буду жить в аэропорту! Но вечером радист, уходивший с работы последним, пригласил к себе домой. «Спать будете в боковуше», — распорядился он. Мы уже сидели за ужином, мельком поглядывая в телевизор, как вдруг в дверях появилась разгневанная Марина Трофимовна.

— Что же ты, блндамед, позоришь меня... такой-сякой-разэтакий! — набросилась старуха. — Чё расселся-то, пошли домой! — И понесло ее, и понесло.

Она честила меня с непритворным материнским усердием, не обращая внимания на радиста: матюк погонял матюком и к матюку лепился. Но извлекала при этом такие перлы народного красноречия, такую *музыку* блатной фени, неизвестно где приобретенную, что я разинул рот... Пришлось собирать манатки и топтать на другой конец деревни, почти три километра по грязи. Мне-то что? А вот ей, Трофимовне, было далеко за семьдесят. И ее виртуозную ругань я до сих пор вспоминаю как выражение доброты самой высокой пробы.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

Странная все-таки деревня — Ряполово: здесь сороки лают, а вороны хрюкают. Зайцы по весне копаются на помойках, не обращая внимания на приехавших хозяев. Лиса, вся худющая, с ободранными боками, усаживается напротив моих окон и ждет, будто я ей вынесу поесть. Среди кабанов, оккупировавших все подходы к деревне, выделяется один громала, так называемый «псих». Увидев Лизу Муханову с вилами наперевес, он не только не убежал, а продолжал подрывать рылом вчера посаженную картошку. Вепрь огромный, с сединой и продольными бежевыми полосками на спине. Оручие пес Томик и баба Лиза бросились на него с флангов, но «псих» играючи отбил их атаку. И только когда подбежала вторая собака — Дымка, милое, тщедушное существо, вепрь с достоинством удалился.

А медведь, тот самый медведь, которого я встретил на тропе год назад, обнаглел настолько, что сломал изгородь и повалил два десятка ульев у Набатовых и Петрушевского. Потом залез в баню, выпотрошил мешок с известкой, приготовленной для ремонта, вывалялся в ней, как муха в сметане, и шел по деревне, чихая и облизываясь. Для его поимки приехала целая бригада охоттехников из Костромы. Лазила по кулигам и чащам, измеряла медвежьи следы, фотографировала, устроила диспут с участием местных жителей, выпила ящик водки, стреляла для потехи по воробьям и галкам, разругалась и уехала на мотоциклах в другие «медвежьеопасные» места. А мой дружок с дремучими зелеными глазками продолжает творить свое черное дело...

В сельской администрации все чаще раздаются голоса, что не удержаться, мол, Ряполову на плаву... В пример приводят Деревеньки, Борисовское, Ломки, Овсянниково, Миснево и другие близлежащие деревни, которые исчезли с лица земли кто раньше, кто чуть позже. По сути дела, дышат на ладан Федорово, Окулово, Юркино, Кусенево, и скоро там вообще не останется трудоспособных жителей... «Так что готовься, старик, — говорят приятели, навевываясь ко мне на рыбалку, — в одну из прекрасных весен ты приезжаешь в любимое Лукоморье — а на месте твоей усадьбы... вспаханное поле».

Я не верю в эти предсказания: сейчас даже пахать некому! Но при этом понимаю, что земля не терпит временных соглядатаев, ей подавай жильца с постоянной пропиской. Со своим хозяйством, техникой, скотом, с трезвым предпринимательским расчетом: чтобы работать прибыльно, на вывоз, и чтоб себе оставлять хороший приварок к семейному бюджету.

Сегодня такой хозяин, слава богу, отыскался — Валерий Гаврилович Петрушевский. Да он, собственно говоря, куда и не исчезал, просто до выхода на пенсию считался, как и мы, дачником. Вкальвал на своих грядках, расширял посевы, строил и ремонтировал сараи, хлевы, подклеты, улы.

У Валерия все давно продумано и просчитано: здесь будет птичник голлов на тридцать... чуть в сторону поставлю пчелиный домик... там обору-

дую клетки для кроликов... хлев для коровы и овец давно готов. Осталось только лошадь завести или, на худой конец, мотоцикл с коляской. И обязательно купить охотничье ружье...

Что-то носится в ряполовском воздухе, это точно, неуловимые толчки перемен ощущает деревня. Хотя по вечерам меня окружает почти необитаемая местность с вязкой, непроницаемой тишиной. Старая жирная ворона, которую я знаю, кажется, лет десять, уже не столько каркает, сколько хрипит и хрюкает. Должно быть, простудилась на сыром ветру. Если прислушаться, можно отчетливо различить не «кар-р-р», а именно «крах!»... «крах!»...

Какое будущее пророчит она нам?



ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН

*

ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

* *
*

Я четырнадцать лет в небольшом городке
Обретался на Севере (славное время!),
С рыбаками кутил, барбарисил и с теми,
Кто привык говорить на блатном языке.
С невысокой шатенкой слонялся в лесах,
Берегами Охотского всласть любовался,
Тосковал, с дураками напрасно ругался,
Видел небо седьмое в блистательных снах.
Я с Бореем базарил, как с лучшим кентом.
В пору жутких заносов, в простывшей квартире
Спать в одежде привык. Доверял тайны лире,
Соответствовал музам козырным стихом!
Я влюбился в края, где пожизненный срок
Знаменитая Сонька¹ мотала когда-то,
Где добром за добро мне платили ребята,
Где над белым собором кружился снежок.
Я не зря отмантулил четырнадцать лет,
Благодарствую, Господи, — классные годы.
Годы, годы — уплывшие вдаль пароходы,
Как однажды сказал одинокий поэт.

* *
*

Помнишь, музыканта хоронили?
После пили? Ну, конечно, пили,
Плакал тромбонист в кепчонке мятой,
А со шрамом, в кофте полосатой,
Матерился, добавляя: «Все мы
Не минуем этой грустной темы, —
И без перехода: — был покойный
Трепачом, а кларнетист достойный...»
Что-то бормотал трубач поддатый,
Самый старый лабух музбригады.

Чигрин Евгений Михайлович родился в 1961 году на Украине. Долгие годы жил на Сахалине, где публиковался во всех поэтических дальневосточных изданиях. Стихи печатались также в «Юности», в альманахах «День и Ночь» и «Арион», в «Антологии русского верлибра». Член ПЕН-клуба. С 2003 года живет в подмосковном Красногорске. Это его вторая нОВОМИРСКАЯ подборка (см. «Новый мир», 2003, № 1).

¹ Сонька Золотая Ручка — легендарная воровка.

Над столом тоскливое витало,
 Было и помянуто немало...
 Пили вечером в подвале жэка,
 Не прожил приятель и полвека,
 И сыграть решили музыканты,
 Похоронной музыки таланты.
 Как они душевно заиграли,
 Как они печали выдували,
 Лишь кларнета не хватало этим
 Музыки унылой взрослым детям...

* *
 *

По ухлопанной жизни поминки справлять я мастак,
 Сколько всякой фигни я в стишата зазря притаранил:
 Этот — Мышкин, тот — скурвился, а разудалый — дурак,
 Шайка-лейка, но с ними-то я и дружил-гужеванил.
 И теперь вам о них, как случается, так говорю,
 И как будто опять провожаю одну дорогую
 Я на поезд до Львова, а дело, кажись, к ноябрю,
 Ибо помнится: холод, листва под ногами, толкую
 Я о разном... о Кафке, о мистике, вот книгоед,
 Начитался, чудило, а девочка, помнишь, внимала.
 Ну, чего там теперь... не вернуть тот денечек, тот свет
 Затрапезного, в некой глубинке, пустого вокзала.
 Так о чем я? О жизни утерянной и о любви,
 О поре золотой, когда светлым мне все представлялось.
 Это было давно! Так что, знаешь, душа, — не реви,
 А трави свои байки, гоня и тоску, и усталость.

* *
 *

Сдается, с завтрашнего дня
 Другая жизнь найдет меня,
 Все приведет в порядок,
 А к старости — достаток.

Сдается, скоро будет так,
 Ведь не тюфяк и не дурак
 И котелок нормальный,
 Совсем не завиральный,

Другая жизнь, иная жизнь
 Мне шлет e-mail: крепись, держись,
 Ведь я уже в дороге,
 Почти что на пороге...

И так, и так — который год,
 Такой душевный колоброд,
 А лучше б — в дверь звоночек,
 Без всяких проволочек...

Неотправленное письмо

Приеду к вам, я скоро к вам приеду,
Наверное, во вторник или в среду,
Я доберусь сквозь морок и печали,
Какие б нас ни разделяли дали.

Я привезу гостинцев вам немало —
Янтарь, опал, волшебное зеркало,
Китайского лимонника три ветки,
О снах цветных последние заметки,

Приятеля рисунок «Блеск сапфира...»,
Записанный на пленку крик буксира,
И местных сочинителей сатиры,
И с берега морского сувениры...

Я помню ваши радости и слезы,
Присущие лишь вам слова и грезы,
И к ближним не угаснувшую жалость,
И ставшую морщинами усталость...

Приеду к вам, я скоро к вам приеду,
Наверное, во вторник или в среду,
А вот в каком году? — прикинуть сложно,
Но доберусь, и это — непреложно.

* *
*

Все настойчивее холод.
Старый дворик мрак привлек.
Неужели здесь я молод
Был? Как быстро этот срок

Отгорел, как то огнище,
Отзвучал, как та струна,
Что там дальше, гробовище,
Страсти Данте, тишина?..

Но зато острее слышу
Шестикрылых голоса,
Все сильнее от них завишу,
Постигая небеса.

* *
*

Потемнело... Говори о разном:
Славном, безуспешном, безобразном,
Как и я, вдыхай холодный воздух,
Взглядом задержись на первых звездах.
Не грустить, пожалуйста, старайся,

Если хочешь, к дому возвращайся,
Я еще пошляюсь в одиночку,
Неслучайную припомню строчку,
Вспомню тех, кто был со мною рядом,
Кто не спился, кто не сцапан адом,
Кто далече... Всяко-разно жили,
Многих не вчера похоронили...
Вспомяну, сливаясь с нашим мраком,
Тех, кто обретался не под флагом,
Тех, чья маза мне необходима,
То, что было некогда любимо...
Сколько громоздится за спиною!
Сколько нынче видится игрою
Из того, что мнилось важным крайне,
Что нередко нарождалось втайне.
О минувшем потоскую круто,
В этом духе не одна минута
Пропадет во тьме, и сам я тоже
Скоро стану прахом, так ведь, Боже...



АНДРЕЙ ЗУБОВ



РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРИЧИНАМИ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

Опыт восемнадцатого столетия

I

«**Р**аскол человеческого общества, — пишет Арнольд Тойнби, — <...> является опытом коллективным, а значит, искусственным. Значение его определяется тем, что относительно внутренних движений, происходящих в обществе, это — явление внешнее. Духовные процессы происходят в человеческой душе, ибо только Душа способна переживать человеческий опыт и откликаться на него духовным проявлением. Раскол в человеческой душе — это эпицентр раскола, который проявляется в общественной жизни. Поэтому, если мы хотим иметь более детальное представление о глубинной реальности, следует подробнее остановиться на расколе в человеческой душе»¹. За сто лет до Тойнби русский мыслитель Иван Киреевский выразил эту мысль одной фразой: «Под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все»². Эта мысль Тойнби и Киреевского — важнейший методологический принцип.

Русское общество пережило по крайней мере два глубоких раскола. Раскол петровский, начала XVIII века, и раскол большевицкий в XX столетии. И почти очевидно, что первый был причиной второго, а второй — реакцией на последствия первого.

Петр Великий совершил революцию с высоты трона. Традиционное течение русской жизни было круто и жестоко изменено. За бесчисленными преобразованиями первого русского Императора, изменившими все стороны национальной жизни от церковно-государственных отношений до кроя одежды и организации волосяного покрова лица, просматривается главная реформа, никогда не объявленная, но, как раз по Тойнби, одухотворявшая все его действия. Реформа эта — сознательное изменение аксиологии — целенаправленный переход от сотерии к эвдемонии, то есть от виденья предельной цели в достижении спасения и вечной божественной жизни к всецелой ориентации на максимальное благополучие в этом, временном мире. Эвдемонический идеал, оттесняя на второй план сотерию, *исподволь* стал развиваться в сердцах русских людей, в первую очередь — правящего класса, чуть ли не с XV столе-

Зубов Андрей Борисович (род. в 1952) — доктор исторических наук, профессор МГИМО (У) и Российского Православного университета во имя ап. Иоанна Богослова, автор пяти книг и более чем 180 статей по политологии, истории, государственному праву, религиоведению. Среди книг А. Б. Зубова — «Парламентская демократия и политическая традиция Востока» (М., 1990); «L'Eurasia del Nord: Il rischio del caos dopo l'impero sovietico» (Milano, 1994); «История религий. Религии доисторические и внеисторические» (М., 1997). Настоящая статья является фрагментом новой книги — «Размышления над русской историей», которая пишется при грантовой поддержке фонда Д. и К. МакАртуров.

¹ Тойнби А. Дж. Постигание истории. М., 1991, стр. 358.

² Киреевский И. В. Обозрение современного состояния литературы. — В его кн.: «Критика и эстетика». М., 1979, стр. 157.

тия. Но в сфере сознания сотерические цели продолжали главенствовать. Главенствовали они и в государственной идеологии. Первые Романовы сознавали свое служение как служение Богу ради православного народа. Бессмысленный и вредный с точки зрения реальной политики собор 1667 года и гонения на старообрядцев обретают смысл именно в контексте пусть и ошибочно понятого, но сотерического идеала: неправильное, не право-славное богопочитание погубит души людей, а потому заразу надо искоренять самыми жестокими методами.

Начиная с Петра ценностное соотношение меняется. Теперь уже не царство, не человек стремится служить Богу и спасению, а Бог и религия призываются служить царству и человеку в его земной, посясторонней жизни, ради «чести и славы Державы Российския». «Реформа Петра, — отмечает прот. Александр Шмеман, — была прежде всего резким перерывом „теократической“ традиции, сознательным и всесторонним переходом на западную установку сознания. Это было воцарение в России западного абсолютизма... Западный абсолютизм, родившийся в борьбе против Церкви, как раз отрицает за ней всякое право быть „совестью“ государства, сжимает ее в тесные рамки „обслуживания духовных нужд“, причем сам же определяет и эти нужды, и как их обслуживать»³. По крайней мере на уровне государственной идеологии совесть (то есть нравственный диалог человека со своим Создателем) подменяется присягой — клятвой человека человеку в безусловной верности Государю. Но ни один человек верен не бывает, верен только Бог. Поэтому верность человека человеку всегда условна, всегда относительна с обеих сторон. Петровский абсолютизм начал эту релятивизацию верности, завершившуюся отречением Николая II от России и отречением от Николая II его ближайших родственников, слуг и солдат, всего почти русского народа.

Если первая, петровская революция релятивизировала сотерический идеал, сделав его прислужником эвдемонии, то вторая революция вовсе отменила его. Большевицкий режим стал первым устойчивым режимом в истории человечества, полагавшим веру в Бога и алкание вечной жизни тяжким преступлением, каравшимся смертью или преследованиями. Цели большевизма были исключительно эвдемоническими и ничем, кроме эвдемонизма, не обосновывавшимися. Постепенно обесилевшие в петербургскую эпоху светского абсолютизма совесть и верность вновь восстановили свою власть над обществом, но это были уже «социалистическая совесть» и «классовая верность». Место Бога в диалоге совести заступил вождь, ставший «умом, честью и совестью» коммунистического режима. Петр освободил в душе народа место, до того принадлежавшее Богу, сделав себя и своих потомков на троне «викариями Христа», большевики, вовсе изгнав из сознания народа жертвенный образ Богочеловека, воздвигли на «святом месте» идол «человекобogu», которому поклонился в судьбоносные революционные годы русский народ.

Обвал 1917 — 1922 годов, та национальная катастрофа, которая изничтожила императорскую Россию, произошла, понятно, не вдруг. Народ пошел за крайним радикальным элементом — эсерами и большевиками, освобождавшими его от Бога, нравственного закона и родины, явно предпочтя их власть власти Белых генералов, боровшихся за утверждение гражданской свободы, за сохранение закона, за неприкосновенность святынь, за «великую Россию», и долго не желал видеть, что он жестоко обманут Лениным, Троцким, Сталиным. А когда, после кошмара коллективизации и голодомора 1932 — 1933 годов, сомневаться в сатанинском характере большевицкой власти уже не было никаких оснований, у людей не осталось нравственной силы к сопротивлению каннибальской тирании ВКП(б).

«Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при

³ Шмеман Александр, прот. Исторический путь Православия. М., «Паломник», 1993, стр. 379.

каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется. Органы быстро бы недосчитались сотрудииков и подвижного состава, и несмотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая машина! Если бы... Если бы... Мы просто заслужили все дальнейшее»⁴.

Разве такая удивительная потеря воли в борьбе со злом, такое удивительное исчезновение даже элементарного, животного чувства самозащиты, защиты своих детей, своей семьи, — разве все это не признак какого-то крайнего духовного упадка — или, если называть вещи своими именами, какого-то тяжкого греха. «Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат как вода. Тогда они препояшутся вретисшем и обоймет их трепет» (Иез. 7: 16 — 18). Не о нас ли эти слова пророка? Не нас ли объял трепет? Не наши ли колени задрожали, «как вода»? Разлад в душах имел следствием потерю воли к сопротивлению. Говоря словами поэта — «Народ как раб на плаху лег» (Иван Савин). «Не сказать ли <...> — размышляет в „Архипелаге“ Александр Солженицын, — что граждански-мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги?»⁵

Если продолжить анализ духовного разлада, начатый Тойнби, то мы обязательно должны коснуться теории аскетики. Внимательным к своей душе и воле людям хорошо известно, что грех порождает или волевое бессилие, астению, в случае если он осознается как грех, как что-то дурное и согрешивший сокрушается тем, что он наделал, но преодолеть грех не в силах; или, если согрешивший упорствует в грехе, убеждает себя в его полезности и благости для себя и других — совершённый и оправданный в душе грех становится причиной ожесточения, осатанения, редукции совести, а часто и помешательства. Христианство знает способ преодоления этой беды — таинство покаяния, возвращающее душе свободу и нравственную силу. Бог был запрещен большевиками, народ, приняв большевизм, согласился на этот запрет, и в советских людях можно наблюдать оба следствия нераскаянного греха, астению у одних и готовность на все тяжкие у других, как массовое явление с самого начала широкомасштабных репрессий. Но если бессилие сорганизоваться на защиту добра перед лицом неудержимо растущего зла является особенностью советских тридцатых годов, то где кроется причина этого поразительного гражданского обессилевания? Разумеется, не в масштабе репрессий. Сам масштаб репрессий и неприкрытая наглость палачей — результат сознаваемой ими их безнаказанности.

Но не всегда совграждане были жертвами. У Солженицына в только что приведенных словах речь идет о повальных арестах 1934 — 1935 годов в Ленинграде. А двух десятилетий не прошло с тех пор, как эти самые граждане, которых увозили в Большой дом, восторженно, или по крайней мере спокойно, без возражений, встретили февраль 1917 года. Февраль, а потом и октябрь. Те, кому в 1934 году было сорок, в семнадцатом было двадцать три. Самый солдатский возраст. Когда группа заговорщиков из социалистов-революционеров, социал-демократов и конституционных демократов, соединившись с октябристским крылом Думы, договорившись с командующими ряда фронтов, организовала путч в Петрограде с целью свержения Государя, население столицы легко склонилось на призывы агитаторов. Незамысловатый трюк с отсутствием в течение трех суток выпечного хлеба вывел народ на улицы с требованиями хлеба и ответственного правительства, а между тем шел третий год изнурительной войны и враг стоял в предместьях Риги. Можно ли представить себе ленинградцев, бунтующих против Сталина в 1941 — 1942 годах, когда не то что выпечного хлеба не было вдоволь, но смерть от голода стала

⁴ Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. — В его Собр. соч. Т. 4. М., 1999, стр. 24.

⁵ Там же, стр. 59.

обычным концом десятков тысяч человек, а вина правительства в полной неготовности и страны и города к войне была для умного человека вполне очевидной. Но в 1942 году умирали тихо, а в 1917-м — бунтовали.

Трудно себе представить, чтобы в 1942 году рабочие Ленинграда решились бы на забастовки и выдвижения требования к правительству и администрации. А в 1917 году забастовки в Петрограде были обычным явлением. Но вот перебой с выпечным хлебом вызвали резкую активизацию забастовок и выступлений рабочих. 23 февраля бастовало 87 тысяч, 24 февраля — до 197 тысяч, 25 февраля — до 240 тысяч рабочих. Началась стрельба из толпы, нападения на полицию, провокации ответных действий жандармерии и войск. Казаки, высланные для разгона демонстраций, часто не вмешивались или даже поддерживали бунтовщиков. Около полудня на Знаменской площади казаками был зарублен ротмистр Крылов — первая жертва «великой бескровной». Он пал от рук тех, кто считался защитником власти. В ночь с 26 на 27 февраля солдатами Павловского полка был убит командир полка полковник Экстен. Утром 27-го выстрелом в спину во время построения учебных рот Волынского полка — их командир, капитан Лашкевич⁶. Убийство своего командира — лучшая форма революционизации солдат, которые из страха наказания будут, видимо, после заклания кровью верными сторонниками революции, считал Ленин, анализируя опыт 1905 года⁷. И действительно, 27 февраля сначала Павловские, а затем Волынские роты стали отказываться подавлять волнения, и солдаты с оружием перебежали к демонстрантам. В это время Царскосельский гарнизон грабил окрестные питейные заведения и только сводный гвардейский полк еще нес охрану Александровского дворца. Однако 1 марта и царскосельские гвардейцы с развернутыми красными знаменами пришли к Таврическому дворцу присягать Думе.

Сторонний очевидец, Морис Палеолог, так пишет об этом: «Во главе колонны шел Конвой, великолепные всадники, цвет казачества, надменная и привилегированная элита Императорской Гвардии. Затем прошел полк Его Величества, священный легион, формируемый путем отбора из всех гвардейских частей и специально назначенный для охраны особ Царя и Царицы. Затем прошел еще Железнодорожный полк Его Величества... Шествие замыкалось Императорской дворцовой полицией, отборные телохранители, приставленные к внутренней охране императорских резиденций... И все эти офицеры и солдаты заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают... В то время как я пишу об этом позорном эпизоде, — резюмирует посол республиканской Франции, — я вспоминаю о честных гвардейцах-швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. Между тем Людовик XVI не был их национальным Государем и, приветствуя его, они не величали его „царь-батюшка“...»⁸

Рассказ можно продолжать расцвечивать все новыми потрясающими фактами, но стоит ли? Факты и так собраны. Не раз опубликованы. Но так и не дан ответ на главный вопрос. Почему в конце февраля 1917 года по пустяковой — сравни с февралем 1942 года — причине город восстал, рабочие подняли красные флаги, прекратили работу, учебные заведения забурились сходками, солдаты изменили присяге и перед лицом наступающего врага предали себя убийству командиров, пьянству и грабёжам, парламент страны безответственно требовал ответственного правительства и интриговал против Ставки?

Даже как-то смешно объяснять все действиями немецкой агентуры или «жидомасонским заговором». Каждый человек имеет свободную волю и собственную совесть. Когда его провоцируют на бунт во время войны, не ясно ли, что это выгодно только врагам отечества. Почему же тогда и образованные и простые, и рабочие и парламентарии, и солдаты и студенты поддались на провокации? В чьих бы злобных головах ни родился план свержения законной

⁶ Катков Г. М. Февральская революция. М., «Русский путь», 1997, стр. 273 — 274.

⁷ Ленин В. И. Доклад о революции 1905 г. — Собр. соч., 3-е изд. Т. 19, стр. 351.

⁸ Палеолог Морис. Дневник посла. М., 2003, стр. 740— 741.

власти и ввержения страны в анархию, каждый лично ответствен за его претворение в жизнь. Если бы российские люди остались верны долгу перед родиной, следовали нравственным, даже не христианским, но просто человеческим принципам, в те роковые дни февраля 1917 года трагедии бы не случилось.

Но вышло иначе. Еще даже не отрекся царь, а все почти, от расхристанного рядового запасных батальонов до героя «галицийских кровавых полей» генерала Корнилова и великого князя Кирилла Владимировича, надели красные банты и стали кричать «Долой самодержавие! Вся власть Учредительному собранию!». Читая ежедневные донесения в МВД начальника Петроградского охранного отделения генерал-майора Глобачева, диву даешься, с какой легкостью рабочие оборонных заводов тысячами выходили на улицы по призыву агитаторов, громили лавки, ломали трамваи, избивали полицейских. И требовали... хлеба, которого было практически вдоволь, и ниспровержения самодержавия, лишившись которого Россия мгновенно рухнула в кровавую бездну зла и позора, откуда не выбралась и поныне. И выберется ли...

Примечательно, что, если все время после поражения Белых советская власть была сильна, энергична и победоносна в столкновениях с русским народом, а народ бессилен и покорен, то в февральские дни 1917 года императорская власть, все почти ее представители, были если не мятежны, то совершенно бессильны, а бунтовщики исполнены силы и энергии необычайной, но это была энергия распада, разрушения. Все, что разрушало, — укреплялось в силах. Все, что пыталось сопротивляться распаду, — терпело поражение, не могло и руки поднять от непонятного безволия.

В ночь с 1 на 2 марта началось восстание береговых частей «полуэкипажа» в Кронштадте и Гельсингфорсе. Несколько тысяч восставших смогли полностью терроризировать или привлечь к себе матросов и офицеров боевых кораблей и устроить повальные грабежи и убийства командного состава. Убито было с 1 по 4 марта более 120 кондукторов, офицеров, адмиралов и генералов флота и свыше 600 арестовано. И — никакого сопротивления, никакой организованной даже самозащиты со стороны боевых моряков.

1 марта в Твери толпа солдат запасных батальонов и рабочих Морозовской мануфактуры, ворвавшись в губернаторский дворец, выволокла на площадь губернатора Н. Г. фон Бюнтинга. Толпа глумилась над губернатором, потом кто-то выстрелил ему в голову из пистолета, и труп еще долго топтали ногами. «Так открылся первый день революции в нашей Твери... — вспоминал очевидец этой ужасной расправы митрополит Вениамин (Федченков). — А мы, духовные?.. Я думал (глядя на улицу, где глумились над губернатором. — А. З.) вот теперь пойти и... сказать: не убивайте! Может быть, бесполезно? А может быть, и нет?.. Увы, ни я, ни кто другой не сделали этого <...> И с той поры я всегда чувствовал, что мы, духовенство, оказались не на высоте своей <...> Думаю, в этот момент мы, представители благостного Евангелия, экзамена не выдержали, ни старый протоиерей, ни молодые монахи <...> И потому должны были потом отстрадывать»⁹.

27 февраля, с кровопролитием, но опять же не встретив никакого сопротивления, разбойная толпа захватила Таврический дворец, в котором работала Государственная Дума. Характерно, что рота охраны Думы восприняла убийство своего командира не как повод к отражению нападения бандитствующей толпы, а как предлог для немедленной капитуляции.

Такая астенция воли не может быть мгновенным, спонтанным явлением. 1917 год — это не начало падения, не рубеж царства света и царства тьмы. Нет. 1917 год — это итог, это результат длительного процесса духовной и нравственной деградации народа, которая лишь проявилась в дни революции.

Что-то очень существенное должно было сломаться в нашем народе, чтобы боязнь нехватки хлеба побудила его к восстанию, к свержению власти пе-

⁹ Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. М., «Отчий дом», 1994, стр. 146 — 148.

ред лицом наступающих германских армий. Что же это? Видимо, не было в феврале 1917-го единодушия народа и власти, и именно поэтому «раскачать» народ шпионам ли, масонам ли, не важно, оказалось очень просто. «Цзы-гун спросил об управлении государством. Учитель ответил: „В государстве должно быть достаточно пищи, должно быть достаточно оружия и народ должен доверять правителю”. Цзы-гун спросил: „Чем прежде всего из этих трех можно пожертвовать, если возникнет крайняя необходимость?” Учитель ответил: „Можно отказаться от оружия”. Цзы-гун спросил: „Чем прежде всего можно пожертвовать из оставшихся двух, если возникнет крайняя необходимость?” Учитель ответил: „Можно отказаться от пищи. С древних времен еще никто не мог избежать смерти. Но без доверия народа государство не сможет устоять”» («Лунь юй», 12, 7).

Булат Окуджава сказал о том же с предельной ясностью в двух строфах:

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.

А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Февральская революция доказала, что недоверие администрации Николая II — бесспорный факт общественного сознания. Никакая злобная агитация не могла бы обмануть сотни тысяч христиан Петрограда, отнюдь не самых диких и необразованных в России, никакая агитация не могла бы заставить армию прекратить сражаться с неприятелем и уйти с поля боя домой, — случай, кажется, беспрецедентный в истории человечества, — если бы рычаг государственной власти продолжал воздействовать на народ через привод веры во власть. Привод этот, однако, был безнадежно сломан. Почему?

Но достаточно вопросов. Подойти к ответам на них нам удастся, только если мы обратимся ко второму элементу диады «народ — власть». Если мы исследуем духовное существо самой власти, рухнувшей в феврале 1917 года.

II

Богобоязненный и старавшийся жить праведно индийский император Ашока оставил более двух тысяч лет назад высеченную на колонне надпись: «Благочестивые деяния мною совершены. Люди, беря их за образец, начинают поступать сообразно с ними. Благодаря этому они продвинулись и будут продвигаться в покорности матери и отцу, в покорности наставникам, в соответствующем возрасту отношении к старшим, в подобающем отношении к священникам, к бедным и обездоленным — вплоть до рабов и слуг» (указ № 7). «Ты должен действовать, — поучает в священнейшем тексте Индии „Бхагавад-гите” Кришна царя Арджуну, — имея в виду целокупность мира: что делает лучший, то и другие люди; какой он выполняет устав, такому следует и народ» (3, 20 — 21).

Вельможа из древнекитайского царства Лу спросил Конфуция: «Как вы смотрите на убийство людей, лишенных принципов, во имя приближения к этим принципам?» Конфуций ответил: «Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым. Мораль благородного мужа — ветер, мораль простолюдина — трава. Трава клонится по ветру» («Лунь юй», 12, 19).

Этот основополагающий принцип общественных, в частности и политических, отношений с предельной простотой выражен в русской поговорке: «каков поп, таков и приход». Порой мы наивно полагаем, что личная жизнь каждого никак не влияет на иных людей, если она видимо не воздействует на

окружающих. А она влияет, и особенно сверху вниз. Нравственность родителей определяет судьбу детей и внуков, начальника — подчиненных, правителя — подвластных. Конечно, человек высокого духа всегда может противостоять разлагающему влиянию, как бы низко на формальной социальной лестнице он ни стоял. Такие люди находились во все эпохи, в любом обществе. Они — мерило праведности народа, его обличители и словом, и самой жизнью своей. Именно их гонят при жизни и именно им посмертно, когда раскаются, возводят гробницы соотечественники. Человек всегда свободен избирать добро или склоняться ко злу. Более того, благодаря совести, он всегда в глубинах души знает, какой путь — хороший или плохой — избирает. И все же опыт человечества учил мыслителей древности, что обычный средний человек склонен подражать родителям, вышестоящим, следовать норме отца и начальника. Отсюда особая забота законодателей древности о нравственности и добродетели начальствующих. Ведь «страдает целый народ за нечестье царей, злоумышленно правду неправосудьем своим от прямого пути отклонивших» (Гесиод, «Труды и дни», стр. 240 — 243).

А. Тойнби эту древнюю истину назвал в своей системе «мимесисом»: «Для того, чтобы побудить инертное большинство следовать за активным меньшинством, недостаточно лишь силы духа творческой личности. Освоение высоких духовно-нравственных ценностей предполагает способность к восприятию „культурной радиации“, свободный мимесис как подражание духовно-нравственному порыву избранных носителей нового»¹⁰. Увы, когда правящее меньшинство вместо духовно-нравственного положительного примера своими действиями начинает соблазнять и развращать инертное большинство, в этом большинстве происходит двойкий процесс растления и отчуждения. «Радиация» дурного примера не менее, если не более (учитывая падшесть человеческую) заразительна, чем доброго и нравственного, особенно когда распространяется сверху вниз. Свокорыстие и безнравственность высших превращают инертное большинство, говоря в понятиях Тойнби, во внутренний пролетариат, стремящийся к ниспровержению власти, моральному авторитету которой он больше не верит, благодеяние которой считает незаслуженным, а ее правление бесполезным и даже вредным. «Французская Революция, — пишет на исходе XVIII столетия граф Жозеф де Местр, — основной своей причиной имеет моральное падение Дворянства»¹¹.

Но ниспровергает народ власть тогда, когда сам уже вполне развращен корыстной властью, нравственно уподобился ей и жаждет от нового порядка для себя тех благ, которыми при старом режиме обладали «бывшие», которых надо изгнать или истребить, ибо на их порабощение у их бывших рабов не хватает интеллектуальных сил.

Анализируя государственные дела, их «объективную» полезность или вредность, историк не должен забывать, что внешнее является проекцией внутреннего, общественные дела — реализацией личных принципов, норм, убеждений и верований. От решения человеком «главного вопроса жизни»: кто — он, несовершенный человек, или его Творец — Совершенный Бог, — «мерило всех вещей», — зависит и внутреннее устройство души, и устремление личного дела, и то влияние, которое деятель распространяет вокруг себя. И вот, возвращаясь к нашей истории, к ее последним векам, поражаешься, как далеки были от нравственного образца христианина российские «лидеры» — и цари и дворяне, правившие православным народом и воспитывавшие его своим примером в судьбоносном для России XVIII столетии.

Император Петр Великий вызывает из Неаполя сына Алексея от первой, давно брошенной жены, вызывает, клятвою обещая неприкосновенность. И как только простоватый царевич, поверивший отцу, пересекает границы отечества, он тут же берется под стражу, подвергается допросам с пристрасти-

¹⁰ Тойнби А. Постигание истории, стр. 261.

¹¹ Де Местр Ж. Рассуждения о Франции. М., 1997, стр. 161.

ем и, наконец, по приговору царственного отца удушается в каземате Петропавловской крепости, дабы не Алексей, а любимая жена Екатерина и ее дети могли наследовать престол. От Романова, убившего своего сына Алексея, до Романова, расстрелянного с сыном Алексеем на руках, через два века тянется какая-то роковая нить.

Народ отнюдь не забыл убитого царевича. Долго ходили сказы, что он чудесно наследует престол и вернет правду. Другие шептали, что правит вовсе и не православный царь Петр Алексеевич, а немец, русского же царя шведы «в столб заложили» или «в бочке в море пустили». А немец, понятно, законного наследника убить пожелал. Сказы эти отнюдь не укрепляли любви к сыноубийце и двоеженцу.

После смерти патриарха Адриана молодой царь запрещает возведение нового патриарха, явно боясь противодействия со стороны Церкви своим реформам и своей разгульной жизни. Просвещенческий идеал абсолютного монарха — повелителя не только внешней жизни, но и совести своих подданных, обольщает его. Вера нужна Петру как инструмент власти, а не как мерило праведности, Церковь — как подданный, а не как судия. В религиозной политике, как и во многом ином, Петр действует совершенно в духе западного абсолютизма.

И вот рождаются «Духовный Регламент» и Синод, возглавляемый государевым чиновником — обер-прокурором, без согласия которого бессильно любое начинание Русской Церкви (патриаршество упразднено было фактически с 1700 года, формально — с 14 февраля 1721 года). Если бы Петр, как православный христианин, трепетал перед тайной действия Духа Святого в Церкви, он никогда бы не решился ради достижения любых земных благ вторгаться в освященный многовековой традицией строй церковной жизни, но скорее стремился бы сообразовать свою деятельность с этим строем. Но никакого благоговения перед святыней Церкви царь Петр Алексеевич не испытывал. И свершилось — «Орел Петровского, на западный образец устроенного самодержавия выклевал это русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя Российского с его векового места в Успенском соборе», — священномученик Иларион, будущий архиепископ Верейский (убит 15 декабря 1929 года большевиками), произнес этот вердикт, это почти судебное определение 23 октября 1917 года на Поместном Соборе¹², восстановившем патриаршее возглавление Русской Церкви. Но до этого два века, весь Петербургский период, петровские новизны не отменялись, Церковь управлялась государственными чиновниками, состоя в «крепостной зависимости» от светского обмирщенного государства, которое, упразднив самостоятельность Церкви, упразднило и свою совесть. До самого конца императорской России правители, именовавшие себя «православными самодержцами», испытывали страх перед возможностью восстановления патриаршества, ими же уничтоженного, видя в нем не опору, но угрозу своей власти¹³. Каков же был нравственный характер петербургского самодержавия, если оно страшилось свободного христианского воззрения на себя?

Для очень и очень многих, и не только для староверов, первый русский император стал образом антихриста, упразднившего патриаршество, издевающегося над таинствами и обрядами Православной церкви, тысячами казнящего неугодных бояр, казаков и простую чадь. Русские люди содрогались от царских жестокостей, от любви его к палаческим забавам, пыткам и казням, которые он исполнял собственноручно. «Которого дня Государь и князь Ромодановский крови изопьют, того дня и те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и

¹² «Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния». Кн. 2, вып. 2. Пг., 1918, стр. 383.

¹³ См. об этом: Фирсов С. Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб., 1996, стр. 296 — 329.

того дня им хлеб не естся»¹⁴. Женидьба на немке, табакокурение, разгульное винопитие, обман и тайная казнь сына от православной законной супруги, надругательство над могилами умерших врагов довершали печальный список «воспитательных примеров», которые царь Петр давал своему народу.

Мы здесь сталкиваемся с известной дилеммой. Оправдываются ли добрыми целями безнравственные средства? Можно спорить, добрыми ли были цели Петра, необходима ли была для выживания нашей страны вестернизация «через колено». Споры об этом начались еще в XVIII веке и не утихли по сей день. Пример Японии, не заплатившей традиционной культурой за модернизацию, при том что японская жизнь намного больше отличалась и по истокам, и по наличествовавшим формам от европейских стандартов, позволяет предполагать, что и по целям русская модернизация могла быть не столь радикальной, а тогда постепенные реформы царя Алексея Михайловича и его детей — Федора и Софьи, осуществляемые боярином Артамоном Матвеевым и князем Василием Голицыным, могли бы дать пусть не столь скороспелый, но более питательный плод. Средства, которыми осуществлялись реформы Петра, были однозначно аморальны и нетерпимо жестоки. Ссылки на то, что так было и в иных странах в то время, — ничего не значат. Десять заповедей не релятивируются ни в какое время и никакой распространенностью преступления их. Более того, из аскетики хорошо известно, что дурные средства никогда не приближают к благой цели, но только отдаляют от нее или перечеркивают саму цель. Цель, ради достижения которой надо нарушать заповеди и творить зло, однозначно именуется соблазном и считается происходящей «от лукавого».

Современники Петра отнюдь не были наивными простачками, не понимавшими «исторического значения» его великих реформ. Но царь Петр и большинство его подданных мыслили в разных системах ценностей. Для Петра слава и величие России были высшей целью, целью «любой ценой». Не воспитанный религиозно, он в своих действиях не имел моральных сдержек и шел к цели напролом. Его подданные усматривали во многих действиях царя похоть славы, личного величия и личного же блага. Они видели, какой ценой достаются победы России, и не верили, что так достигнутое послужит на пользу Отечеству. В Преображенский приказ доносили, что народ шептал: «„Мироед, весь мир переел. На него, кутилку, переводу нет, только переводит добрыя головы... Он дворян всех выволоч на службу, крестьян разорил с домами“, а жен их „осиротил и заставил плакать век... Если он станет долго жить, он и всех нас переведет“»¹⁵. А личное поведение царя и его «птенцов» весьма соблазняли народ и разрушали христианскую нравственность. Знающие Писание вспоминали слова апостола Иакова: «Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1: 15) — и ничего хорошего от петровских реформ не ждали. XX век наглядно показал, что правее были они, а не те, кто объявлял Петра спасителем и строителем России. То, что скрывала Петербургская эпоха, обнажила революция и советчина. Россия вновь сжалась до Московии, а от всех реформ Петра осталось людодерство, безверие, нравственный релятивизм и характерная любовь Сталина к великому предшественнику. Может быть, мы были бы дальше, ежели б ехали тише?

III

Эпоха дворцовых переворотов, немецкого засилья, фаворитов и слабых государынь, затянувшаяся на тридцать пять лет после смерти Петра I, никогда не рассматривалась в России как нечто благое и созидательное, хотя царствование доброй и религиозной Елизаветы Петровны сохранило в народе хорошую память, но солнце Екатерины Великой — столь ли животворно было оно для судеб России?

¹⁴ Цит. по кн.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 2000, стр. 539.

¹⁵ См.: там же, стр. 540.

Екатерина Великая взшла на престол, свергнув своего мужа Петра III и через двое суток по перевороте задушив его в Ропше руками брата своего любовника. Ее скандальные связи, кураж фаворитов вряд ли могли научить подданных христианским основам жизни, а просвещенческое отношение к Церкви Христовой только как к социально полезному институту — содействовать возрастанию православного благочестия.

В стихотворении-панегирике на открытие статуи Екатерины А. Н. Апухтин, в частности, говорил от имени Императрицы:

Я женщина была — и много я любила...
 Но совесть шепчет мне, что для любви своей
 Ни разу я отчизны не забыла
 И счастьем подданных не жертвовала ей.

«В исторической и беллетристической литературе написано много былей и небылиц о фаворитах Екатерины, — вторит поэту историк, — но только те из них играли роль в государственном управлении, которые были пригодны для этого; остальных она держала лишь во внутренних покоях своего дворца вместе со своими комнатными собачками»¹⁶.

Здесь между тем вновь сталкиваются секулярно-рациональная и религиозно-мистическая системы мировоззрения, эвдемоническая и сотерическая аксиологии. Для секулярно-рациональной мотивации, направленной к эвдемоническому идеалу, задачи власти предельно четки и конкретны — благоденствие государства, богатство, безопасность и свобода граждан. Цели эти достигаются правильными законами и методами администрирования. Личная жизнь администраторов при этом выносится за скобки — считается, что никакого отношения к государственной деятельности она не имеет. Увы, рациональные утопии никогда не удавались. Воплощаясь, они превращались в страшных монстров. И все это потому, что рациональным и инструментальным содержанием ни человек, ни общество не исчерпываются. Под поверхностью рассудка лежит бездна подсознательного, инстинктивного, иррационального, которая ломает все построения утопистов. Да и сама монархия как властный институт основывается на этих подсознательных религиозных мотивациях, зиждится на вере в Бога и на божественных законах организации мироздания. Нельзя надеяться сохранить монархию, если монархи попирают божественные законы. Законы останутся, а вот монархия падет. В религиозной системе координат у царя нет частной жизни, нет права на нее. Царь полностью погружен в общество, является его главой и его сердцем. Любые нравственные огрехи царя крайне болезненно бьют по всему народу, развращают и разрушают его.

Семейная мораль царского дома была грубо нарушена уже Петром I. Короткое правление Петра III отличалось редкой безнравственностью и самого Государя, и подражавшего ему Двора. Императрица Екатерина, свергнув своего развратного супруга, не исправила установленные им порядки, но усугубила их. «К коликому разврату нравов женских и всей стыдливости — пример ея множества имения любовников, един другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, обнаруживая через сие причину их счастья, подал другим женщинам, — замечает князь М. Щербатов и делает следующий вывод: — Видя храм сему пороку сооруженный в сердце Императрицы, едва ли за порок себе считают ей подражать; но паче мню почитает каждая себе в добродетель, что еще столько любовников непеременила»¹⁷.

Разрушительным для Российского государства последствием частной жизни Екатерины безусловно оказался крестьянский вопрос.

Внешний ход постепенного закрепощения крестьян на протяжении XVI — XVIII веков досконально изучен, и здесь нам нет необходимости повторять

¹⁶ Пушкирев С. Г. Обзор русской истории. СПб., 1999, стр. 300.

¹⁷ «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и „Путешествие” А. Радищева». London, 1858, стр. 85.

его основные этапы¹⁸. Важно отметить главное. В средневековом обществе, жившем в основном в системе натурального хозяйства, налог уплачивался, как правило, не деньгами, а службой, трудом. Вассал служил сюзеру (а следовательно, и обществу в целом) как воин, его сервы — как слуги, земледельцы, скотоводы. Если вассал не выходил на войну своего короля, а мужик отказывался пахать поля господина или уплачивать ему оброк, то их ждала одна незавидная участь, которая редко ограничивалась только изъятием имущества. Служба, тягло — форма государственного налога. Но как и современный государственный налог, он не отрицает собственнических прав, а, напротив, проистекает из них. По вопросу о формах собственности как в допетровской, так и в императорской России имеется огромная научная литература¹⁹. Говоря коротко, существовали две формы владений знати — вотчинная и помещичья. Вотчинник владел землями по принципу наследственного безусловного права. Его имущества могли быть отобраны в казну только за преступления, а в нормальной ситуации владелец свободно распоряжался ими. Это — «отчина», собственность предков, на которую царь никаких прав не имеет, кроме права налога — службы. Помещичьи земли — это земли Государя, дающиеся «в кормление», во временное пользование. Фактически доходами с земли, земельной рентой, но не самой землей оплачивает Государь услуги своего слуги. Помещичьи земли — собственность условная. Ими помещик свободно распоряжаться не может, но может с них жить. В XVII — начале XVIII века происходит постепенное превращение вотчин в наследственные неотчуждаемые помещичьи владения, за которые помещик обязан Государю службой. Также и поместья в XVII веке постепенно приобретают черты вотчин²⁰. Царские указы 1714 и 1719 годов окончательно превратили поместья в вотчины и закрепили навечно крестьян за помещиками.

Здесь, как и во многих иных областях жизни, Петр Великий следовал европейским образцам. XVII — XVIII века почти во всей Европе были временем максимального закрепощения крестьянства там, где в дефиците были люди, а в избытке земля, и огораживания, то есть изгнания крестьян с земли, там, где высшие сословия нуждались в земле для ведения интенсивного рыночного хозяйства. В обоих случаях крестьяне рассматривались лишь как экономическая реальность, но не как люди, единовременные соотечественники. Их права жестоко нарушались.

Протекавший в России процесс закрепощения не был уникальным для христианского мира явлением, но фактически вполне совпадал и по времени, и по формам с аналогичным процессом во многих странах Европы. Русские правители сознательно копировали современные им формы социальной организации. Вне общеевропейского контекста действия императорской власти сначала по закрепощению, а с Павла — по освобождению крестьянства останутся не вполне понятными. По крайней мере все разговоры о том, что русское крепостное право — ответ на отрицательные качества национального характера русского человека (леность, разгильдяйство и т. п.) и на специфические экономические обстоятельства России (избыток земли при нехватке людей, малая производительность земли, суровый климат и т. п.) — отпадают, если мы вспомним, что немцы, датчане, поляки, венгры, словенцы, чехи, итальянцы несли в том же XVIII веке тот же крест крестьянского рабства.

Но хотя закрепощение (иногда его называют вторичным закрепощением, подразумевая под первым закрепощением раннефеодальные отношения XI — XII веков) было наднациональным процессом, оно отнюдь не было процессом

¹⁸ См., напр.: Лаппо-Данилевский А. С. Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения России. СПб., 1905.

¹⁹ Последней из серьезных работ на эту тему является, сколь мне известно, коллективная монография Института российской истории РАН «Собственность в России. Средневековье и Новое время» (М., 2001).

²⁰ Пушкарев С. Г. Обзор русской истории, стр. 241.

неизбежным, естественным, вненравственным. Напротив, нравственная предосудительность закрепощения проступает весьма явственно. В XVII — первой половине XVIII века по всей Европе полыхали войны, и не имеющие денег воинственные монархи предпочитали расплачиваться со своими офицерами трудом мужиков. Можно ли было создать регулярную армию России без закрепощения деревни, нужно ли было ее создавать? Это — открытый вопрос. Но он перерастает в вопрос еще больший: есть ли такие ситуации, когда интересы государства следует приносить в жертву интересам его граждан? Сейчас находятся люди, оправдывающие гекатомбы сталинизма подготовкой к войне с Гитлером, но даже если когда-нибудь удастся доказать (что более чем сомнительно), что уничтожение миллионов людей укрепляло СССР, то имеет ли правитель право на такие «укрепляющие средства»? То же самое и порабощение собственного народа. Цена, которую со временем за это приходится платить, всегда непомерно выше сиюминутной выгоды. Да и не государственный, но частно-корыстный интерес всех этих аморальных решений власти быстро проявляет себя во всей полноте, уничтожая даже видимость защитной аргументации, все равно, крепостного ли права или коммунистического тоталитаризма. В России от начала XVIII века и вплоть до эмансипации 1861 года корыстный интерес дворянского сословия в крепостном праве в ущерб интересу национально-государственному становится все более очевидным с каждым новым царствованием. Закрепощение крестьян государями повсюду происходит не столько из государственного интереса, сколько из желания монарха заручиться поддержкой высшего сословия. Дворянам же крепостные нужны для их частного благоденствия, и потому они сохраняют лояльность верховной власти, держащей народ в порабощении им. XVIII век в России продемонстрировал это с полной ясностью.

В петровское царствование, не потеряв еще всех элементов личной свободы, крестьяне уже продавались помещиками оптом и в розницу, переводились из имения в имение, подносились в подарок, отдавались в приданое. «Продажа крестьян в начале XVIII века практиковалась в громадных размерах», — отмечает один из лучших исследователей этой эпохи Матвей Кузьмич Любавский²¹. Императорский указ 1721 года с негодованием отмечает: «Обычай есть в России, что крестьян продают как скотов, чего во всем свете не водится». Увы, здесь Петр не совсем был прав (хотя сама оглядка на «весь мир», а не на Бога и нравственный закон весьма характерна) — продавали крестьян как скотов далеко не только в России. Но распространенность преступления отнюдь не служит смягчающим обстоятельством при суде над преступником. Тот же Петр, возмущаясь продажей крестьян и написав в конце своего царствования только что упоминавшийся указ (который, впрочем, так и не вошел в жизнь), одновременно «содействовал развитию работорговли»: в 1717 и 1720 годах он позволил людям всяких чинов, кроме шляхетства, покупать людей для поставки вместо себя в рекруты. Тогда же крестьяне утрачивают безусловные права на свое движимое имущество. Закон предусматривал, что за долги помещика отвечает своим имуществом не только он сам, но и его крестьяне. Если имущество помещика продавалось с торгов и не покрывало суммы долга, выставлялось на продажу имущество его крестьян.

При Елизавете Петровне была отменена присяга помещичьих крестьян на верность воцарившемуся императору и его наследнику. Это означало, что помещичьи крестьяне более не считались дееспособными субъектами, не рассматривались как граждане, ответственно несущие тягло и в том присягающие на верность царю. За крестьян присягал теперь их помещик-дворянин, который отвечал императору за своих крестьян так же, как и за любое иное свое имущество. Прекращение приведения помещичьих крестьян к присяге переводило их в категорию «крещеной собственности».

²¹ Любавский М. К. Русская история XVII — XVIII вв. СПб., 2002, стр. 463.

В первой половине XVIII века крестьяне лишились не только гражданской, но и личной свободы. «Власть помещиков над крепостными была более власти самого государства, так как простиралась даже в сферу семейных отношений. Помещики разделяли родителей с детьми, устраивали по своему усмотрению браки <...> руководясь соображениями заводчиков рысистых лошадей и породистых овец. При выходе замуж за пределы вотчины требовали выводные или отпускные грамоты, а за выведенную невесту взимали плату от 10 до 20 рублей... Помещики судили своих крепостных крестьян и наказывали их по собственному усмотрению, доходя иногда до ужасающих примеров жестокости»²².

Отсутствие личного сознания у крестьян, многократно отмечавшееся наблюдателями в XIX веке²³, в этом контексте оказывается не врожденным национальным качеством русского мужика, но качеством, привитым императорской властью. М. Любавский приводит замечание английской путешественницы XVIII века леди Рондо о встреченных ею на пути из Петербурга в Москву крестьянах — это «народ очень учтивый, но вследствие непомерной работы и бедности потерявший образ человеческий»²⁴. К XX веку крестьянское простонародье в массе утратило и те положительные качества, которые еще замечали сторонние наблюдатели XVIII века. Учтивость и открытость сменилась злобой скрытностью под маской тупости. Двести лет обращения с мужиком как со скотиной, непомерные работы и бедность сделали свое дело. 27 февраля 1917 года барон Николай Егорович Врангель встретил на улицах Петрограда совсем других мужиков, чем двумя столетиями раньше на пути в Москву леди Рондо. «Это были запасные, вылезшие на свет Божий из своих угрюмых казарм. Небритые, неумытые, с заплывшими серыми лицами... они напоминали громадное стадо баранов, застигнутое непогодой в степи... Ясно было, что все эти темные, серые существа не понимали, что происходило, были сбиты с толку, растерялись... В глазах их был страх, безотчетный и тупой... Смотрят не на тебя, а куда-то в пространство осовелым взглядом, от которого становится тоскливо на душе»²⁵. Эти-то мужики, «рабы, утратившие страх»²⁶, как не постеснялся назвать их барон Врангель, и решили судьбу России в 1917 году. За своими бывшими господами они не пошли, верить им отказались и с радостью стали грабить и убивать их. Но можно ли было ожидать иного от тех, у кого деды и прадеды «баронов врангелей» отобрали и личное гражданское достоинство, и имущество, и свободу?

Сравнивая помещичьих крестьян со старообрядцами и сектантами, такими же русскими мужиками, но не испытывавшими помещичьего гнета и сохранившими религиозную самоответственность, побуждавшую их веками сопротивляться церковной и государственной власти, можно видеть, что и иные «национальные» русские качества: безынициативность, пьянство, лень — суть качества приобретенные, навязанные извращением жизни низших сословий условиями высшими. Судя по северорусским ссудным грамотам, да и московским судебникам до Смутного времени, чувство личного достоинства высоко созналось всеми сословиями, а хозяйственное состояние Псковской и Новгородской земель говорят и о предприимчивости, и о трудолюбии свободных «мужей вечников».

Не следует забывать, что первый шаг к порабощению крестьян (отмена Юрьева дня) был сделан Борисом Годуновым, незаконным правителем, осужденным Церковью и общественным мнением как «властолюбец, вкупе и злой раб» (тропарь 2-го гласа службы царевича Димитрия), что прикрепление к земле исчезло само собой в годы Смуты и было восстановлено соборным уло-

²² Любавский М. К. Указ. соч., стр. 463, 465.

²³ «У помещичьих крестьян понятие личности не существует», — указывал, например, А. П. Заболоцкий-Десятовский («Граф П. Д. Киселев и его время: материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II». Т. 2. СПб., 1882, стр. 304).

²⁴ Любавский М. К. Указ. соч., стр. 405.

²⁵ Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М., 2003, стр. 349.

²⁶ Там же, стр. 352.

жением 1648 года именно как одна из форм всеобщего тягла, которое несут все российские граждане ради благоденствия отечества и собственного благополучия. После страшного разорения Смуты всеобщность тягла воспринималась как «космичивание» хаоса, и первые Романовы считали себя «тяглецами Божьими» в такой же степени, как и любой посадский или земский гражданин. «Пока существовала обязательная служба дворян, крепостное право оправдывалось в глазах правительства и дворянства и даже самих крестьян»²⁷.

Указы Петра III 1762 года «О вольностях дворянства» освободили дворян от их тягла — обязательной личной службы Государю. Страшным нравственным и, в исторической перспективе, политическим преступлением Петра III было то, что, освободив в 1762 году от долга службы дворян, царь не освободил на следующий день от обязанностей тягла крестьян (В. О. Ключевский), но превратил их в рабов дворян на долгие 99 лет, а земли, находившиеся в условно частном крестьянском владении, не перевел в категорию безусловно частных, но дал их «просто» приватизировать помещикам.

Такое действие царской власти, возможно, и было экономически и политически целесообразным в то время, но безусловно являло собой глубочайшую несправедливость, неправду, которую видели и понимали и крестьяне, и дворяне²⁸. «Крепостное право потеряло свое государственное оправдание, — справедливо писал в своей „Истории России“ министр-председатель Временного правительства А. Ф. Керенский. — Оно превратилось из общего для крестьян и дворян тяжелого государственного тягла в рабовладение, ничем не оправданное, кроме сословных дворянских интересов. Русское крестьянство эту коренную перемену в природе своего коренного состояния сразу учуяло»²⁹.

Никакую эпоху либерализма указы эти не открыли, как наивно полагал В. В. Леонтович³⁰ и вслед за ним полагают современные отечественные «либералы», но, напротив, накрепко закрыли возможность складывания гражданского общества в России. А. С. Пушкин писал, что, хотя указами о «вольностях дворянства» «предки наши столько гордились», они их «справедливее должны были бы стыдиться»³¹.

Дело в том, что не только в системе сотерической, но и эвдемонической аксиологии порабощение граждан, отнятие их имущества не может не переживаться как преступление и нарушение основополагающих принципов властвования. Во благе подданных — благо царя, в их счастье — его счастье. Не следует забывать, что в древности институт монархии возник как религиозная форма, помогающая народу победить узы греха и смерти³², а когда Царство «не от мира сего» и земная царственность были разделены христианством, правитель освящался Церковью как гарант безопасности и благополучия народа в его земном шествии к вечности. Но о каком счастье и благополучии большинства населения России могла идти речь, когда его превращали в рабочую скотину для дворян и в сырье для строительства великой империи?

И преступление русского рабства усугублено было тем, что порабощались братья и сродники. Люди одного русского племени становились и рабами, и рабовладельцами. Имея в виду единство всего человеческого рода, рабство отвратительно всегда, но особенно отвратительно оно среди единоплеменников. Не случайно закон Моисея категорически запрещал евреям обращать в вечное рабство евреев же. «Если купишь раба Еврея, пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром» (Исх. 21: 2). Закон этот разъясняется далее в книге Левит: «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан

²⁷ Любавский М. К. Указ. соч., стр. 466.

²⁸ См. об этом: Фаизова И. В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999.

²⁹ Керенский А. Ф. История России. Иркутск, 1996, стр. 111.

³⁰ Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762 — 1914. М., 1995.

³¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1978, стр. 90.

³² Zubov A. B. Сотериологическая модель генезиса государственности. — «Восток», 1993, № 6, стр. 3 — 7.

будет тебе, то не налагай на него работы рабской: он должен быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих... Не должно продавать их, как продают рабов; не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего» (Лев. 25: 39 — 43). Но русские православные государи не испугались Бога, именем Которого освящали они престол свой, и жестоко поработили братьев бессрочным, неограниченным и тягостным рабством, нарушив тем не только высший закон Христов («возлюби ближнего своего как самого себя»), но и «ветхий» закон Моисеев.

Катастрофические последствия этой неправды пронизательные и умные русские люди поняли сразу, одна беда — таких пронизательных и умных были считанные единицы. Отмеченное «среди лучших» на конкурсе 1766 года Вольного экономического общества по устройению крестьянских имуществ сочинение Поленова в частности констатировало: «Я не нахожу беднейших людей, как наших крестьян, которые, не имея ни малой от законов защиты, подвержены всевозможным <...> не только в рассуждении имения, но и самой жизни обидам и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства, отчего неотменно должны они опуститься и прийти в сие преисполненное бедствий как для них самих, так и для всего общества состояние, в котором мы их теперь действительно видим». Помещики, указывает далее Поленов, крестьян «без всякой пощады и милосердия мучают, отнимая все то, что им на глаза попадетя, и через то приводят в несказанную бедность, от которой они никогда не в состоянии избавиться»³³.

IV

В манифесте о восшествии на царство от 6 июля 1762 года Екатерина не скупилась на поношения своего только что убитого супруга, объявляя его врагом русского народа и православия, но его главный антирусский и антиправославный закон вовсе не отменила, но, напротив, подтвердила целым рядом законоустановлений и распоряжений. «Намерены мы помещиков при их мнениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать», — провозглашала молодая муже- и цареубийца.

Правовое «положение крестьян ухудшалось непрерывно в XVIII веке, — пишет С. Ф. Платонов. — Столкновение интересов помещика, строившего все свое хозяйство на даровом труде крестьянина, с интересами крестьянина, знававшего себя не рабом, а гражданином, было непримиримо и разрешалось, законом и жизнью, в пользу помещика»³⁴. В 1765 — 1766 годах помещики получили право ссылать своих крестьян не только на поселение в Сибирь (это разрешено было уже Елизаветой Петровной), но и в каторжные работы за «дерзости» помещику. Помещик во всякое время мог отдать крестьянина в солдаты, не дожидаясь времени рекрутского набора. При этом в 1767 году крестьянам императорским указом было запрещено жаловаться Государю на помещиков — «Дабы никто Ее Императорскому Величеству в собственные руки, мимо учрежденных на то правительств и определенных особо для того персон, челобитень подавать отнюдь не отваживался» под страхом Нерчинской ссылки³⁵. Права самоуправления, данные в 1775 году всем сословиям Империи, не были распространены на частновладельческих крестьян. В 1783 году были закрепощены православные крестьяне Украины. За 35 лет просвещенного правления Екатерины более 800 тысяч лично свободных черносошных крестьян были розданы с землями в рабство фаворитам Императрицы. Не следует забывать при этом, что все население Империи к концу царствования Екатерины

³³ Цит. по кн.: Любавский М. К. Указ. соч., стр. 474 — 475.

³⁴ Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, стр. 643 — 644.

³⁵ «Полное собрание законов Российской империи». I. Т. 18, № 12966, стр. 335.

достигало лишь 37 млн. человек, то есть вновь порабощенным оказывался каждый сороковой гражданин России, а доля крепостных в населении Империи, постоянно возрастая в течение всего XVIII столетия, достигла к 1795 году максимальной величины — 54 процента. Абсолютное большинство подданных просвещеннейшей Императрицы являлись частновладельческими рабами³⁶.

Впрочем, ответственность за отвратительное преступление порабощения «брата своего» с государями XVIII века разделяют все высшие сословия, и даже шире, все почти непорабощенные россияне. Их голос дошел до нас благодаря наказам с мест депутатам в Комиссию для составления проекта нового Уложения, созванную указом Екатерины от 14 декабря 1766 года, и прениям в самой Комиссии. Этот так и не завершивший работу первый русский парламент Петербургской эпохи наглядно показал состояние общественного сознания, в частности, и по вопросу о крепостном праве. Императрица прямо поставила вопрос о положении и правах частновладельческих крестьян перед депутатами и получила примечательные ответы.

Наказы уездных дворянских обществ были единодушны: «Всепокорнейше просим, дабы в сохранение древнего узаконения и дворовые люди и крестьяне в подлежащем повиновении яко своим господам были, и о том в ныне сочиняемом проекте нового Уложения подтвердить с таким объявлением, что узаконенная издревле помещицкая власть над их людьми и крестьянами не отъемлется безотменно, как доньше была, так и впредь будет» (от Полонской пятины Новгородской губернии). Керенские дворяне выдвигали аргумент русской самобытности, который пришелся бы по сердцу и современным евразийцам: «Дворянству своих людей и крестьян содержать на прежних основаниях в своей власти и полномочии, не ограничивая их преимуществ и полномочий, ибо Российской Империи народ сравнения не имеет в качествах с европейским». Позднее, в прениях в Комиссии, эту позицию вполне поддержал знаменитый моралист, князь М. М. Щербатов, избранный от ярославского дворянства. «При холодном климате России, — объяснял он, — земледельца необходимо понуждать; правительство же за такой пространной монархией усмотреть не может; ныне же дворяне, владея своими деревнями, лучший присмотр делают».

Дворяне, менее склонные к теоретизированию, указывая на массовое бегство крестьян в соседние страны от своих помещиков, просили Государыню наказывать беглых рекрутчиной, каторгой, кнутом и плетью и не ставить помещикам в вину, если наказанные ими крестьяне умрут (тамбовские дворяне). Пусторжевские дворяне, предвосхищая советскую «границу на замке», просили, дабы исключить побеги крестьян со скарбом и скотом, ископать двойной ров и вал по всей границе с Польшей и через каждые пять верст расположить военные отряды с пушками. Дворяне северо-запада России в этих же целях просили укрепить границу с Эстляндией и Финляндией. Как и советские народолюбцы, дворяне XVIII века желали укреплять границу не для защиты своего народа от внешнего врага, а для лучшего контроля над соплеменниками, в любовь которых к себе и к «родным палестинам» не верили. И все почти дворянские депутаты просили Императрицу сделать владение крестьянами и дворовыми рабами исключительно дворянской сословной привилегией.

Представители других сословных групп единодушно добивались права владеть крепостными наравне с дворянами. Об этом просили купцы, об этом же — сибирские дети боярские. Вольные казаки Донского, Чугуевского, Уфимского и Сибирского войск просили разрешения для старшины покупать дворовых людей и крестьян. О закреплении своих соплеменников-хлеборобов просила Императрицу и казачья старшина Малороссии в 1763 году. До того казачьи паны пытались закрепостить мужиков самостоятельно, пользуясь малороссийской

³⁶ В 1719 году частновладельческие крестьяне составляли 48,4 процента населения России, в 1762-м — 52,7, в 1795-м — 53,9, в 1811-м — 51,7, в 1833-м — 44,9, в 1858-м — 39,2 (Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII — первой половине XIX века. М., 1971, стр. 69, 89, 117, 129, 153, 177).

автономией, да Елизавета Петровна указ войсковой канцелярии о запрете крестьянских переходов 1739 года отменила, сохранив украинцам вольность. О расширении прав на крепостных просили однодворцы и пахотные солдаты старых служб. Даже Св. Синод в лице своего депутата (духовенство от провинций не выбирало в Комиссию своих представителей) «требовал предоставить право белому духовенству покупать себе в услужение людей, ссылаясь на то, что не самому же отцу протоиерею идти пахать землю или продавать что-либо <...> Таким образом, почти от всех сословий раздалось требование не об освобождении крестьян от крепостной зависимости, а о распространении права владеть ими», — резюмирует обсуждение вопроса в Комиссии М. К. Любавский³⁷.

Поскольку, «с точки зрения чистой логики», медлить с освобождением крестьян после 1762 года «причин не было»³⁸, то, чтобы избавиться от угрызений совести, естественных для рабовладельца, если он умный и порядочный человек, помещики тешили себя двумя обманами. Первый из них — мнение, что крестьяне не сознавали своего бедственного положения. «Жизнь крепостных отнюдь не была сладкой, но и не была ужасной в той мере, как об этом принято писать сегодня, — вспоминал барон Врангель и пояснял далее: — Ужасной она не являлась, впрочем, только потому, что в те темные времена народ своего положения не осознавал, воспринимая его как ниспосланную свыше судьбу, как некое неизбежное, а потому чуть ли не естественное состояние»³⁹.

Но такое мнение бесконечно далеко от действительности. Судя по множеству фактов, крестьяне вполне сознавали свое гражданское достоинство, прекрасно помнили, что помещикам против их воли отдали их землю, их труд и их свободу. И. Т. Посошков, сам выходец из крестьян, в трактате «О скудости и богатстве» писал в 1724 году: «Крестьянам помещики не вековые владельцы <...> а прямой им владетель Всероссийский Самодержец, а они владеют временно <...> крестьянское богатство — богатство царственное»⁴⁰. Пока было возможно — крестьяне жаловались на свое положение в Сенат и иные «высшие инстанции». А на запрет подавать жалобы ответили Пугачевским бунтом, хотя и беспощадным, но далеко не бессмысленным.

Призыв Пугачева «истребить проклятый род дворянский» вызвал огромное воодушевление среди крестьян. «Всему миру известно, — говорилось в одной из прокламаций Пугачева, — сколь российские дворяне обладают крестьянами, и хотя в законе Божиим сказано, что с крестьянами надо обходиться как с детьми, они обращаются с ними хуже, чем с собаками своими». В своем манифесте от 31 июля 1774 года Пугачев жаловал «всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, вольностью и свободой вечно казаками». Совершенно не важно, сколь серьезен был Пугачев, провозглашая эти принципы, главное, что они находили живой отклик в народе. Казаки-старобрядцы Яика шли к Пугачеву, боясь, что и их обратят в крепостных, а крепостные пополняли повстанческое войско, надеясь обрести свободу и свести счеты с дворянами. «Жена моя увлеклась на сторону дворян, и я поклялся перед Богом истребить всех их до единого, — объявлял самозванный Петр III. — Они склонили ее, чтобы всех вас отдать им в рабство, но я этому воспротивился, и они вознегодовали на меня, подослали убийц, но Бог спас меня».

Подавление бунта 1773—1774 годов превратилось в настоящую гражданскую войну, предвосхитившую войну 1917 — 1922 годов. Уже в крестьянских бунтах 1762 — 1766 годов, поднятых мужиками против «Матушки Императри-

³⁷ Любавский М. К. Указ. соч., стр. 478 — 488.

³⁸ Таково мнение Г. В. Вернадского. (См. в его кн.: «Русская история...» М., 1997, стр. 178).

³⁹ Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М., 2003, стр. 23.

⁴⁰ Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951, стр. 178.

цы», участвовало до 150 тысяч человек. Пугачев, по приблизительным расчетам, поднял на борьбу до 400 тысяч. Примечательно, что Емельян Пугачев, объявив себя Петром III, тем самым выявил народное убеждение в незаконности самого царствования Екатерины, а поставив рядом с собой «патриарха», показал, что в глазах народа незаконна вся синодальная церковная политика русских монархов XVIII века.

Пугачевская война стала предзнаменованием будущей российской кровавой Смуты. Это понимали современники. В 1775 году новгородский губернатор Сиверс предупреждал Императрицу: «Я позволю себе сказать, что неограниченное рабство погубит государство, и, мне кажется, я не ошибаюсь, считая невыносимое рабское иго главной причиной волнений от Оренбурга до Казани и на нижнем течении Волги...»⁴¹

Пламенный Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» написал, пусть и «варварским слогом», пророчество, показавшееся Пушкину «пошлым», «жеманным» и «чрезвычайно смешным»⁴², но нас, знающих, как оно сбылось в начале XX века, заставляющее содрогаться. «Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободой мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувство. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние. Прорвав плот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братья наши, в узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание будет нам посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут в мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение коликю яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут они ему вослед и ничего не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщениа, нежели пользу сотрясения уз. Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горé постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими <...>

Блудитесь. <...> Неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в поправлении нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства и не восстановим природное всех равенство»⁴³.

Но решение Екатерины было иным — Радищева заточить в крепость, а крестьян принуждать к безоговорочному повиновению, а не готовить к освобождению. Народ дичал в неволе, но «внутреннее чувство» свободы не исчезало в нем. Видимо, рабство столь противно человеческому естеству, по природе свободному, что свикнуться с ним невозможно никогда.

В отчете за 1827 год начальник политической полиции Империи (III Отделения Императорской канцелярии) граф Бенкендорф писал о крепостных крестьянах: «Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было предположить с первого взгляда. Всякий крепостной, которому удалось своим трудом скопить несколько тысяч рублей, употребляет их прежде всего на то, чтобы купить себе свободу <...> Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний. Они ждут своего освободителя, как евреи своего мессию»⁴⁴.

Так что мнение высших русских классов о том, что глупые и дикие мужики не сознавали свое рабское состояние как ужасное, — лишь более или менее

⁴¹ Цит. по кн.: Любавский М. К. Указ. соч., стр. 496.

⁴² Пушкин А. С. Александр Радищев. — Полн. собр. соч. Т. 7. Л., 1977, стр. 245.

⁴³ Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1984, стр. 233 — 234.

⁴⁴ «Крестьянское движение 1827 — 1869». Вып. 1. 1931, стр. 9.

добросовестная уловка грешников, оправдывающих свои грехи тем, что от них никто не страдает или если и страдает, то страданий своих не сознает.

Второй самообман высших классов — широко распространенное убеждение, что крестьяне могли благополучно жить только под отеческой властью доброго помещика, без которой они быстро разлениваются, разоряются и спиваются. Об этом много говорили дворяне в екатерининской Комиссии, об этом писал в 1780 году генерал-майор Болтин, критикуя заметки о русской истории Леклерка. Об этом же не уставали повторять помещики и позднее, вплоть до самого 1861 года и даже позже.

Об эксперименте в своем имении в «Письме из деревни» рассказал Н. М. Карамзин (1802). Насмотревшись за границей свобод, он сменил барщину легким оброком. И вот — крестьяне обеднели и умнейшие среди них просили его «как отца» вернуться в свою вотчину и управлять ими «по старине», наказывая нерадивых и поощряя трудолюбивых. Автор «Письма» вернулся. «Я восстановил господскую пашню, сделался самым усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства, объявил войну ленивым, но войну не кровопролитную; вместе с ними на полях встречал и провожал солнце; хотел, чтобы они и для себя так же старательно трудились». Герой Карамзина (или он сам?) позаботился о гигиене своих крестьян, о добротности их домов и служебных построек. И в деревню вернулись зажиточность и благополучие⁴⁵. Развитие сельского хозяйства, а тем самым и благополучия крестьян, имевшее место в последнее время, полностью плод усилий помещика, утверждает далее историк и сравнивает помещичьих крестьян с государственными. Хотя государственные крестьяне платят меньше податей, поля у них обработаны хуже и живут они беднее.

Наши современные ученые, пройдя вместе со всем обществом страшный опыт коммунистической несвободы и человеконенавистничества, также склонны в большой степени оправдывать крепостничество, объясняя его хозяйственной и государственной целесообразностью⁴⁶, особенностями русского менталитета или доказывая мягкость самого крепостного состояния⁴⁷. Очень близкие аргументы выдвигаются и сторонниками советского строя — или советский режим был не так жесток, или он был хоть и жесток, но необходим. В действительности рабское состояние всегда нравственно предосудительно, экономически ущербно, государственно опасно и по определению жестоко. Мы видим, какой негативный отпечаток на американское общество накладывает до сего дня негритянская проблема. Потомки освобожденных почти полтора века назад черных рабов так вполне и не вписались в гражданскую жизнь Америки, являются источником общественной напряженности и существенным криминогенным фактором.

Но против довода, что только барщина и страх наказания заставляли крестьян работать с должной интенсивностью, а без принуждения крестьяне лодырничали бы, ограничивались прожиточным минимумом и не создавали бы того прибавочного продукта, который дал необходимые для становления российской государственности средства⁴⁸, — против этого довода можно выставить два возражения. Во-первых, леность и безынициативность крепостных — не врожденное русское качество, но как раз вбитое рабским состоянием. Во-вторых, даже если бы ограниченность потребностей и склонность к праздности действительно были национальными чертами, их следовало бы уважать, а если и врачевать, то постепенно, скорее заинтересовывая крестьянина

⁴⁵ Карамзин Н. М. Письмо сельского жителя. — «Сочинения». Т. 7. СПб., 1834, стр. 243 — 244.

⁴⁶ Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998, стр. 554 — 572.

⁴⁷ Мионов Б. Н. Социальная история России... Т. 1, стр. 375 — 377.

⁴⁸ Там же, стр. 401 — 405. См. также дискуссию «Крепостное право в России» — «Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов. СПб., 1997.

возможностями лучшей жизни при повышении его доходов, нежели выдавливая из него труд наказаниями.

Быть может, в имении Н. М. Карамзина «война с ленью» обошлась без пролития крови, но в быту отношений помещиков и их крестьян плети, кнут, розги, зуботычины являлись делом вполне обычным. Главным методом интенсификации крестьянского труда при крепостном праве было именно жестокое внеэкономическое принуждение. У частновладельческих крестьян принуждение было большим, чем у государственных, — отсюда и более высокая производительность. Иностраный путешественник эпохи Екатерины писал: «Наказания рабов <...> так часты, так обычны в деревнях, что невозможно не слышать сплошь и рядом криков несчастных жертв бесчеловечного произвола. Эти пронзительные вопли преследовали меня даже во сне»⁴⁹. «В барщинном имении в течение года получали телесные наказания около 25 % взрослых крестьян мужского пола (данные за 1818 — 1858 гг.) <...> Случалось, что наказания заканчивались для крестьян летальным исходом. По неполным данным III Отделения, в 1858 г. зафиксировано 46 случаев смертельного наказания и 16 случаев мертворожденных младенцев, вызванных жестоким наказанием женщин»⁵⁰. «Без высокого уровня насилия крепостная система хозяйства переставала быть эффективной», — резюмирует Б. Н. Миронов⁵¹.

Стремление к посюстороннему благоденствию (эвдемоническая аксиология), ясно проявившееся в высших группах русского общества в XVIII столетии, могло утвердиться, только если его приверженцы обретут дополнительные источники дохода. В конечном счете первичный доход давал в аграрном русском обществе почти исключительно труд крестьян. И если крестьяне готовы были трудиться лишь столько, сколько нужно было им для самообеспечения, то к большему труду их можно было или принудить силой, или заинтересовать, способствуя росту крестьянских потребностей, постепенно переориентируя душу народа с сотерии на эвдемонию. Изменение ценностных ориентаций народа с сотерических на эвдемонические (одна из важнейших целей европейского Просвещения да и сегодняшнего *wellfair state*) русскому правящему классу казалось (если как цель создавалось вообще) слишком хлопотным и долгим, и потому был выбран путь простейший, но и трагичнейший по своим последствиям для России — порабощение народа для интенсификации его производительных сил.

Если бы русские самодержцы были скромнее в своих устремлениях к имперскому величию, а высшие классы — в поисках европейского стандарта благосостояния, крестьян поработать бы не пришлось и шаг за шагом Россия бы возвысилась и без таких чрезвычайных мер, как превращение большей части населения в говорящие орудия. Если бы высшие классы давали пример самопожертвования простонародью, результат был бы иным; но русское дворянство приносило в жертву национальному величию не самих себя, но своих крестьян, заодно не забывая и об умножении собственного благополучия.

(Окончание следует.)

⁴⁹ Цит. по кн.: Любавский М. К. Указ. соч., стр. 531.

⁵⁰ Миронов Б. Н. Социальная история России... Т. 1, стр. 405.

⁵¹ Там же, стр. 407.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАКСИМ ШАПИР



«...А ТЫ ПРЕКРАСНА БЕЗ ИЗВИЛИН...»

Эстетика небрежности в поэзии Пастернака

Много лет назад Уильям Эмпсон, незаурядный английский поэт и филолог, расценил семантическую неопределенность (*ambiguity*) как неотъемлемое свойство поэзии¹. В последнее время интерес к поэтической неоднозначности растет и у российских лингвистов: недавно специальное исследование ей посвятил Н. В. Перцов². В своей книге и в предшествующих статьях я тоже обращался к этой теме³. Но до сих пор филологи сосредоточивались главным образом на преднамеренном двоении смыслов; что же касается двусмысленностей произвольных (либо кажущихся таковыми), то им должного внимания не уделялось. Это упущение мне бы хотелось восполнить: сначала предметом моего анализа станет такое ветвление смыслов у Пастернака, которое, насколько можно судить, не входило в расчеты автора; затем найденные факты я попробую поставить в более широкий лингвистический и, наконец, — в идеологический контекст. Таким образом, против обыкновения я буду изучать не «информацию», а «шум», который, однако, на свой лад оказывается весьма информативным.

Размышляя над примерами, постараемся не терять из виду суть проблемы: дело не в том, что какой-то фрагмент текста не допускает верной интерпретации, — дело в том, что он объективно допускает интерпретацию неверную. Именно ощущение неадекватности вторых и «третьих смыслов» позволяет нам выделять оговорки среди других случаев неоднозначности. Разумеется, это ощущение может сбивать с толку: насчет авторского замысла нам дано лишь строить догадки. Наивно было бы верить, что в поэтическом тексте намеренное надежно отличается от ненамеренного: в душе писателя мы читать не умеем, но попытаться его понять — обязаны⁴.

Явление, о котором пойдет речь, не имеет адекватного терминологического выражения. Наиболее удобным могло бы стать понятие «авторской глу-

Шапир Максим Ильич родился в 1962 году в Москве. Лингвист, литературовед, доктор филологических наук, главный редактор журнала «Philologica», ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, главный научный сотрудник Института мировой культуры МГУ.

Изучение русского поэтического языка XVIII — XX веков ведется в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте».

¹ См.: Empson W. *Seven Types of Ambiguity*. L., 1930. Латинское слово *ambiguitas* — «двусмысленность» — соответствует древнегреческому *ambibolia* (амфиболия), усвоенному русской научной терминологией.

² См.: Перцов Н. В. О неоднозначности в поэтическом языке. — «Вопросы языкознания», 2000, № 3, стр. 55 — 82.

³ См.: Шапир М. И. *Universum versus*. Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII — XX веков. М., 2000, кн. 1, стр. 12 — 19 и др.

⁴ На пушкинском пленуме Союза писателей (1937) Пастернак заявил: «<...> не только намеренных двусмысленностей, но и таких провалов последнего сорта, которые бы давали повод для двусмысленного понимания и в неумышленном плане, — я за собой не помню. Вообще двусмысленности при настоящей любви к искусству невысказаны» (Пастернак Б. Собрание сочинений в 5-ти томах. М., 1991, т. 4, стр. 644).

хоты», закрепленное в «Поэтическом словаре» А. П. Квятковского. Это «условный термин, предложенный М. Горьким»; понимаются под ним «явные стилистические и смысловые ошибки <...> не замеченные автором». Их можно трактовать по-разному: иногда «авторская глухота» — «результат небрежности или неряшливости», иногда она «возникает произвольно, когда увлечение главной задачей заслоняет «отдельные детали». «Явления А<вторской> г<лухоты>, — продолжает Квятковский, — свойственны не только рядовым писателям, но и большим мастерам»⁵. Он приводит примеры из Пушкина, Лермонтова, Плещеева, Фета, Маяковского, Багрицкого и Уткина. Завершается статья указанием на то, что к «А<вторской> г<лухоте> можно отнести явления *сдвига*», и ссылками на тематически близкие статьи: «Амфиболия», «Анаколуф», «Солецизм»⁶.

В этом определении полезно подчеркнуть два момента: во-первых, «авторская глухота» затрагивает разные уровни поэтического языка, а во-вторых, она встречается даже у больших поэтов. Но дефиниция, которую дает составитель «Поэтического словаря», имеет в моих глазах принципиальный изъян: отрицательные коннотации, сопряженные с этим понятием у Квятковского, я для себя обязательными не считаю. Меньше всего мои наблюдения над языком Пастернака надо воспринимать как исчисление ошибок, которые поэт непременно захотел бы исправить, если бы заметил сам или кто-то ему на них указал: я надеюсь убедить читателя, что оговорки органически вписаны в пастернаковскую эстетику. Понятием «авторской глухоты» (как и его синонимами) я пользуюсь безоценочно, но опасения, что многими оно может быть прочитано как негативное, заставляют меня скорее говорить о художественной небрежности⁷.

И последнее. Мне предстоит фиксировать у Пастернака отступления от норм литературного языка. Не забудем при этом, что поэт не обязан их соблюдать: его идиолект всегда так или иначе отличается от языка грамматик и словарей. В отдельные периоды между нормой и поэтической практикой разверзается пропасть, как это было в годы литературной молодости Пастернака. Но его «паранормальные» языковые явления не похожи на словесные опыты иных радикальных новаторов в первую очередь отсутствием нарочитости⁸: в массе они отражают не творческую прихоть художника, а объективные тенденции языка, удаляющегося от классической книжности. Не исключено, что Пастернак в этом смысле — поэт завтрашнего дня: то, что пока еще отступление от нормы, через одно-два поколения может быть кодифицировано.

Начну с примера амфиболии, давшей название статье:

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин...⁹

Вопреки тому, что имел сказать поэт, находятся читатели, которые понимают его так: очень умных любить тяжело, ты же прекрасна без извилин (несмотря на недостаток ума или благодаря этому недостатку). Данные исторической лексикологии такому заблуждению не слишком препятствуют, ибо семьдесят лет назад сходные обороты уже начинали входить в употребление и даже про-

⁵ Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966, стр. 10.

⁶ Там же, стр. 10 — 11.

⁷ Такая «небрежность» во многих жанрах и направлениях оценивается как достоинство. У Пушкина, например, она почти всюду является в ореоле привлекательности, и не только там, где поэт восхищается *приятной небрежностью* речей Дориды или *любезной небрежностью* слов Татьяны, но и там, где он говорит о «небрежности воображения» у Батюшкова или о «небрежности рифм и слога» у Ф. Глинки (Пушкин. Полное собрание сочинений. [М. — Л.], 1949, т. 11, стр. 110; т. 12, стр. 263).

⁸ Ср.: Кнорина Л. В. Грамматика и норма в поэтической речи (на материале поэзии Б. Л. Пастернака). — В кн.: «Проблемы структурной лингвистики 1980». М., 1982, стр. 242.

⁹ Стихотворные произведения Пастернака цитируются по 3-му изданию «Библиотеки поэта» (Пастернак Б. Стихотворения и поэмы в 2-х томах. Л., 1990, т. 1, стр. 356).

сачивались в поэтический язык: *В мозгу у Вилли / мало извилин...* (В. Маяковский, «Блек энд уайт», 1925).

Многих поклонников Пастернака смущает строфа:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятия
В халате с шелковой кистью.

(«Осень», 1949)

Всему виной двузначное слово *платье*, под которым прежде всего понимают «вид цельной верхней женской одежды». Это значение чревато парадоксом: платье оказывается надетым поверх халата, в котором женщина падает в объятия мужчины. Но поэт использует слово не как видовое, а как родовое наименование одежды — любой, кроме белья. *Платье* и *халат* здесь обозначают одну и ту же вещь, как *покрывало* и *плащ* у Ап. Григорьева: *...Хотел сорвать я жадно покрывало / С закутанной в плащ бархатный жены* («Venezia la bella», 1857).

В «Спекторском» (1925 — 1930) Н. Тихонову полюбилась бурная любовная сцена, грозившая окончиться смертоубийством:

...Вмешалось два осатанелых вала,
И, задыхаясь, собственная грудь
Ей голову едва не оторвала
В стремленьи шеи любящим свернуть¹⁰.

Вряд ли это иносказание («страсть затмевает разум»). Но если и так, двусмысленность все равно остается из-за гротескной гиперболы в окружении натуралистических подробностей: *два осатанелых вала*, готовые свернуть любовникам шеи и оторвать голову героине, приводят на память гоголевскую «нимфу с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал»¹¹.

Неясность в стихах на общественно значимые темы навлекала на автора злоешие политические обвинения. Обращаясь к художнику, Пастернак писал о его отношениях с народом:

Ты без него ничто.
Он, как свое изделие,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

(«Счастливы, кто целиком...», 1936)

Если речь идет о готовом *изделие*, то *мечты* и *цели* называют продукт художественного творчества. Это материя тонкая, а *долото* — грубый инструмент для долбления отверстий и углублений. Брать чужое произведение и класть его под долото — значит портить, уродовать, уничтожать. Пастернак «клеветает на советский народ», — резюмировал В. П. Ставский, возглавлявший тогда Союз писателей СССР¹². Поэт принужден был оправдываться. Он исходил из того, что *изделие* — не объект, а субъект творчества (*мечты* и *цели* обозначают самого художника): в строфе, «вызвавшей нарекания», «говорится <...> что индивидуальность без народа призрачна, что в любом ее проявлении авторство и заслуга движущей первопричины восходит к нему — народу. Народ — мастер (плотник или токарь), а ты, художник, — материал»¹³.

¹⁰ Цитируется текст, напечатанный в альманахе «Круг» (впоследствии эту сцену поэт из «Спекторского» исключил). Ср.: «Стихов такой прямоты и честности давно не было в русской поэзии» («Переписка Бориса Пастернака». М., 1990, стр. 462; из письма Н. С. Тихонова к Б. Л. Пастернаку, февраль — март 1925 года).

¹¹ Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. М., 1951, т. VI, стр. 9.

¹² «Литературная газета», 1936, № 71, 20 декабря, стр. 1.

¹³ Пастернак Б. Письмо в редакцию. — «Литературная газета», 1937, № 1, 5 января, стр. 5; ср.: Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984, стр. 382 — 386, 401, 404 примеч. 36.

Двусмысленные обмолвки попадают даже в самых хрестоматийных, программных стихотворениях Пастернака:

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг...
(«Быть знаменитым некрасиво...», 1956)

Что значат *пробелы*, оставленные *в судьбе, а не среди бумаг*? Можешь, дескать, не прожить, не выстрадать, но бумагу испиши во что бы то ни стало, — трудно иначе интерпретировать буквальный смысл этих слов, противоположный авторскому замыслу¹⁴. Похожая оговорка имеется у позднего Некрасова, который в «Подражании Шиллеру» (1877) требовал, *Чтобы словам было тесно, / Мыслям — просторно*. Словам бывает тесно, когда их много, а мыслям просторно, когда их мало.

В стихотворении «Ночь» (1956) не совсем ясно, что имеется в виду:

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.

У самолета есть корпус (фюзеляж), от которого отходят крылья; поэтому *тень крыла* не может лечь на тучу *корпусом*.

Такая же неувязка коренится в уподоблении корабля человеческому телу: *Огромный бриг, громадой торса / Задрав бока...* («Матрос в Москве», 1919). *Торс* — не что иное, как туловище, а *бока* — части туловища; выражение *задрать туловищем бока* — неловкое по своей внутренней форме. Ссылка на олицетворение ничего не меняет: корабль «задирает» борта, как человек — плечи (но человек, а не человеческий *торс*).

В «Руднике» (1918): *...Когда, с задов облив китайцев...* (про свет солнечных лучей, заливающий спины рудокопов).

В первой главе «Спекторского» есть предложение на грани бессмыслицы: *Ей гололедица лепечет с дрожью, / Что время позже, чем бывает в пять*. Буквально придаточное значит: «сейчас позже пяти», — но, сдастся, автор подразумевал не это: «сейчас только пять, хотя может почудиться, что позже».

В другой главе романа непонятно, в каком лесу построена дача — то ли в лиственном (*дуброва*), то ли в хвойном (*бор*):

Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, сдвинув брови,
Брели на полузанесенный дом.

Слова *название* и *заглавие* — синонимичны, но не всегда взаимозаменяемы:

Давнишняя мечта
Осуществлялась вьяве,
Я посещал места,
Знакомые в заглавьи.
(«Дымились, встав от сна...», 1936)

У географических объектов, в отличие от книг, есть названия, но нет заглавий (сверх того, сломано нормальное грамматическое управление: *знакомые по заглавьям*). Эту строфу Пастернак изъясил, но оставил другую, где *волокита* представляется паронимической заменой *проволочки* (паронимы — разные по смыслу, но сходные по звучанию слова):

Откинув лучший план,
Я ехал с волокитой,
Дорога на Беслан
Была грозой размыта.

¹⁴ Гипотетически он реконструируется так: «Не всё из пережитого доверяй бумаге!»

Волокита — «любитель ухаживать за женщинами» или «бюрократическое затягивание дела»; оба значения ни при чем.

Пример из стихов военного времени:

Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон.
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.
(«Старый парк», 1941)

Погребен Ю. Ф. Самарин не в парке, а в Даниловом монастыре. И уж совсем мало правдоподобно, чтобы при жизни Самарин в этом парке *послужил* — не садовником же, в самом деле!

В книге стихов «Когда разгуляется» поэт предлагает лирическому адресату: *Для тебя я весь мир, все слова, / Если хочешь, переименую* («Без названия», 1956). Обещание тут же исполняется: в пределах общепринятой семантики переименованию поддаются предметы, но не слова¹⁵.

Подчас приходится гадать, какое содержание вкладывается в то или иное слово. Автор строит планы на будущее: *...В такой тишине и писать бы, / Прикапливая на бюджет* («Кругом семенящейся ватой...», ранняя редакция, 1931). *Прикопить денег на что-либо* значит «собрать сумму, необходимую для предполагаемой траты». Но *бюджет* — не «трата», а «совокупность средств к существованию, отпущенных на определенный срок».

Нивелир — геодезический инструмент для определения высоты, и только. Оттого удивляет просьба: *Дай мне, превысив нивелир, / Благодарить тебя до сипу...* («Платки, подборы, жгучий взгляд...», 1931). Сдвиг значения мотивирован не только многозначностью французского *niveau* — «нивелир; ватерпас; уровень», но и тем, что *уровнем* по-русски называется также прибор. Для правильного понимания, однако, этого мало (ср.: *Позволь мне, превысив уровень, благодарить тебя до сипу*). Надо еще учесть, что поэт исходил из переносного значения глагола *нивелировать* — «уничтожить или сглаживать различия»; *нивелир* тут — что-то вроде среднего уровня или общего места¹⁶.

Диптих «Магдалина» (1949) написан от лица грешницы, обратившейся к Христу:

...Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Миро — «благовонное масло»; ни ноги, ни другую часть тела *обмыть* им невозможно. Все омовения в Писании совершаются водой, а уже потом для умащения используется миро (Иудифь, 10: 3; Иез. 16: 9; и др.). В Евангелии грешница омывает Христу ноги слезами, отирает их волосами, а миром все-таки намазывает (Лк. 7: 38).

Некоторые обороты производят впечатление неумышленных оксюморонов. Для поэта послереволюционная Москва — *груда щебня, идущая В разлом, на слом, в пучину гребней* («Матрос в Москве»; *пучина* — это водная глубь, а *гребни* — верхние края волн). В одном из стихотворений сказано, что дорога *по прямой за поворот / Змеится* («Дорога», 1957). В цикле «Художник» есть оксюморонное сравнение: *...Встречаешь чабана. / Он — как утес валунный* («Чернее вечера...», 1936). *Валунный утес* — все равно что *квадратный круг*, потому что *валун* — это «большой округлый камень», а *утес* — «обрывистая <точнее, отвесная> скала»¹⁷.

¹⁵ Здесь тоже могло иметь место замещение паронимом: *переименую слова* значит «их переименую».

¹⁶ Слово *уровень* в этом значении есть у Ап. Григорьева: «<...> во всяком немного выдающемся выражении физиономии <...> мы готовы видеть всегда что-то злое, что-то враждебное нам, чадам посредственности; мы хотим непременно уровня, хотя бы уровня безобразия» (Григорьев А. Сочинения в 2-х томах. М., 1990, т. I, стр. 333).

¹⁷ «Толковый словарь русского языка». М., 1934, т. I, стлб. 222; 1940, т. IV, стлб. 1013.

Нередко небрежность проявляется в плеонастической избыточности:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

(«О знал бы я, что так бывает...», 1932)

Требует не читки, а гибели — вроде бы этим все сказано. Добавляя, что *гибель* — и *полная*, и *всерьез*, поэт словно бы допускает мысль, будто возможна «частичная гибель понарошку»¹⁸.

Другой пример, более сложный:

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где *свидетельства* мысли сухие
Не *выказывали* бы ума.

(«Божий мир», 1959)

Одно из выделенных слов, по сути, дублирует другое. Можно сказать: *Эта мысль обнаруживает ум писавшего*, — но нельзя сказать: *Свидетельство этой мысли обнаруживает его ум*.

Еще несколько плеоназмов: ...*Его судьбы, сложенья и удела* («Спекторский»; *судьба* и *удел* здесь семантически эквивалентны); *жерди палисадин* («Как кочегар, на бак...», 1936; *палисадина* и есть «жердь палисадника»); ...*Все громко говорящий вслух* («Июль», 1956; если *громко*, то уж, понятно, не про себя). «Гефсиманский сад» (1949) включает в себе разом тавтологию и катахрзу (внутренняя форма тропа вступает в конфликт с контекстом): *Ты видишь, ход веков подобен притче / И может загореться на ходу* («ход может загореться на ходу»).

Важный фактор небрежности — деформация фразеологических сращений: ...*Сразу меняясь во взоре...* («Отплытие», 1922; вместо *меняясь на глазах*); *И мигом ока двери комнаты врзлет* («Лейтенант Шмидт», 1926 — 1927; вместо *во мгновение ока*); ...*Не распускай слюнями жижу* («Зарево», автограф главы 1, 1943; вместо *не распускай слюни*).

Можно кого-то *вогнать в краску* (то есть заставить покраснеть), но о покрасневшем (от стыда, от смущения) нельзя сказать, что он *в краске*. Поэтому строка: *Я помню ночь, и помню друга в краске...* («Спекторский») — буквально означает, что друг изгваздился.

О человеке, что ненароком куда-то забрел, мы говорим: *ноги сами его туда занесли*. Выражая ту же мысль, Пастернак меняет местами субъект и объект: *Как-то в сумерки Тифлиса / Я зимой занес стопу* («Как-то в сумерки Тифлиса...», 1936). Но *занести стопу* — это всего лишь «поднять ногу».

В стихотворении «Осень» разрушен устойчивый оборот *переполнить чашу*: ...*И чашу горечи вчерашней / Сегодняшней тоской превысьте*. Очередная катахрза: поэт предлагает превысить чашу тоской.

Своего рода фирменным знаком пастернаковской поэзии стала серия логически небезупречных конъюнкций, «уравнивающих» часть и целое¹⁹: ...*Я вспомню покупку припасов и круп...* («Годами когда-нибудь в зале концертной...», 1931), — можно подумать, что крупы не относятся к съестным припасам. То же самое в поэме «Лейтенант Шмидт»: *Майорши, офицерши / За-*

¹⁸ Должно быть, здесь ищет выражение идея гибели, за которой не может последовать второе рождение.

¹⁹ Объясняя эту фигуру метонимичностью художественного мышления Пастернака (ср.: Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 352 — 354; Jakobson R. Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak. — «Slavische Rundschau», 1935, Jg. VII, № 6, S. 357 — 374; Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 1998, т. I, стр. 38, 124), надо помнить, что метонимии в собственном смысле, то есть переноса значения по смежности, тут нет.

пахивали плац, — разве майорши не офицерши и неужели они все вместе запахивали один плац? В стихотворении «На ранних поездах» (1941) также нарушен *principium divisionis*: *Здесь были бабы, слобожане, / Учащиеся, слесаря* (и бабы, и слесаря, и учащиеся могут быть слобожанами). В «Одессе» (1944) сразу две близких конструкции: *Сапер занялся обезвреженьем / Подъездов и домов от тола* (подъезд — это часть дома); *...А родственникам жертв и вдовам...* (вдовы тоже родственники жертв²⁰). В «Станции» (1919), где находим один из первых случаев такого рода, алогизм сочетается с морфологическим вульгаризмом: *Что ж вдыхает красоту / В млень этих скул и личек?* Существительное *личико* в родительном падеже множественного числа имеет форму *личиков*, а из *личек* в качестве начальной формы восстанавливается только отсутствующее в языке *личко*.

Многие стихи Пастернака отличает синтаксическая амбивалентность. Это невольно признавал сам автор, разъяснявший смысл строк:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

(«Борису Пильняку», 1931)

Плеонастичность словосочетания *пустая вакансия* провоцирует на поиски метафорического смысла у прилагательного *пустой* — не имеет ли оно, скажем, значения «бесмысленный». Эти поиски облегчаются синтаксической неоднозначностью конструкции *X, если не Y*: ее можно прочесть как условную (именно это значение держал в уме Пастернак), но можно в ней увидеть и градацию (то есть модель типа: *неприятно, если не враждебно*). Некоторые так и воспринимают пастернаковские строки: «в наше время роль поэта опасна, если не бессмысленна». Пастернак, однако, писал о другом. 21 мая 1931 года он растолковал это место по просьбе А. Е. Крученых: «Смысл строчки: „Она опасна, если не пуста” — она опасна, когда не пустует (когда занята)»²¹. Авторская позиция понятна, но лексическая и синтаксическая неоднозначность в этих стихах присутствуют объективно.

Следующий пример грамматической непрозрачности любопытен тем, что допускает сразу два прочтения, за каждым из которых стоят незапланированные смещения в картине мира:

...И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

(«Спекторский»)

Если знамена носятся по двору сами собою, значит, у них есть босые ступни, а если знамена несомы какими-то людьми, эти люди держат их в своих босых ступнях²².

В знаменитой концовке «Ночи» путаются два значения родительного падежа (*genitivus subjectivus* и *genitivus objectivus*):

Ты — вечности заложник
У времени в плену.

В современном литературном языке при слове *заложник* так называемый родительный субъекта («тот, кто взял в залог») обладает намного большей частотностью, чем родительный объекта («тот, у кого взят заложник»). Лишь первая из этих семантических валентностей намечена в академическом сло-

²⁰ Ср.: «РОДСТВО <...> Отношение, создаваемое браком» («Толковый словарь русского языка». М., 1939, т. III, стлб. 1373).

²¹ Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1989, стр. 474.

²² Автор, вероятно, задумывал это как сравнение, построенное на отдаленном сходстве мельтешащих полотнищ с мелькающими босыми ступнями.

варе: «Лицо, захваченное кем-л. и насильственно удерживаемое с целью обеспечения каких-л. требований»²³. Не удивительно, что многие по ошибке уверены: пастернаковского художника в залог захватила вечность.

Нечаянная двузначность у Пастернака бывает связана с омонимией именительного и винительного падежа. В предложении из поэмы «Девятьсот пятый год» (1925 — 1926) даже контекст плохо помогает разобраться в том, кто и кого сосчитал: *В зале гул. / Духота. / Тысяч пять сосчитали деревья*. Не то деревья пересчитывают собравшихся в зале, не то, наоборот, собравшиеся в количестве пяти тысяч считают деревья, словно ворон или галок.

Сходное недоумение вызывает сентенция: ...*Стеченье фактов любит жизнь* («9-е января», 1925; ранняя редакция). Где субъект любви и где объект? Синтаксически нейтральный порядок «подлежащее — сказуемое — дополнение» выглядит очевидным абсурдом, но обратная грамматическая интерпретация тоже немногим осмысленнее²⁴.

Подлежащее и дополнение не сразу отыскиваются и в такой строке: *Прошедшей ночью свет увидел дерн* («Спекторский»). Скорее всего, подлежащее — *дерн*, хотя порядок слов подсказывает иное. Невнятность усугубляется тем, что слово *дерн* — «верхний слой почвы, скрепленный корнями травянистых растений», — выступает в несобственном значении: Пастернак, наверное, хочет сказать, что в эту ночь из-под земли пробилась травка.

Бывает и так, что не всегда или не сразу ясно, какие члены связывает союз: ...*Отец ее, — узнал он, — был профессор, / Весной она по нем надела креп, / И множество чего...* («Спекторский»). Первое, что приходит в голову, — Мария Ильина в знак траура по отцу надела креп и множество чего еще. Лишь перечитав текст дважды и трижды, улавливаешь мысль автора: Спекторский узнал не только о том, что отец Марии был профессором, но и обо многом другом.

Интересный аграмматизм есть в «Волнах». Пастернак обращается к социалистическому государству будущего:

Ты — край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь...

Время глагола тут не согласуется с семантикой наречия (правильно было бы сказать *больше не плачут* или *не будут плакать впредь*). Но это еще не всё: сделанное в придаточном указание на топоним приходит в противоречие с «люкусом», названным в главном предложении. Опираясь на «Слово о полку Игореве», поэт пытается выстроить антитезу: раньше женщины плакали, как Ярославна в Путивле, а при социализме — плакать не будут. А получается: социализм — это край, где в Путивле не плачут.

Особняком стоят стилистические диссонансы: часть из них я склонен тоже квалифицировать как небрежность. Она порождается двузначностью стилиевых форм, которые берутся в одном своем качестве, а в тексте проявляют другое. В высшей степени это свойственно бюрократическому жаргону. Его элементы в XX веке наводнили повседневную речь, чем и привлекли Пастернака, смотревшего на них как на средство снижения пафоса, способное сообщить стихам налет разговорности. Внедряя в любовное послание лексику и фразеологию делопроизводства, поэт за улыбкой стиля прятал внутреннюю тревогу:

Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути расстаться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.

(«Два письма», 1, 1921)

²³ Словарь современного русского литературного языка в 20-ти томах. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1994, т. V/VI, стр. 440 (выделено мною. — М. Ш.).

²⁴ Может, мысль поэта была такова: в жизни не так уж редко случаются невообразимые стечения событий.

Но канцеляризм пришел в неформальную речь из самой формальной сферы письменной деятельности. Память об этом не истерлась: неосторожное обращение с канцелярским слогом может обернуться сухостью и отчужденностью. Элементы деловой речи придают казенный оттенок чистосердечному поздравлению: *Я поздравляю вас, как я отца / Поздравил бы при той же обстановке* («Брюсову», 1923). Так же точно с трагической тональностью лирики диссонирует почти канцелярское: *Я вспомнил, по какому поводу / Слегка увлажнена подушка* («Август», 1953). Ср. в стихотворении «Тишина» (1957): *...Не солнцем заморожена, / А по совсем другой причине*²⁵.

Стилистической двойственностью обладают формы не только «нижних», но и «верхних» регистров. Например, славянизмы в разговорной речи, как правило, звучат иронически: *...Уста жуют* («Евгений Онегин», 5, XXIX, 2). Поэтому диссонансом кажется то место из «Магдалины», где в разговорном клише *закусить губу* — «прервать речь; сдерживать смех, слезы и т. п.» — под воздействием религиозной темы прозаизм заменен поэтизмом церковнославянского происхождения: *Брошусь на землю у ног распятия, / Обомру и закушу уста*. Неловкость усилена будущим временем глагола (обычно это выражение употребляется в прошедшем и по отношению к другому лицу). Слух цепляет также метонимия *ноги распятия* вместо *ног Распятого* или *подножия креста*.

Необходимо, однако, признать, что, хотя бурлескное соединение стилистически несоединимых речений пускает иногда мысль читателя в нежелательное для автора русло, в целом «неразличение» стилей отражает программные принципы Пастернака: классический гладиаторский Рим у него соседствует с туземными *турусами на колесах* («О знал бы я, что так бывает...»). Еще В. В. Тренин и Н. И. Харджиев заметили, что для поэта «характерно сталкивание слов самых отдаленных лексических рядов: банальных „поэтизмов” (душа, небеса, мечты) и медицинских терминов (экзема, стафилококки), варваризмов и „областных” слов русского языка, славянизмов, имеющих высокую окраску <, > и слов комнатного обихода»²⁶.

Постоянные оговорки и неуклюжие выражения, косноязычие, сбивчивость, бессвязность, сочетание плеоназмов с эллипсисами, многословия с недоговоренностью, наконец, крайняя неровность стиля, я думаю, безошибочно указывают на основной источник и ориентир поэтического идиолекта Пастернака. Это — непринужденная устная речь, которая, в отличие от письменной, не оставляет возможности перечитать и «отредактировать» сказанное. Отсюда «авторская глухота»: говорящий плохо себя слышит. Отсюда и то, что пастернаковские амфиболии — это преимущественно сдвиги по смежности, а не по сходству: в повседневном речевом общении «метонимические модели получают <...> такую свободу реализации, которой не знает» литературный язык»; в то же время в разговорной речи «почти полностью отсутствует метафора»²⁷ (аккуратнее было бы сказать — потеснена).

Но субстратом поэзии Пастернака не была устная речь вообще: его стихи напоминают разговор интеллигента, которому не чуждо бурлескное смешение книжностей и просторечия, высокого и низкого, «патетического и прозаического»²⁸. В интеллигентности Пастернака Брюсов усматривал тематические — и, я бы добавил, речевые — истоки пастернаковской поэзии: «<...> история и

²⁵ Среди курьезных примеров «канцелярита» у К. Чуковского есть такой: «Молодой человек, проходя мимо сада, увидел у калитки пятилетнюю девочку, которая стояла и плакала. Он ласково наклонился над ней и, к моему изумлению, сказал:

— Ты по какому вопросу плачешь?» (Чуковский К. Живой как жизнь. Разговор о русском языке. [М.], 1962, стр. 115). Этот же молодой человек вполне мог бы поинтересоваться, по какому поводу увлажнена подушка.

²⁶ Тренин В. В., Харджиев Н. И. О Борисе Пастернаке [1932]. — Ип: «Boris Pasternak: Essays». Stockholm, 1976, p. 14.

²⁷ «Русская разговорная речь». М., 1973, стр. 428, 462.

²⁸ Тренин В. В., Харджиев Н. И. Указ. соч., p. 9.

современность, данные науки и злобы дня, книги и жизнь — все, на равных правах, входит в стихи Пастернака, располагаясь, по особенному свойству его мироощущения, как бы на одной плоскости»²⁹.

Конечно, не всякий интеллигент манерой речи похож на Пастернака, корни поэтического строя которого надо искать в его собственном речевом укладе. Если верить мемуаристам, он писал так же, как говорил, и говорил так же, как писал: «<...> весь строй стихов Б<ориса> Л<еонидовича> именно таков, какими были ход мысли и речь Пастернака» (Е. Б. Черняк)³⁰. А тому, какими они были, имеется немало свидетельств. И. Г. Эренбург описывал это как «сочетание косноязычия, отчаянных потуг вытянуть из нутра необходимое слово и бурного водопада неожиданных сравнений, сложных ассоциаций, откровенностей на явно чужом языке»³¹. Пастернак «говорит сложно, перебрасываясь, отступая, обгоняя сам себя» (А. Н. Афиногенов)³². «Ахматова рассказывала, что когда к ней приходил Пастернак, он говорил так невнятно, что домработница, послушавшая разговор, сказала сочувственно: „У нас в деревне тоже был один такой. Говорит-говорит, а половина — негоже“» (К. И. Чуковский)³³. А. К. Гладков вспоминал, что «Б<орис> Л<еонидович> всегда многословен, сбивчив, хаотичен, хотя все говоримое им внутренне последовательно и только форма импрессионистически-парадоксальная»³⁴. По словам Исая Берлина, речь Пастернака «зачастую перехлестывала берега грамматической правильности — ясные и строгие пассажи перемежались причудливыми, но всегда замечательно яркими и конкретными образами, которые могли переходить в речь по-настоящему темную, когда понять его уже становилось трудно»³⁵. «Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания <sic!>, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия» (А. А. Вознесенский)³⁶.

Современники не солгали: в какой-то степени аграмматизм присущ не только устной речи Пастернака, но и стихам. Вот два анаколуфа из «Волн»:

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как был, запомнишь наизусть.

Деформация синтаксических связей обнажится, если текст перевести в прозу: *Я приму тебя, как упряжь, ради тех будущих безумств, что ты зазубришь меня, как стих.* Составной союз *ради того что* (*Я приму тебя, ради того что ты зазубришь меня, как стих*) контаминирован с предложным дополнением (*Я приму тебя ради будущих безумств*).

Другое отступление от синтаксической нормы (пожалуй, чуть более резкое): *...Я б мог застать тебя в курзале, / Чем даром языком трепать.* Союз *чем* требует

²⁹ Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. — «Печать и революция», 1922, кн. 7, стр. 57. В связи с поэзией Пастернака Мандельштам рассуждал о том, что «разговорная речь любит приспособление. Из враждебных кусков она создает сплав. Разговорная речь всегда находит средний удобный путь» (Мандельштам О. Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1993, т. 2, стр. 299). Тезис Мандельштама подтвердили лингвисты, показавшие, что в неформальном интеллигентном общении «стилистическая нейтрализация становится наиболее характерным условием соединения обиходных речевых средств с литературными» (Винокур Т. Г. Стилистическое развитие современной русской разговорной речи. — В кн.: «Развитие функциональных стилей современного русского языка». М., 1968, стр. 21 и др.).

³⁰ «Воспоминания о Борисе Пастернаке». М., 1993, стр. 129.

³¹ Эренбург И. Портреты современных поэтов. М., 1923, стр. 62.

³² «Воспоминания о Борисе Пастернаке», стр. 382.

³³ Там же, стр. 283.

³⁴ Гладков А. Встречи с Пастернаком. М., 2002, стр. 123; ср. стр. 203.

³⁵ «Воспоминания о Борисе Пастернаке», стр. 523.

³⁶ Там же, стр. 575.

соотносительного наречия в сравнительной форме, но в «Волнах» оно отсутствует (ср.: *Лучше было бы застать тебя в курзале, чем даром трепать языком*).

Кое-где союзное слово по смыслу противоречит контексту: *Но эти вещи в нравах слобожан, / Где кругозор свободнее гораздо...* («Спекторский»). Такое употребление типично для просторечия, но книжный язык требует сказать: *...в нравах жителей слободы, где... либо ...в нравах слобожан, чей кругозор гораздо свободнее*. То же в стихах «Безвременно умершему» (1936):

Эпохи революций
Возобновляют жизнь
Народа, где стрясется,
В громах других отчизн.

Труднее отыскать *raison d'être* в финале «Дороги», где говорится о смысле жизни:

А цель ее в гостях и дома —
Всё пережить и всё пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимолетного пути, —

то есть *цель жизни — всё пройти, как изломы пути оживляют даль*. Может статься, это искаженный хиазм: «цель жизни — всё пройти, как идет путь, оживляя даль». Или даже так: «жизнь идет, подобно пути, который оживляет, подобно жизни».

Кроме анаколуфов, у Пастернака во множестве представлены другие синтаксические неправильности. Примечательна конструкция, в которой союз *и* соединяет главное слово с зависимым, определяемое с определением:

...Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И восанному с молоком.
(«На ранних поездках»)

В этих стихах причастный оборот лишь формально согласуется с *порывом*; по смыслу же он связан со *слабостью* (ср.: *...слабости врожденной и восанной с молоком*).

Однородные местоимения, сменяющие друг друга, могут отсылать к разным референтам:

И так как с малых детских лет³⁷
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле.
(«Весенню порою льда...», 1932)

Поэт *ранен женской долей, / И след поэта — только след / Ее путей...* Чьих путей? Единственное существительное женского рода — *доля*, но заменить им местоимение нельзя, иначе *след поэта* окажется *следом путей женской доли*. От нелепицы избавляет метонимия: *ее путей = путей женской доли = «путей женщины»*. Однако строкой ниже метонимическая подстановка вредит смыслу: *я ей задет* синонимично выражению *я ею ранен*, но «ранен» поэт, как поведал он сам, не женщиной, а «женской долей». Впрочем, уже в следующей строке (*И ей у нас раздолье*) референт местоимения снова меняется: на сей раз *ей* — это опять не «женской доле», а «женщине», освобождению которой радуется автор.

³⁷ Чистейший плеоназм: *с малых детских лет = с малых лет = с детских лет*.

В поэзии Пастернака систематически наблюдается нарушение глагольной сочетаемости, например в «Марбурге» (1916), где *С земли отделяется каменный памятник* (ср. *подняться с земли* и *отделиться от земли*). В автографе и во всех прижизненных изданиях одна из самых известных строк Пастернака читалась: *...Сквозь фортку кликну детворе...* («Про эти стихи», 1917), — хотя *кликнуть* управляет не дательным, а винительным падежом³⁸. В «Белых стихах» (1918), наоборот, глагол *пылить* выступает как переходный: *Глаза, казалось, Млечный Путь пылит*. В стихотворении «Еще не умолкнул упрек...» (1931): *Дорога со всей прямою / Направилась на крематорий* (по правилам русского языка можно было бы ожидать: *направилась в крематорий* или *к крематорию*³⁹). В цикле «Художник» обсуждается возможность куда-нибудь *затаиться* (ср. «спрятаться куда?», но «затаиться где?»): *Назад не повернуть оглобли, / Хотя б и затаясь в подвал* («Мне по душе строптивый норов...»; не говорю о катахрезе: в подвале *поворачивать оглобли* совсем несподручно). В стихах того же времени Пастернак написал: *...Наведаться из грек в варяги, / В свои былые адреса* («Все наклоненья и залого...», 1936; норма требует: *наведаться по адресам*). В «Гефсиманском саде» Иисус говорит: *Вложи свой меч на место, человек...* Некорректное управление *вложить меч на место* — следствие совмещения конструкций *вложить в...* и *положить на...*; ср. в русском синодальном переводе: *возврати меч твой в его место* (Мф. 26: 52).

Приведу с полдюжины примеров нестандартного управления из поздних стихов: *...Июль, домой сквозь окна вхожий...* («Июль»; принято говорить *вхожий в дом*⁴⁰). Аналогичный казус: *...Как часто нас с окраины / Он разводил домой* («Первый снег», 1956; принято говорить *разводил по домам*). Строфой выше в одну конструкцию соединены две (*на нашем веку + в нашу бытность*): *На нашей долгой бытности / Казалось нам не раз...* Наречие *наперегонки* у Пастернака управляет зависимым словом так же, как наречие *наперерез*: *...Батрачкам наперегонки...* («В разгаре хлебная уборка...», 1957; ср. «*наперерез кому?*» и «*наперегонки с кем?*»). В наброске «О боге и городе» (1957): *Мы бога знаем только в переводе, / А подлинник немногим достигим*⁴¹ (не «*достигим кому?*», а «*достигим для кого?*»). Близкое недоразумение в «Заморозках» (1956): *Я тоже, как на скверном снимке, / Совсем неотличим ему* (либо *ему неразличим*, либо *неотличим от него*).

Аграмматизм Пастернака, сближающий разговорную речь с поэтической, не ограничивается синтаксическим уровнем, но простирается на весь язык. Так, морфология у Пастернака знает немало случаев словоизменения, которые тоже должны рассматриваться в аспекте взаимодействия поэтической и разговорной речи: *...И взломленный засов* («Пусты объятья башенных...», между 1910 и 1912); *Дыши в грядущее, теребь / И жги его...* («Порою ты, опередив...», 1915); *...Тоску... мою / баюча* («Еще более душевный рассвет», 1917); *О солнце, слышишь? «Выручь денег»* («Клеветникам», 1917)⁴²; *...На волоса со сводов капит; ...Текущим сердцем наземь капишь* («Рудник»); *...Мрачатся улиц выхода...* («Бабочка-буря», 1923); *...Где лгут слова и красноречье храмлет...* («Брюсову»); *...И клубится дыханье помой* (там же); *...Под дождь помой* («Лейтенант Шмидт»; как и в предыдущем примере, это род. пад. мн. ч. от слова *помой*); *Вечерние выпуска / Газет...*; *...И обданных повидлой игл* («К Октябрьской годовщине», 1927); *...Меж тем как, не преувелича, / Зимой в деревне нет жителя...* («Зима на кухне,

³⁸ Тут, по-видимому, перепутаны семантика и управление паронимов *кликнуть* и *крикнуть* (ср. окончательную редакцию этой строки, появившуюся при подготовке невышедшей книги в середине 1950-х годов).

³⁹ Надо полагать, роль синтаксического субстрата тут сыграло сочетание *дорога на крематорий*.

⁴⁰ Прилагательное *вхожий* вдобавок наделено причастным значением «входящий».

⁴¹ Пастернак Б. Собрание сочинений..., 1989, т. 2, стр. 575.

⁴² Здесь проблема не только с морфологией, но также с синтаксисом и семантикой: *выручь денег* — не то «заработай денег», не то «суди деньгами» (первое более приемлемо по форме, второе — по смыслу).

пенье петьки...», редакция 1942 года); ...*Хрустят шаги, с деревьев капит...* («Все сбылось», 1958) и др.⁴³

Грамматические вольности у Пастернака идут рука об руку с фонетическими. Прежде всего это нелитературная акцентология: еще Брюсов в рецензии с неодобрением отметил форму *безвременной* в стихотворении «Близнец на корме» (1913)⁴⁴. В этой связи представляют интерес такие ударения, как *звóнят* («Опять весна в висках стучится...», 1910), *повóдырь* («Обозный город», между 1910 и 1912), *лóжится* («Зимнее утро», <1>, 1918), *три разá* («Высокая болезнь»), *прíговор* («Лейтенант Шмидт»); *свёрлят* («Мороз», 1927), *прикушённых, опохмелишь* («Спекторский», ранняя редакция), *елéй* («Немолчный плеск солей...»; род. пад. мн. ч. от слова *ель*), *танцовщица* («Вакханалия», 1957) и др.

Диалектный характер носит огласовка *дорит* («Волны», автограф), *задоренных* («Любка», ранняя редакция, 1927). Показательно, что оба написания были исправлены и в печать не попали.

Еще большую разговорность поэтическому языку Пастернака придают некоторые явления, лежащие на грани орфоэпии и ритмики. Среди них полная редукция гласных: *Просевая полдень, Тройцын день, гулянье...* («Воробьевы горы», 1917); ...*Багровым папортником рос* («Клеветникам»); ...*Сутолка, кумушек пересуды* («Опять весна», 1941); ...*Развьем ремесл и наук* («Трава и камни», 1956). Другой фактор — наличие слогаобразующих сонорных: *Сентябрь составлял статью...* («Имелось», 1917; четырехстопный ямба); *Снаружи казалось, у люстр плеврит* («Фуфайка больного», 1918; четырехстопный амфибрахий); ...*И Кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюда* («Русская революция», 1918; шестистопный ямба); *Октябрь. Кольцо забастовок* («Лейтенант Шмидт»; трехстопный амфибрахий)⁴⁵.

Пристрастие к «антипоэтической» фонике выражается в отказе от традиционного благозвучия, которому противопоказаны скопления и повторы труднопроизносимых звуковых сочетаний. Этот факт хорошо известен, и едва ли стоит напоминать классические примеры пастернаковской «какофонии»: *В трюмо испаряется чашка какао, / Качается тюль...* («Зеркало», 1917); ...*В волчках волочась за чулками...* («Степь», 1917); *Тупицу б двинул по затылку, / Мы в ту пору б оглохи, но / Откупорили б, как бутылку...* («Всё снег да снег, — терпи и точка...», 1931) — и т. п. Некоторые филологи связывают такую инструментовку с поэтикой скороговорки⁴⁶.

Демонстративная «антипоэтичность» дает себя знать даже в том, как Пастернак читал свои стихи: «Интонация, — делился впечатлениями В. Д. Берестов, — показались мне слишком прозаичными, разговорными»⁴⁷.

Стих Пастернака славится «богатством ритмов, большею частью влитых в традиционные размеры»⁴⁸. Это разнообразие ритмического репертуара тоже во

⁴³ См. также: Кнорина Л. В. Указ. соч., стр. 243 и далее.

⁴⁴ «Русская Мысль», 1914, кн. VI, стр. 17 (3-й паг.). Посылая Цветаевой через девять лет после выхода из печати свою вторую книгу стихов, Пастернак так охарактеризовал ее недостатки: «Непозволительно обращение со словом. Потребуется перемещение ударенья ради рифмы — пожалуйста: к услугам <...> областные отклоненья или приближеные иностранных слов к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры вместо извожиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, которой это посвящено, — из Харькова и так говорит» (Пастернак Б. Собрание сочинений..., 1992, т. 5, стр. 200 — 201; из письма к М. И. Цветаевой от 7 июня 1926 года).

⁴⁵ В классическом стихе (в отличие от разговорной речи) такие звуко сочетания обычно не образуют слога: *Октябрь уж наступил — уж роца отряхает...* (А. Пушкин, «Осень»); ...*Летит штабротмистр на обед* (М. Лермонтов, «Тамбовская казначейша»); ...*Торжественно державный Кремль стоял...* (В. Жуковский, «Государыне Вел. Кн. Александре Федоровне...»).

⁴⁶ См., например: Безродный М. Конец цитаты. СПб., 1996, стр. 141—151. Скороговорка, между прочим, не терпит вчитывания в каждое отдельное слово. Пастернаковские строки не предназначены для того, чтобы разглядывать их «под микроскопом» и «считать зерна в мере хлеба» («Спекторский»), как я это делал в первой части статьи; «повышенная скорость чтену уже задана, как и манера исполнения — „взахлеб“, преодолевая препятствия» (Безродный М., Указ. соч., стр. 149).

⁴⁷ «Воспоминания о Борисе Пастернаке», стр. 513.

⁴⁸ Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии, стр. 57.

многим обусловлено ориентацией на разговорную речь, для которой характерна несравненно бóльшая, чем в стихе, свобода (и хаотичность) ритмики. Именно уступкой естественному языку диктовались неоднократные нарушения метрических законов силлаботоники у Пастернака.

А. Н. Колмогоров и А. В. Прохоров утверждали, что «в произведениях, написанных классическими метрами», Пастернак выдерживает «безукоризненно точный счет слогов»⁴⁹. Это не совсем так: даже в строчках одного размера расстановки от начала стиха до последнего икта часто неодинаковы: *Над шабашем скал, к которым...* («Оригинальная», 1918; остальные 23 строки — правильный трехстопный амфибрахий); ...«Протестую. Долой». / *Двери вздрагивают, и упрямясь; Как могла, я крепилась, / Указанного и держась* (вариант); *В свете зарева / Наспех / У Прохорова и на кухне...* («Девятьсот пятый год»; в остальном поэма написана правильным анапестом, преимущественно пятистопным); ...«Окликнутые и с позиций...» («К Октябрьской годовщине», 1; остальные 35 строк — правильный трехстопный амфибрахий); ...«О, пренебрегнутые и мои...» («Рослый стрелок, осторожный охотник...», 1928; остальные 11 строк — правильный четырехстопный дактиль⁵⁰); ...«Украшенная и органом» («Еще не умолкнул упрек...»; остальные 75 строк — правильный трехстопный амфибрахий); ...«Дом и на стороне Петербургской» («Белая ночь», 1953; остальные 35 строк — правильный трехстопный анапест) и т. п.⁵¹

Другие законы классической силлаботоники у Пастернака также нарушаются, хотя не столь регулярно. И в двусложниках, и в трехсложниках сверхсхемные ударения изредка образованы словами, безударные слоги которых приходится на метрические ударные позиции строки: *Крики весны водой чернеют...* («Февраль. Достать чернил и плакаты!..», ранняя редакция, 1912; четырехстопный ямб); ...«Северно-сизый, сорный дождь...» («Вчера, как бога статуэтка...», 1913; четырехстопный ямб); ...«Рвут вопли его» («Голос души», 1920; двустопный хорей со сверхсхемным ударением на клаузуле); *То был двадцать четвертый год. Декабрь...* («Спекторский»; пятистопный ямб); ...«Это ведь двойники» («Вакханалия»; двустопный анапест); ...«Высунешься, бывало, в окно...» («Женщины в детстве», 1958; трехстопный анапест). Судя по всему, один раз нарушен закон ударной константы — отсутствует метрическое ударение на последней стопе нерифмованного трехстопного хорей: ...«Не бывавшая...» («Голос души»)⁵².

Длинные и сверхдлинные междуударные интервалы тоже идут вразрез с традиционной ритмикой: ...«Захлебывающийся локомотив» («Город», 1916; четырехстопный амфибрахий); ...«У выписавшегося из больницы» («Весна», <1>, 1918; пятистопный ямб); ...«Захлебывающаяся Севастополь...» («Лейтенант Шмидт»; пятистопный ямб); *Раскалывающаяся артиллерия...* («Дурной сон», редакция 1928 года; четырехстопный амфибрахий); ...«Задумавшей перед рекоставом» («Грядущее на всё изменит взгляд...», 1942; пятистопный ямб); ...«Им вынесено и совершено» («Победитель», 1944; пятистопный ямб)⁵³. По количеству неполноударных стихов в трехсложных размерах с Пастернаком не сравнится никто: ударения на второй стопе трехстопного амфибрахия у него пропущены в 12,7 процента стихотворных строк. Но густота пропусков, «которая непривычному слуху кажется неестественной <...> как раз и соответствует „естественному”

⁴⁹ Колмогоров А., Прохоров А. К основам русской классической метрики. — В кн.: «Содружество наук и тайны творчества». М., 1968, стр. 426 и др.

⁵⁰ В этой строке аномальная форма причастия — *пренебрегнутые* вместо *пренебреженные* — образована от несуществующего глагола *пренебрегнуть*.

⁵¹ В дополнение к слоговым усечениям зарегистрирован единственный случай слогового наращивания — в начале стихотворения «Будущее! Облака встрепанный бок!..» (<1931>; остальные 23 строки — правильный дактиль, преимущественно четырехстопный).

⁵² Этот ритмический ход скрадывается размером: через одну чередуются трехстопные строки с мужским окончанием и двустопные строки с дактилическим.

⁵³ Ср.: Колмогоров А., Прохоров А. Указ. соч., стр. 428 и др.

ритмическому словарию русского языка»: теоретически таких строк должно было быть даже немного больше — 14,4 процента⁵⁴.

В ямбах и анапестах Пастернака достойны удивления многосложные безударные зачины. Например, во всей русской поэзии XIX века до сих пор разыскан только один стих четырехстопного ямба с несомненным пропуском двух первых метрических ударений: *...И не перестает сиять...* (Г. Батеньков), — тогда как у Пастернака насчитывается 17 таких строк: *Но недоразуменья редки...* («Матрос в Москве»); *...И по водопроводной сети...*; *...За железнодорожный корпус, / Под железнодорожный мост* («Высокая болезнь»); *Их предостерегают с бочек* («9-е января»); *...Из-за известняковых груд...*; *...На противоположный край*; *...Несовершеннолетний гад* («Зверинец», 1925; второй пример — из ранней редакции); *А уж перекликались с плацем...*; *Вы революционер? В борьбе...* («Лейтенант Шмидт»); *...Спал и, оттрепетав, был тих...* («Смерть поэта», 1930); *И на одноименной грани...* («Неоглядность», 1944); *...Чтобы за городской гранью...* («Земля», 1947); *Или, опередивши мир...*; *Или консерваторский зал...* («Музыка», 1956); *...Но на сороковом году...* («Культ личности забрызган грязью...», 1956); *...Как бы оберегая вход...* («За поворотом», 1958). Эти 17 строк тем не менее составляют только 0,5 процента от числа всех четырехстопных ямбов Пастернака, написанных с 1918 по 1959 год, хотя, согласно языковой модели этого размера, стихов такой формы должно быть 0,7 процента⁵⁵. Так же как с пропусками ударений в амфибрахии, в случае с пятисложными безударными ямбическими зачинами Пастернак приближается к «естественной» норме, но не достигает ее из-за инерции традиционного ритма.

Это же можно сказать о ритмике четырехстопного ямба в целом. Со времен Андрея Белого мы знаем, что у поэтов XVIII века метрические ударения чаще пропускались на второй стопе, а у поэтов XIX века — на первой. В XX веке «ударность II стопы опять понижается», и «наиболее сильно» эта «„архаизаторская” тенденция» воплощена в четырехстопном ямбе Пастернака⁵⁶. Но у него это не было спровоцировано ни стиховедческими открытиями Белого, ни его ритмическими экспериментами⁵⁷. «Возвращение» к ритму XVIII века у Пастернака — в отличие, допустим, от Ходасевича⁵⁸ — было напроць свободно от стилизаторства: все дело в том, что от «естественного» языкового ритма стих XIX века отстоял дальше, чем стих XVIII, а самой «естественной» за всю историю размера оказалась ритмика Пастернака⁵⁹. Но эта «естественность» не была просто автоматическим подчинением языку: чтобы «отдаться» ему, надо было преодолеть искусственную ритмическую инерцию, выработавшуюся на протяжении двух столетий.

Всевозможные приметы устной стихии — *им немислим счет* — пронизывают поэтический язык Пастернака сверху донизу: его семантику и стилистику, лексику и фразеологию, морфологию и синтаксис, орфоэпию и просодию. *Подлиннее* («Высокая болезнь»), *на живуху*, то есть «наспех, кое-как», *тверезый, шурум-бурум* («Спекторский»), *повскакавши с тахт* («Волны»), *тулово* («Вечерело. Повсюду ретиво...», 1931), *занапастишь* («Вальс с чертовщиной»), *по щиколку* («По грибы», 1956), *в одеже* («Июль»), *заносит в лоск*, то есть «совершенно, окончательно» («Первый снег»), *с погулянок* («Ночной ветер», 1957) и тому подобные формы уместны только в разговорной речи. Пастернак не пишет: *Корпус был полон*, — он пишет: *Всё в корпусе было полно* («В больнице», 1956). Это, конечно же, не литературный язык — это язык художественной

⁵⁴ Ср.: Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974, стр. 151, 152.

⁵⁵ См.: Тарановский К. Ф. О ритмической структуре русских двусложных размеров. — В кн.: «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова». Л., 1971, стр. 426.

⁵⁶ Гаспаров М. Л. Указ. соч., стр. 92.

⁵⁷ См.: Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 319; Иванов Вяч. Вс. О применении точных методов в литературоведении. — «Вопросы литературы», 1967, № 10, стр. 117.

⁵⁸ См.: Шапир М. И. Указ. соч., стр. 105 — 107.

⁵⁹ Ср.: Гаспаров М. Л. Указ. соч., стр. 89, 91 — 92.

литературы, круто замешенный, как почувствовал еще Мандельштам, на повседневной бытовой речи.

Разнообразие и множественность проявлений небрежности у такого большого поэта, как Пастернак, запрещают в ней видеть исключительно следствие его недосмотра — все это если и не нарочно, то, без малейшего сомнения, закономерно. Сдвиги и двусмысленности, корявость, неблагозвучие, грамматические погрешности для поэта настолько органичны и стилистически нейтральны, что обнаруживают себя даже в переводах, а не только в собственных стихах. Это и понятно, ведь Пастернак свою работу переводчика призывал «судить как русское оригинальное <...> произведение»⁶⁰. С этой точки зрения красноречив перевод Гётевой «Миньоны», в каждую строфу которой привносятся амфиболии либо аграмматизм:

Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
Где пурпур королька прильнул к листу...⁶¹

Королек — не только сорт апельсина, но еще и небольшая лесная птичка с оранжевым оперением на темени; по этой причине уразуметь перевод суждено лишь тому, кому ведом оригинал: *Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, / Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühen...* = Ты знаешь край, где цветут лимоны, / В темной листве пылают золотые апельсины... (кстати, апельсины у Пастернака произрастают в лимонных рощах).

Во второй строфе перевода *изваянья задают вопрос: / Кто эту боль, дитя, тебе нанес?* По-русски так сказать нельзя: *боль причиняют*, а *наносят вред*, *обидают* или *рану* (в немецком тексте: *...Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: / «Was hat man dir, du armes Kind, getan?» = ...И статуи стоят и смотрят на меня: / «Что случилось с тобой, бедное дитя?»*). А венчает стихотворение обмолвка в заключительной строфе:

Ты с гор на облака у ног взглянул?
Взбирается сквозь них с усиьем мул.

У Пастернака мул протискивается сквозь ноги, у Гёте — ищет свой путь в тумане: *Kennst du den Berg und seinem Wolkensteg? / Das Maultier sucht im Nebel seinem Weg...* = Ты помнишь ли гору с ее заоблачной тропой? / Мул ищет в тумане свой путь... Пастернак в переводе верен себе больше, чем подлиннику: «Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации»⁶².

Надеюсь, сказанного довольно, чтобы удостовериться: небрежность является неотъемлемой чертой индивидуального стиля Пастернака. Я не стану умножать примеров — продуктивнее будет установить личные, эстетические и социальные причины семантических и грамматических сдвигов, нахлынувших в поэзию Пастернака.

Несмотря на то что в его ранних книгах случаи явной небрежности сравнительно немногочисленны, они не укрылись от первых слушателей и читателей. С. П. Бобров, его «крестный» в литературе⁶³, «уверял, что в молодости Пастернак был нетверд в русском языке: „Бобров, почему вы меня не поправили: 'падет, главою очертя', 'а вправь пойдет Евфрат <'>? а теперь критики говорят: неправильно". — „А я думал, вы — нарочно»⁶⁴. Поначалу Па-

⁶⁰ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 386.

⁶¹ Цит. по тексту первой публикации: Гёте И.-В. Избранные произведения. М., 1950, стр. 57.

⁶² Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 413.

⁶³ См.: Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии, стр. 196.

⁶⁴ Гаспаров М. Л. Воспоминания о С. П. Боброве. — В кн.: «Блоковский сборник». Тарту, 1993, [вып.] XII, стр. 180. На исходе 20-х годов Набоков обвинял Пастернака в плохом знании русского языка и «чудовишной безграмотности» (Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989, стр. 346, 386).

стернака, как он сам признавался, такие придирки критиков «задевали»⁶⁵: сколько мог, он пытался убирать двусмысленности и очищать язык (среди прочего правка коснулась и тех мест, о которых упомянул Бобров). Но с какого-то момента поэт практически перестает эти оговорки исправлять, что, однако, ему не мешает над ними иронизировать⁶⁶. Слова Пушкина: *...Противоречий очень много, / Но их исправить не хочу*, — Пастернак повторяет, хоть и в несколько ином смысле: *А ошибусь, — мне это трын-трава, / Я всё равно с ошибкой не расстанусь* («Анне Ахматовой», 1929).

Почему поэт не хотел расставаться с «ошибками»? Во-первых, с наступлением литературной зрелости он стал свободнее давать доступ в поэзию своему личному языку: «Прежде меня задевало то, что Юлиан [Анисимов] мне глаза колол „отдаленными догадками” о том, что *не еврей ли я*, раз у меня падежи и предлоги хромают (будто мы падежам и предлогам только шеи свертывали) <...> Теперь бы мне этих догадок на рыжок не стало. Теперь случись опять Юлиан с такой догадливостью, я бы ему предложил мои вещи на русский язык с моего собственного перевести»⁶⁷.

Но хотя о праве на «свой собственный язык», позволявшем не считаться с теми или иными нормами, Пастернак впервые объявил уже в 1916 году, этот вопрос продолжал его заботить еще долгое время. Острее всего, пожалуй, он был поставлен в исповедальном письме Горькому 7 января 1928 года: «Мне, с моим местом рожденья, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влечениями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезаю свою роль и долю»⁶⁸.

Из этих слов неоспоримо явствует: поэт считал собственный язык в полной мере русским, но не считал русский язык в полной мере собственным — и потому не решался дать простор своей языковой личности. На сто лет раньше суть стремления избежать ошибок в речи очень тонко раскрыл Кюхельбекер, защищавший Грибоедова от упреков в небрежении стилем: «<...> что такое неправильности слога Грибоедова (кроме некоторых, и то очень редких, исключений)? С одной стороны, опущения союзов, сокращения, подразумевания, с другой — плеоназмы, словом, именно то, чем разговорный язык отличается от книжного». Тем писателям, которые не знают таких неправильностей, «Грибоедов мог бы сказать то же, что какому-то философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину, сказала афинская торговка: „Вы иностранцы”. А почему? — „Вы говорите *слишком* правильно; у вас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши *Грамматики и Риторики*»⁶⁹.

⁶⁵ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 92.

⁶⁶ Редакция газеты «Литература и искусство» отвергла последнюю строфу стихотворения «Зима приближается» (1943):

И полные листьев колдобины,
И наше октябрьское имя
По нашей повадке особенной
Всего нам на свете родимей.

Пастернак со смехом писал В. Д. Авдееву 30 октября 1943 года: «Конечно: „Всего нам на свете родимей” звучит несколько неестественно и не может заглушить слышимого за ним: дороже (Всего нам на свете дороже). Но строчка: „И наши октябрьские рожи” была бы наверное нецензурна» (цит. по кн.: Пастернак Е. Борис Пастернак. Биография. М., 1997, стр. 589).

⁶⁷ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 92 (из письма к С. П. Боброву от 27 апреля 1916 года).

⁶⁸ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 238; ср. т. 4, стр. 785 — 786; Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. Stanford, 1998, кн. I, стр. 110 — 111; и др.

⁶⁹ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, стр. 228.

Это верно и применительно к Пастернаку, с той разницей, что многие его неправоты — действительные, а не мнимые. Он искал опору в пушкинском отношении к языку: «О кривотолках же, воображаемых и предвидимых, дело которым так облегчено моим происхождением, говорить не стоит. Им подвержен всякий, кто чего-нибудь в жизни добивался и достиг. Ведь и вокруг Пушкина *даже* ходили с вечно раскрытою грамматикой и с закрытым слухом и сердцем»⁷⁰. Припоминаются строки «Онегина»: *...Без грамматической ошибки / Я Русской речи не люблю, — чтобы сказать такое, прежде надо ощутить себя порождением языковой стихии. На полное слияние с нею Пастернак не переставал уповать:*

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, — не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

(«Любимая, — молвы слащавой...», 1931)⁷¹

Психологическое в речевом облике Пастернака тесно переплеталось с эстетическим. Личный язык был для него самым простым и естественным способом выражения: поэзия «лишь на какой-то высоте может <...> себе позволить последнюю и широчайшую метафору самоуподобленья простому человеку, пользующемуся языком как естественным средством общения»⁷². В эпоху тотального обобществления Пастернак ухитрился в значительной степени сделать поэзию частным делом частного лица.

Желание опростить поэтический язык, добиться его естественности заставляло Пастернака искать пути сближения с просторечием, с разговорной речью. Ошибки в ней неминуемы, а их отсутствие противоестественно и внушает недоверие: из-за чрезмерной правильности речь может показаться фальшивой и чужеродной. В то же время языковые аномалии не должны быть выпячены, как у Зоценко или Платонова; вот почему у Пастернака странности речи не бросаются в глаза, органично проистекая из его нацеленности на эстетическую непосредственность и безыскусственность. Такова природа поэтической «скорописи» Пастернака: стихи его созданы как бы начерно и второпях; автор на ходу подбирает слова, не отшлифовывая стили и не отделявая всех деталей. Можно это сравнить с устным речевым поведением Пастернака, как его описал сам поэт:

Стою и радуюсь, и плачу,
И подходящих слов ищу,
Кричу любые наудачу
И без конца рукоплещу.

(«Анастасии Платоновне Зуевой», 1957)

Стихотворная речь Пастернака вся в движении, в становлении; это процесс, а не продукт: каждый ее элемент по-своему нужен и оправдан, но как части соразмерного «целого» эти элементы могут быть несовместимы. Ключевое слово для понимания пастернаковской манеры мне подсказал Вяч. Вс. Иванов: это поэтическая импровизация («экспромт»), сродни импровизации музыкальной, которой Пастернак так увлекался в юности и которую потом сделал предметом своих стихов и прозы⁷³.

⁷⁰ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 239 (из письма к М. Горькому от 7 января 1928 года).

⁷¹ Поэтическое вдохновение автор «Доктора Живаго» понимал как покорство языку (см.: там же, 1990, т. 3, стр. 431).

⁷² Там же, т. 5, стр. 338 (из письма к С. Д. и С. Г. Спасским от 30 апреля 1933 года).

⁷³ В апреле 1924 года Пастернак жаловался сестре и зятю, что поэзия не дает средств к существованию: «<...> придется мне импровизацию словесную также оставить, как и фортепьянную» (Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам, кн. I, стр. 26).

Эстетизацию простоты и безыскусственности Пастернак не только пробо-
вал реализовать на практике, но и всячески декларировал:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И зная с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

(«Волны»)

Немота — это отказ от творчества; такую возможность всегда учитывает любой настоящий художник⁷⁴. Путь же от поэтического глаголения к немоте лежал через «родную», «бытовую», «простую» речь, через эстетически переживаемое косноязычие.

Призывы к простоте и естественности прорвались в поэзию Пастернака в самом начале 1930-х годов, но в письмах и разговорах эта тема возникла значительно раньше. 28 декабря 1927 года, надписывая Пастернаку «Жизнь Клима Самгина», Горький пожелал ему «простоты воображения и языка»⁷⁵. 4 января Пастернак написал в ответ: «У вас обо мне ложное представление. Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану»⁷⁶. Поэт не кривил душой. Н. Н. Вильям-Вильмонт передал слова Пастернака, которые услышал от него в 1921 году: «Поэзия должна быть проста и воздушна, как Верлен или как „Позарастали стежки-дорожки // Там, где гуляли милого ножки“. — (Последнюю строку он пропел)»⁷⁷. Имя Верлена здесь симптоматично. В статье, написанной к столетию со дня его рождения (1944), «пренебрежение к стилистике» у Верлена Пастернак выводил из требования «не слов, а дела»: «<...> Верлен <...> давал языку, на котором писал, ту беспредельную свободу, которая и была его открытием в лирике и которая встречается только у мастеров прозаического диалога в романе и драме. Парижская фраза во всей ее нетронутости и чарующей меткости влетала с улицы и ложилась в строчку целиком, без малейшего ущемленья <...> По сравнению с естественностью Мюссе Верлен естествен непредвосхитимо и не сходя с места, он по-разговорному, сверхъестественно естествен, то есть он прост не для того, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жизни, рвущемуся из него»⁷⁸.

«Сверхъестественная естественность» стала почвой для конфликта понятности и простоты:

Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

(«Волны»)

У Пастернака простота характеризует преимущественно отношение слова к субъекту речи, а понятность — отношение слова к адресату. Чем полнее выражен смысл, чем теснее его связь со словом, тем труднее понять сказанное; прямое и безусловное воплощение личности в тексте делает его малопроницаемым: «<...> так как это идеи скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются в форме выраженья, чем, может быть, ее и затрудняют»⁷⁹. Поэт объяснял

⁷⁴ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 295; Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии, стр. 505.

⁷⁵ «Переписка Бориса Пастернака», стр. 436.

⁷⁶ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 236 — 237.

⁷⁷ Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М., 1989, стр. 22.

⁷⁸ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 397 — 399; ср. стр. 309 — 311.

⁷⁹ Там же, т. 5, стр. 197 (из письма к М. И. Цветаевой от 23 мая 1926 года).

это В. С. Познеру, подразумевая себя и себе подобных: «Эти подозрительные уроды *тоже* любят личные неприязнительные записи, как любят их простые, немудрящие люди, вроде революции или Ходасевича. Беда лишь та, что за ведением записей им приходится заниматься созиданием глаза. Потому что записи их *так личны и так просты*, что их не прочесть, если читателю не вылепить добавочного, по природе выправленного, воображенья. Отсюда и все „лишнее” и „темное” их»⁸⁰.

Комментируя переписку Горького и Пастернака, издатели справедливо заключают, что у корреспондентов «было разное понимание того, что зовется простотой в искусстве»⁸¹. В самом деле, Горький, как вытекает из целого ряда его поздних статей, настаивал на максимально возможном сближении художественного языка с общелитературным, допуская незначительные отступления от нормы только ради речевой характеристики персонажей⁸². Пастернак, напротив, доступности общего языка предпочитал естественность личного: он был убежден, что «непредвзятое прямое высказывание всегда проще, чем общепринятая условность, считающаяся понятной в силу привычности выражения, и стремился <...> именно к этой простоте»⁸³.

Соглашаясь с такой трактовкой, нужно сделать существенное уточнение: с конца 1920-х годов Пастернак все настойчивее сглаживал неустранимые противоречия между «понятностью» и «простотой». 9 января 1923 года он писал из Берлина С. П. Боброву о только что вышедших «Темах и варьяциях»: «Лично я книжки не люблю, ее кажется доехало стремление к понятности. Не взирая на это, все тут, словно сговорившись, покончили со мной, сошедшись на моей „полной непонятности”»⁸⁴. Но уже в 1928 году для второго издания книги «Поверх барьеров» поэт подверг свои стихи «переработке, желая убрать непонятные места и придавая новому варианту как бы пояснительный характер» (Е. Ф. Кунина)⁸⁵. А в апреле 1930 года Пастернак прямо каялся Н. Н. Вильмунту в своих поэтических грехах: «<...> ему кажется, будто всему, что он успел написать, присущ какой-то прирожденный или приобретенный изъян, что следует писать по-иному, проще, общедоступнее». Принятое «решение в корне изменить свою поэтику» и «плотнее примкнуть к великим традициям русской классической эстетики»⁸⁶ стало уступкой, которую поэтическая личность была вынуждена сделать другим, социуму — сначала ближним, домашним, сочувствующим, людям своего круга, а потом все более и более далеким: «Наимягчайшие сожаленья о „непонятности” (при непрекращающихся знаках расположения) действуют на меня, как неосновательная ревность человека, всем для тебя пожертвовавшего. И я не зверь, надо наконец снять столь милым людям, ну ее к черту, истину, если с нею в доме так трудно»⁸⁷.

Поиски простоты и доступности стимулировало сближение Пастернака с З. Н. Нейгауз. В ней «покоряла даже не столько ее яркая внешность жгучей брюнетки, сколько неподдельная простота и естественность в обращении с людьми» (Т. В. Иванова)⁸⁸. Эти качества поэт выделил в стихотворении, которое чаще других служит поводом для кривотолков: *быть прекрасной без извилин*

⁸⁰ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 281 — 282; ср. стр. 197; написано осенью 1929 года.

⁸¹ «Переписка Бориса Пастернака», стр. 436.

⁸² См.: Горький М. Собрание сочинений в 30-ти томах. М., 1953, т. 27, стр. 159, 212 — 214 и др.

⁸³ «Переписка Бориса Пастернака», стр. 436.

⁸⁴ Борис Пастернак и Сергей Бобров. Письма четырех десятилетий. Stanford, 1996, стр. 128; ср. стр. 132.

⁸⁵ «Воспоминания о Борисе Пастернаке», стр. 115; ср.: «Работа Бориса Пастернака над циклом „Начальная пора”». Публикация Е. В. Пастернак. — В кн.: «Русское и зарубежное языкознание». Алма-Ата, 1970, вып. 4, стр. 126 — 127; Ф лей ш м а н Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. Мюнхен, [1981], стр. 92 — 112.

⁸⁶ Вильмонт Н. Указ. соч., стр. 184; ср. стр. 189.

⁸⁷ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 282; ср. стр. 275 (из письма к В. С. Познеру, осень 1929 года).

⁸⁸ «Воспоминания о Борисе Пастернаке», стр. 238 — 239.

означало «быть прекрасной попросту, безо всяких сложностей и выкрутасов»⁸⁹. Н. Н. Вильмонт слышал, как Пастернак «вполголоса сказал Зинаиде Николаевне»: «Не старайтесь привыкать к моим стихам; они того не стоят. Я напишу другие, где все будет понятно»⁹⁰. «Вмешательство» Зинаиды Николаевны в его творчество Пастернаку казалось на редкость благотворным — он даже собирався у нее учиться писать⁹¹. Но и это влияние не было всего лишь обстоятельством частной жизни — к личному примешивалось социальное: «Верю в тебя и всегда знаю: ты близкая спутница большого русского творчества, лирического в годы социалистического строительства, внутренне страшно на него похожая, — сестра его»⁹².

Социальный аспект метаморфоз, которые претерпели его язык и эстетика, Пастернак отлично осознавал. Никаких сомнений на этот счет не оставляет письмо к родителям от 25 декабря 1934 года: «А я, хоть и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать <...> Но по счастью я жив, глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика Диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэты — Пушкинского»⁹³. На рубеже межвоенных десятилетий «у Пастернака появилось чувство конца творческого и жизненного периода»⁹⁴. Поэт во многом потерял аудиторию, с которой его связывал в том числе общий язык. Пастернак сокрушался: «Ни общего языка, ни чего бы то ни было другого современная жизнь лирику не подсказывает. Она его только терпит, он как-то экстерриториален в ней»⁹⁵.

В надежде обрести новых читателей Пастернак поменял отношение к языку: «Всеволод [Иванов] упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистически произведений: „Детство Люверс“, „Охранная грамота“ и других — он позволяет себе теперь небрежение стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он „нарочно пишет почти как Чарская“, его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а „доходчивость“, он хочет, чтобы его роман читался „взахлеб“ любым человеком, „даже портнихой, даже судомойкой“» (Т. В. Иванова)⁹⁶. Тут уж, конечно, не до изысков, тут сам язык начинает восприниматься как помеха — не случайно герой пастернаковского романа мечтал о такой «общеупотребительной и привычной форме», при которой «читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают»⁹⁷. Когда общего языка нет, то поневоле начнешь думать, нельзя ли обойтись без языка вовсе: Юрию Живаго хотелось, чтобы в его стихах душевное «настроение <...> вылилось как бы помимо слов, само собою»⁹⁸.

Растущее безразличие к «форме» и все большая поглощенность «содержанием»⁹⁹ переводили вопрос об «авторской глухоте» в совершенно иную плоскость: «<...> не в правильности или неправильности сила живого, из самого существа дела вырывающегося выраженья. Раз Вы возражаете и рассу-

⁸⁹ В XIX веке этот оборот был в ходу, например: «Говорите без извилин, я так хочу» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Л., 1973, т. 5, стр. 229).

⁹⁰ Вильмонт Н. Указ. соч., стр. 147; ср. стр. 149, 167; «Воспоминания о Борисе Пастернаке», стр. 175.

⁹¹ См.: «Письма Б. Л. Пастернака к жене З. Н. Нейгауз-Пастернак». [М.], 1993, стр. 48, 68, 72.

⁹² Там же, стр. 32; ср. стр. 76 (из письма к З. Н. Пастернак от 14 мая 1931 года).

⁹³ Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам, кн. II, стр. 116.

⁹⁴ Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии, стр. 449.

⁹⁵ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 310; ср. т. 4, стр. 619 — 620 (из письма к С. Д. Спасскому от 29 сентября 1930 года).

⁹⁶ «Воспоминания о Борисе Пастернаке», стр. 251.

⁹⁷ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 3, стр. 434.

⁹⁸ Там же, стр. 435. О желании «сказаться без слов», одною «душой» писал Фет («Как мошки зарею...»). Если это ведет к «немоте» не на словах, а на деле, тут действительно «кончается искусство», причем роль «почвы» и «судьбы» может быть очень велика.

⁹⁹ См.: Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии, стр. 623.

ждаете [об отдельных недостатках], значит торжество протоплазмы неполное, обладание обрывается слишком быстро, сирены поют неважно. А какая может быть правильность на высотах, куда мы с Вами взбираемся?»¹⁰⁰ Иными словами, «авторская глухота» — это глухота к частностям, и расслышит их лишь тот, кто не слышит и не понимает целого. Поэт сам не замечал у себя многих огрехов стиля и резонно рассчитывал на то, что их не заметят другие: стихи хороши или плохи независимо от этих неправильностей — не благодаря им и не вопреки.

Изменившуюся позицию Пастернака некоторые толкуют как его «компромисс» с властью, с «навязываемыми эстетическими нормами»¹⁰¹. Но якобы уступая давлению в области формы, Пастернак, по мнению историка, был бескомпромиссен в содержании: он сохранял верность «бунтарской сущности искусства и выражал ее в доступных для него средствах — в поэтической практике либо упорным молчанием»¹⁰². Эта оценка, однако, в корне расходится с самооценкой Пастернака, который, обращаясь к товарищам по цеху, признавал наличие «общих тем», но только не «общего языка». Парадоксальное обещание «писать плохо», провозглашенное поэтом на пленуме Союза писателей в Минске (1936), было сугубо личным, подчеркнуто индивидуальным жестом: «В течение некоторого времени я буду писать плохо, с прежней своей точки зрения <...> пока не свыкнусь с новизной тем и положений, которых хочу коснуться. Плохо это будет со многих сторон», например «с художественной, ибо этот перелет с позиции на позицию придется совершить в пространстве, разреженном публицистикой и отвлеченностями, мало образным и неконкретным. Плохо это будет и в отношении целей <...> потому что на <...> общие для всех нас темы я буду говорить не общим языком, я не буду повторять вас, товарищи»¹⁰³. Л. С. Флейшман резюмирует: «„Я готов писать плохо, как все, но повторять общие догматы не буду“, — таков был смысл пастернаковской позиции»¹⁰⁴. По-моему, ее смысл иной: «Я буду писать плохо, но не так, как все, даже если бы мне пришлось повторять общие догматы»¹⁰⁵.

В качестве образца «плохого письма» Пастернак называл стихи, напечатанные в «Известиях»: «<...> они написаны сгоряча, черт знает как, с легкостью <...> недопустимой»¹⁰⁶. «Авторрецензия» была предельно искренней — в частном письме об этих и остальных произведениях из цикла «Художник» поэт отозвался еще резче: «Я пишу невероятно мало, и такое, прости меня, невозможное говно, что, не будь других поводов, можно было бы сойти с ума от одного этого»¹⁰⁷. Бесспорно, ярчайшая индивидуальная примета «плохого письма» — это косноязычие, выражающееся, наряду с прочим, в лексических

¹⁰⁰ «К переводам шекспировских драм. (Из переписки Бориса Пастернака)». — «Мастерство перевода. 1969». М., 1970, сб. 6, стр. 344 (из письма Б. Л. Пастернака к М. М. Морозову о переводе «Гамлета», 15 июля 1942 года).

¹⁰¹ Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы, стр. VI.

¹⁰² Там же.

¹⁰³ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 637; ср.: Гладков А. Указ. соч., стр. 186.

¹⁰⁴ Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы, стр. 322.

¹⁰⁵ Чтобы по достоинству оценить беспримерную дерзость поэта, его слова необходимо соотносить с лозунгом, который на Первом съезде советских писателей (1934) выдвинул Л. Соболев и горячо поддержал Горький: «Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно — право писать плохо» («Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенограф. отчет». М., 1934, стр. 225; ср. стр. 203 — 204).

¹⁰⁶ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 637.

¹⁰⁷ Там же, т. 5, стр. 362 (из письма к О. М. Фрейденберг от 1 октября 1936 года). Пастернак уничтожительно высказывался об очень многих своих сочинениях, подвергая сомнению не только написанное ранее, но и то, что еще предстояло сделать: Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 5, стр. 197; Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии, стр. 296 — 297, а также стр. 187, 344, 360, 382, 391, 413, 415, 444, 562, 647; Гаспаров Б. М. «Gradus ad Parnassum». (Самосовершенствование как категория творческого мира Пастернака). — В кн.: «Быть знаменитым некрасиво...». Пастернаковские чтения. М., 1992, вып. I, стр. 110 — 112; и др.

и грамматических двусмысленностях. Именно так это преподносилось в газетной передовице: «Требование простоты и народности в поэзии обозначает борьбу с косноязычием, с нарочитой затрудненностью поэтической речи, сквозь которую читателю надо продираться к смыслу произведения. Об этом надо было говорить на пленуме нашим критикам вместо того, чтобы кадить не нужные никому, в том числе и т. Пастернаку, фимиамы»¹⁰⁸.

Ясно, что официальная пресса пропагандировала совсем другую простоту, чем у Пастернака. На социальный заказ поэт отвечал вызывающе: «<...> некоторое время, — провозгласил он на пленуме, — я буду писать как сапожник»¹⁰⁹. Полностью это «обязательство» было неисполнимо, но отдельные следствия его «проведения в жизнь» мне, может быть, удалось продемонстрировать. Самое серьезное из них то, что установка на небрежность, на «плохое письмо», на писание «спустя рукава» привела к созданию поэтического идиолекта, в котором всецело стерлись различия между намеренным и ненамеренным: любая ошибка здесь становится правилом, любая возможность — необходимостью, любая случайность — сущностью. *И чем случайней, тем вернее...*

¹⁰⁸ «За простоту и народность». — «Литературная газета», 1936, № 11, 16 февраля, стр. 1.

¹⁰⁹ Пастернак Б. Собрание сочинений..., т. 4, стр. 637.



Р Е Щ Е Ж И И . О Ь З О Р Ы

ЗИМА В ЛЕНИНГРАДЕ

Леонид Цыпкии. Лето в Бадене. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 221 стр.

«...В какой-то момент он даже подумал, что, может быть, в этом и состоит система — играть вот так, бессистемно, но мысль эта только промелькнула — лица играющих и любопытных снова закружились вокруг него, хотя он их теперь почти не замечал, — это была *настоящая* карусель, вращающаяся с бешеной скоростью, так что все лица игравших и любопытных сливались в сплошную желтую полосу, но он чувствовал, как отвисли их челюсти от удивления, и с какой завистью, *настоящей* завистью, смотрели они на то, как он брал ставку за ставкой, небрежно загребая выигранные деньги, — как им было теперь далеко до него! — он снова поднимался в гору, и знакомые лица, водившие свой хоровод, теперь уже были где-то внизу, а на вершине горы, покрытой облаками, проглядывал знакомый хрустальный дворец — он поставил на зего и сразу спустил почти половину выигранной суммы, поставил на rouge и снова проиграл — вокруг него все сразу как-то потускнело, на лицах, окружавших его, проглядывала теперь еле сдерживаемая радость, карусель вращалась теперь только по инерции — он снова летел с горы, больно ушибаясь и чувствуя, что ему не за что больше ухватиться, — вся его теория с падением ничего не стоила — он просто придумал ее, чтоб сделать не столь болезненными свои ушибы, представив их себе и другим в ореоле какой-то великой идеи и жертвенности, — впрочем, не поступаем ли и мы подобным образом, то и дело обманывая себя, придумывая удобные теории, призванные смягчить удары, наносимые нам судьбой, или оправдать наши неудачи и слабости? — ...»

Цитата оборвана насильно. С точки зрения традиционной логики повествования, на этом месте мог бы быть конец предложения, даже такого причудливого. Но предложение идет дальше, попадает на каторгу и к панаевцам, подъезжает под Ижоры, ходит кругами вокруг Пушкина, потом возвращается в Баден к рулетке и Анне Григорьевне в соседнем зале, влезает на реальную немецкую гору с замком, где все в очередной раз сдувается и проваливается, переживает эпилептический припадок и заканчивается — «вдох нежности и скорби».

В Ижоры поезд, на котором едет рассказчик, не останавливается, но его взгляд успевает прочитать название станции, и это далеко заводит его, не сбивая с пути: он возвращается точно туда, откуда уходил, и продолжает движение точно туда, куда направлялся.

Увлечение, галлюцинация, бесплодная затея, провал, путешествие и возвращение — все повторяющиеся темы можно отыскать в процитированном, почти наугад выбранном фрагменте. Визуально текст книги представляется искусной оптической иллюзией, фрактальной структурой, каждый фрагмент которой заключает в себе целое. Это сложная и четкая развивающаяся система, противоположная по смыслу многократно помянутой по поводу романа ленте Мёбиуса. Лента Мёбиуса — название: Лето в Бадене есть Зима в Ленинграде, они без затора по кругу перетекают друг в друга. Длиннейшее предложение выворачивается, как эта лента, но оно разомкнуто в каждой смысловой точке, новые витки и новые точки не повторяют уже бывшее, а укрепляют сетку значений, как новые нити паутины. Количество возможных витков кажется бесконечным. Бесконечность возможностей не означает бесконечности самого повествования, очень жесткого и умышленного.

Разомкнутая линия движения демонстрируется уже в самом начале, в первом же абзаце, почти как на графике: поезд идет прямо, по железной колее на север, а сквозь стекло видны светящиеся точки фонарей побочных платформ, каждая из которых — потенциальное ответвление дороги и сюжета. Когда их огни исчезают в сплошной темноте, отводящей в сторону станцией оказывается раскрытая на закладке книга, которую читающий путешественник закрывает на остановках, чтоб снова к ней вернуться по возобновлении движения. От букв его взгляд может от-

влечься в окно, где новые огни, бегущие люди или дорожка за перроном обозначают еще один возможный приток, слой жизни, как любая часть прочитанной фразы может открыть еще один слой памяти.

Книга, которую держит в руках автор-рассказчик, — дневник Анны Григорьевны. Старое издание, позаимствованное у нелюбимого близкого человека, почти рассыпавшееся на страницы, а потом переплетенное, теперь читается под стук колес поезда — физическую историю книги можно принять за схему или формулу романа. Рулетка, карусель и паутина, три постоянных темы в истории четы Достоевских, тоже соответствуют алгоритму общего сюжета: действие круговое и монотонное, в любом смысле слова захватывающее, а результат каждого повторения приносит новый смысл и укрепляет силу захвата.

Вязкий ритм извилистых предложений обозначен тире, соединяющими отдельные фрагменты, в зависимости от длины которых темп замедляется или становится жестче. Структура текста физиологически вовлекает в процесс ритмического продленного чтения, как тела реагируют на вибрации и организованные ходы электронной музыки. Иллюстрацией к такому способу письма может быть диджейский сет: человек определенным образом, одновременно или последовательно, соединяет записи уже готовых произведений, и конечный результат зависит не столько от исходных тем, сколько от воли и слуха того, кто их перемешивает как элементы нового мира. Таким же образом цитаты или пересказ источника здесь — не составные части коллажа, а ноты, позволяющие преодолеть исходную литературность новой литературой. Технологическое, якобы «искусственное» искусство в случае настоящего мастерства не омертвляет, а возвращает жизнь, делает вторичное (готовые сэмплированные звуки или старые книжные темы) первичным, при этом отказывается от бесплодности еще одной интерпретации. Потому что живая культура — это алфавит или путешествие.

Ведь изначальный материал — «Дневник» АГ, Достоевский и антисемитизм, поезд, Ленинград, еврейская семья — банален, ничего неожиданного в этих темах не откроется. Старые мелодии, заведенные в сотый раз без изменений, тире и стук колес как ритмическая подкладка. Автор мастерски жонглирует этими пластинками, вплывает одну мелодию в другую, меняет ритм, и новый сюжет новой книги возникает как дыхание между слоями склеившихся страниц.

Эта открытая система оказывается одновременно очень жестко структурированной, закрытой и управляемой, скрепленной разнообразными рифмами. (Так в финальной сцене смерти появляется отрывок из начала, рассказанный чуть-чуть переставленными словами, который отличается от первого как два созвучных слова, и это повторение складывает историю.) Текст превосходит собственный генезис, как по-настоящему привлекательный человек предявляет себя миру помимо биографий мамы и папы. В данном случае мама и папа — Достоевский и еврейский вопрос. Они — физиологический раствор, на котором выращены слова уже совсем другой природы.

Повторяющийся фрагмент или завитушка общего орнамента — заблуждение и бесплодное действие на основе заблуждения. Ложная идея становится синонимом собственно идеи. Идея (хотя бы искомая «система» выигрыша в рулетку) — то, что захватывает и морочит, увлекая в круги очередной спирали. Так «Федя» делает ставки, так он ругается с хозяйкой или Тургеневым, так ищут якобы запрятанный служанкой шиньон; так же ложно истолковываются почти все поступки и действия, собственные и окружающих. Ошибки тащат героев за собой и дают счастье чистого увлечения и освобождения независимо от истины — просто падать и падать, кругами, ритмически, знакомо и бесплодно, как танцевать.

Все действия в этом сюжете бесплодны, каждый шаг проваливается. АГ напрасно беременна — ребенок умрет; ее брат напрасно присылает деньги — они будут потеряны; все расчеты приводят к проигрышу, и доктора напрасно, повторяя друг друга, считают пульс умирающего. Заграничное путешествие тоже верх бессмыслицы и заблуждений, все возвращается в исходную точку. Эти действия и не призваны принести плоды, они только точки для возможного продолжения слов, узлы движущейся живой сети. Главный плод всех немецких мытарств — видения

будущих сюжетов, открывшаяся возможность продолжения. Если же действие замыкается, человека настигает кошмар, припадок и смерть.

Для автора этот извилистый мир ясен и скреплен рифмами, а для персонажей он шаткий, путает их и вынуждает искать вспомогательные средства удержаться на вертящихся поверхностях. АГ мерещится мачта, за которую она ухватилась, чтоб устоять посреди карусели событий. Сам рассказчик несколько раз поминает указку, распутывающую изобары сложного графика или петли маршрута экскурсии. Все напрасно: мачту не удержать (эта твердая мачта, вместе с никак не даюшейся «Феде» перевернутой вершиной горы и по определению равнобедренного треугольника, кажется несколько комичной), маршруты путаются и заканчиваются ссорой, падением, растратой или возвращением, больше похожим на бегство.

Сама идея «идеи», системы дважды выворачивается сначала наизнанку, а потом на лицо в больном мозгу игрока и почти что становится истиной, во всяком случае, наполовину приносит успех: не сдаться ли на милость ошибки, чтоб тем самым ее избежать?

Линейная, прямая и простая жизнь настолько очевидно невозможна в этой структуре, что Пушкин — он, как известно, солнце, то есть точка, цельность и антитеза множественным извивам Достоевского, — тоже будет закручен и свит. На картине, которая видится рассказчику, он должен быть обвит кольцами шупальцев его невесты-смерти.

Смерть — единственный плод и результат. «Федея» успокаивается и побеждает хаос своих призраков, увидев тленное тело Христа на картине; теперь он может отвлечься от навязчивого воспоминания об экзекуции, от взгляда своего палача (сладость погружения в этот провал, в теплый омут унижения, грозит и соблазняет полным развоплощением), не сбываясь любить жену и писать свои книги. Теперь поезд может приехать на Московский вокзал. Ленинград 70-х ужасен и убедителен, как галлюцинация: вечная северная ночь, мороз, черный город с уходящими вдаль цепочками фонарей, плохо одетые пьяные люди, холодная вода в коммунальной ванной. Смерть здесь привычная, почти бытовая вещь, люди только и говорят что о блокаде, о том, как умирал муж хозяйки дома, и музей Достоевского — это дом его смерти, где он не столько жил, сколько умер. Сцена его смерти — центр ленинградского эпизода.

Но смерть тоже не является итогом или разрешением, она не кончается. Блокадные замерзшие трупы все еще мерещатся по обочинам темных улиц, воспоминание о кончине старого мужа родственницы рассказчика в объятиях жены — утешительный самообман, и умирающий Достоевский в видении автора находит совсем не христианский конец — его поглощает бездонный мрак. Автор даже не останавливается рядом с этой последней, самой глубокой, пропастью, собранной в точку, только определяет ее необратимость; таким образом, Достоевский принимает иудейскую смерть. Визионер уходит восвояси от перепутанных улиц — его якобы документально выверенный маршрут от Невского до Восстания совершенно искажен — в жутковатый привычный уют доживающих век старых женщин.

Смерть — это профессиональный и особенный интерес автора. Для врача-патологоанатома она может быть привычнее теплой жизни. (Естественно-научный профессионализм в его случае ни в коей мере не означает литературного любительства: высокий литературный класс произведения и дар настоящего писателя вне сомнений.) Он дивится живой красной крови в жилах под молодой розовой кожей, хочет чувствовать прикосновения мягких волос. Это чуть ли не единственное чувственное отступление, когда интонация сбивается и становится почти страстной, теплое пятно среди прозрачного холода этой музыки — в отличие от вполне мертвенных и стерильных плавательных метафор супружеской любви и всех больших нежностей «Феди» и «Ани».

Темперамент автора — и того, который пишет, и того, который ходит по улицам, — не очень-то подходит для выяснения достоевско-еврейских отношений. Весь истерический энтузиазм отдан герою «Феде», а безымянный наблюдатель-манипулятор спокоен и трезв. Пристрастия в его словах нет, даже когда формально он обозначает обиду и недоумение: ну почему такой чуткий человеколюбец и т. д.

Горьковатые, но прохладные ламентации находят неожиданное разрешение. Автор расправляется с объектом сознательно ли, неизвестно, но неожиданно: несчастные «Федя» и «Аня», ссорящиеся и любящие, преданные друг другу, пересчитывающие гроши, живущие в оппозиции ко всему миру, с путными и непутевыми родственниками, подозревающие всех во всем, никому не доверяющие, замкнутые в свой тесный телесный мир уязвленности, совокуплений, бедности, надежд и боли, — больше всего похожи на клишированную еврейскую чету. Их совершенно розановский влажный и теплый, интимнейший жалкий мир гораздо выразительнее слишком прямого соединения Достоевского и Исаия Фомича во сне рассказчика.

Надо предоставить фантомному противнику свой собственный язык и свою родную территорию, где война невозможна. Возможна любовь.

Почему евреи любят Достоевского, в то время как он их не любил, — вопрос риторический. Возможно, первичный замысел выяснения отношений тоже есть заблуждение, двигающая ложная идея — печка, от которой автор, а за ним читатель начинают плясать под эту переусложненную и одновременно ясную сильнодействующую музыку. «Идея» и ее вскрытие понадобились то ли для того, чтоб оттолкнуться от изжитых литературных представлений, то ли чтоб обосновать выбор такого способа письма. Этот способ в результате превзошел архаическую тему: действие письма и живое движение текста делают книгу настоящей и до сих пор новой. Ложная идея, как сгоревшее топливо, приводит к успеху — восполнению недостающей вершины — романа как такового.

Все немногочисленные собственно «новые», то есть нелитературные, сообщения и образы в романе особенно заметны, в них точки боли автора: теплота уходящей жизни и граница прямой телесной смерти, удостоверяющей жизнь.

Это ручеек крови, стекающий из угла рта умирающего Достоевского: АГ безуспешно вытирает его полотенцем, но кровь кажется неиссякаемой.

Это еще одна точка возможного ответвления сюжета, мимо которой автор не может пройти, но только помечает ее как особенно и глухо манящую, — приоткрытая дверь и угол пуховой постели девушки-соседки в теткиной квартире. Известно даже, там ли она, уже спит, уставшая, или еще не пришла; но пропустить этот пункт невозможно ни рассказчику, ни читателю.

Нина ВОЛКОВА.

С.-Петербург.

ДОКТОР ЦЫПКИН И ДОКТОР ГИНДЕНБУРГ

Действие романа Леонида Цыпкина «Лето в Бадене» разворачивается в двух плоскостях, переплетаясь и расплетаясь на уровне фразы.

Время первого сюжета — конец 70-х годов XX века. Автор-рассказчик едет дневным поездом из Москвы в Ленинград, в дороге читает «Дневник» Анны Григорьевны Достоевской, выходит на Московском вокзале, пешком отправляется к своей знакомой Гильде Яковлевне (Восстания, дом 21, путь недалекий), ужинает, читает Достоевского, на другой день, проснувшись и наговорившись с Гильдой Яковлевной (Гилей, как он ее называет), отправляется на прогулку — по хрустящему снегу, по вечернему городу от дома на углу Восстания и Жуковского до музея Достоевского примерно 20 — 25 минут хода. В другую плоскость сюжета, как бы в другой сюжет, мы попадаем, когда рассказчик открывает в поезде «Дневник» Анны Григорьевны: 1867 год, путешествие Достоевского с молодой женой по Европе; небольшими эпизодами возникает также поездка Достоевских в Старую Руссу и январь 1881 года, предсмертные часы Достоевского.

Но есть в книге Цыпкина и еще один сюжет, я бы назвал его внутренним сюжетом, если бы Цыпкин с неожиданной и какой-то экзальтированной откровенностью не обнажил его буквально на первых страницах «Лета в Бадене».

«В гостинице им то и дело попадались на лестнице жидочки, навязывающие свои услуги и даже бежавшие за пролеткой, в которой ехали Анна Григорьевна и Федор Михайлович, чтобы продать им янтарные мундштуки, пока те не прогнали

их, а вечером на старых узких улицах можно было увидеть тех же жидочков с пейсами, которые прогуливали своих жидовочек». «Впрочем, жидочков Анна Григорьевна заприметила еще раньше — во время своего первого прихода к Феде в дом Олонкина, где он писал „Преступление и наказание“, и дом этот, по позднешему свидетельству Анны Григорьевны, сразу же ей напомнил дом, в котором жил Раскольников, а жидочки...»

Вот, значит, соображает читатель, о чем пойдет речь — Достоевский и евреи.

Но Цыпкин немедленно переключает регистр с академического, так сказать, на максимально личный — не евреи вообще, а именно — я.

«Так отчего же я с таким трепетом (я не боюсь этого слова) носился с „Дневником“ по всей Москве»; «отчего ехал сейчас в Петербург — да, не в Ленинград, а в Петербург, по улицам которого ходил этот коротконогий, невысокий»; «отчего читал эту книгу сейчас, в вагоне, под неверным, мерцающим светом ламп?»

«Мне казалось до неправдоподобия странным, что человек, столь чувствительный в своих романах к страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных, горячо и даже почти иступленно проповедующий право на существование каждой земной твари и поющий восторженный гимн каждому листочку и каждой травинке, — что человек этот не нашел ни одного слова в защиту или оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет, — неужели он был столь слеп? или, может быть, ослеплен ненавистью? — евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов, — и к этому „племени“ принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы».

«Почему меня так страшно привлекала и манила жизнь этого человека, презиравшего меня („заведомо“, „зазнамо“, как он любил выражаться) и мне подобных?»

Почему? Такое состояние называется, если я не ошибаюсь, «фиксацией на травме», и Леонид Цыпкин обрисовал его исчерпывающе точно. Но Цыпкин боится оставить даже малейшую возможность разночтений, и отчаянным жестом, уже не скрывая ничего, он выбрасывает прямо на стол заветный магический ключик, подобранный им в мастерской доктора Фрейда: «Не были ли мои „давешние“ (как он бы сказал) ночные видения <...> в которых он [Достоевский] обращался в Исаю Фомича, лишь жалкой попыткой моего подсознания „узаконить“ мою страсть?»

Вот внутренний сюжет, источник энергии, пружина повествования. Это он, хочет сказать Цыпкин, «коротконогий, невысокий», принес в мир слова, которые запечатлелись в моем сознании, помогли мне осознать себя, выработать свою нравственную систему; он, продолжает Цыпкин, человек «с лицом церковного сторожа или отставного солдата», предмет моей страсти и почти обожествления, словно отец мне. Но этот отец — вот что хочет сказать Леонид Цыпкин — не признает родства.

В мерцающей логике «Лета в Бадене» возникает один любопытный боковой сюжетец, несомненно приложенный Цыпкиным в качестве инструкции к той универсальной отмычке, которую мы только что вертели в руках.

Сюжетец такой. У нас в доме, вспоминает Цыпкин, бывал человек, преподаватель консерватории, третьсортный музыкант, но я, говорит Цыпкин, смотрел на него «почти как на бога» после того, как он однажды, «сев за наше обывденное, стоящее в столовой и слегка расстроенное пианино, начал играть вальс Шопена — седьмой вальс, тот, который я тщетно пытался разучить <...> какой-то сладкий комок подступил к моему горлу, и на глазах моих, наверное, даже навернулись слезы». Этот небольшого роста человек, умерший, «наверное, от своего излишнего сластолюбия <...> часто менял жен, причем все они были русскими, а сам он, естественно, был евреем»; последней его женой была простая женщина, пухлая, «с круглым лицом, о которой у нас в доме говорили, что она похожа на кухарку или домработницу, — ее даже, кажется, не принимали у нас в доме».

Однако этот сюжетец появляется в романе не благодаря воспоминанию о прекрасной музыке или о «сластолюбии» (словечко-то откуда?), а благодаря фантазии, воображаемой картинке: Ставрогин, шагающий уверенной, твердой походкой, а рядом с ним мелко семенящий, забегающий сбоку, заглядывающий в глаза, угод-

ливый, изворотливый Петр Степанович Верховенский, «странно напоминающий, — говорит Цыпкин, — одного моего знакомого, мы учились с ним в одном классе и даже почти дружили домами». Знакомый этот — сын кухарки/домработницы и еврея-музыканта.

Был он «подвижный, озорной, обладал по наследству хорошим слухом, но презрительно относился к музыке, плохо учился и из седьмого или восьмого класса ушел в авиационное училище». И когда Цыпкин встретил его случайно в аэропорту, тот уже не летал, барахлило сердце, работал, кажется, диспетчером; он проводил своего одноклассника до самолета, семеня рядом, быстро говорил, жаловался на жизнь, матерился.

Забавный сюжетец, не правда ли? Родной сын презирает то, чем занимается его отец, а некто посторонний, знакомый, смотрит на этого человека «почти как на бога». Поставим здесь пока многоточие и попробуем подойти к роману Леонида Цыпкина с другой стороны.

Хрестоматийно, что мир художественного произведения целиком заключен в пространство между первой буквой первого слова первого предложения и точкой, поставленной в конце последней фразы.

Если вы сочиняете роман и даете одному из персонажей имя Достоевский, это вовсе не значит, что вы уже имеете образ, что вы обозначили характер. Характер складывается только из элементов, существующих внутри вашего романа. Вы должны не только создать характер, но и убедить того, кто откроет вашу книгу, что это не однофамилец, что это и есть Достоевский, образ которого существует у читателя независимо от вас. Иначе сказать, в каком-то смысле вам придется соотноситься, соперничать с самим Достоевским. Масштаб задан, и в этом масштабе трудно не потеряться. Ведь что бы вы ни делали со своим персонажем, о чем бы ни рассказывали — о его трудном детстве, о его болезненном характере, о его амурных делах, о его скупости или расточительстве, — читатель знает, что человек по имени Пушкин, Шекспир, Достоевский написал «Отцы пустынноики и жены непорочны», «Гамлета» и «Преступление и наказание».

Вовсе не значит, что своего героя вы должны посадить за письменный стол, заставить его обкусывать перо, глотать из самовара стакан за стаканом крепкий чай или, прогуливаясь по комнате, диктовать стенографистке историю некоего игрока. Ваш герой — пока он ваш герой — может не сочинить ни строчки, но вы должны нарисовать характер того, кто — пусть за пределами вашего повествования — написал и может написать «Бедных людей» и «Братьев Карамазовых».

Сконструированный из деталей, облюбленных в «Дневнике» А. Г. Достоевской, и каких-то черт Алексея Ивановича («Игрок»), Достоевский в романе Цыпкина не просто эпилептик с тяжелым характером, это человек, который не в состоянии видеть и адекватно воспринимать действительность. И уж точно — не в состоянии судить о ней.

Вот один маленький пример: знаменитый спор Достоевского с Тургеневым, описанный самим Достоевским в письме к Аполлону Майкову и А. Г. Достоевской — разумеется, со слов Достоевского — в ее дневнике (издание которого повествователь листает в поезде).

Спор о России и Западе, проще говоря, спор западника и славянофила.

Вот — по письму — реплика Достоевского: «„Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомненья нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!” Он побледнел (буквально, ничего, ничего не преувеличиваю!) и сказал мне: „Говоря так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам себя считаю за немца, а не за русского и горжусь этим!”»

А вот из «Дневника» А. Г., записано в самый день разговора: «Когда Федя сказал, что он в немцах только и заметил что тупость, да кроме того, очень часто обман, Тургенев ужасно как этим обиделся и объявил, что этим Федя его кровно оскорбил, потому что он сделался немцем, что он вовсе не русский, а немец. Федя отвечал, что он этого вовсе не знал, но что очень жалеет об этом».

Умно ли, глупо ли здесь выглядит Достоевский, понося немцев, он представляется несдержанным, но вполне адекватным человеком. Он даже посмеивается над истерикой, которую разыграл Тургенев.

Теперь посмотрите, как изображает эту сцену Леонид Цыпкин: «„Извините меня за некоторый беспорядок, — сказал Тургенев, перехватив взгляд гостя, — или, как говорят немцы, 'Unordnung'". — „А по-моему, так вы уже давно немец, так что вам нечего и извиняться, — выпалил он невпопад, как всегда, когда хотел съязвить, но это только еще больше раззадорило его — шаг к краю пропасти был сделан. — И роман ваш целиком немецкий...” — теперь он летел вниз, и возврат уже был невозможен — лицо Тургенева странно передернулось...»

Поведение героя «Лета в Бадене» не только за гранью возможного, этот человек нуждается в немедленной госпитализации.

Зачем, спросите вы, Цыпкин, явно перебарщивая, стремится изобразить Достоевского еще более нелепым (выберем мягкое слово), чем он был? Зачем?

А зачем Цыпкин уверяет нас, что Достоевский считал «невозможным предостережение евреям равных прав», если в той самой статье «Еврейский вопрос», которую Цыпкин комментирует, Достоевский говорит ровно противоположное: «Несмотря на все „фантазии” и на все, что я написал выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравнение прав...»

Зачем Цыпкин восклицает, прямо-таки ломая руки: «Евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов»? Это опять о статье «Еврейский вопрос». Хотите знать факты? Слово «племя» Достоевский в этой статье употребляет также и говоря о русских, и звучало оно в XIX веке совсем не так оскорбительно, как преподносит Цыпкин. Хотите знать, сколько раз в этой статье Достоевский употребляет слова «народ» и «нация», говоря о евреях? Семнадцать раз — я не поленился пересчитать.

Антисемитизм Достоевского не подлежит сомнению, но зачем понадобилось Цыпкину это мелкое жульничество? Чтобы представить Достоевского каким-то особенным, патологическим антисемитом, ослепленным ненавистью до полной потери сознания, потерявшим разум?

И вот еще одна тема — те, кого, в отличие от Цыпкина и его «многочисленных знакомых или друзей», Достоевский хотел видеть своими духовными детьми. Те, за кем он видел, иронизирует Цыпкин, «богоносное назначение», «особый, неповторимый склад <...> ума и характера», «тонкие, глубокие и даже целомудренные чувства, заложенные в душе каждого истинно русского».

Цыпкин изображает нам целую галерею этих «детей»:

Некий «простолудин в тулупе», который ни с того ни с сего ударил Достоевского кулаком по шее, «Достоевский упал, шапка его покатила по заснеженной мостовой <...> на лице его была кровь».

Алкаши у гастронома на Восстания, 19 «соображали на троих, а чуть подальше, немного отойдя от магазина, уже можно было видеть фигуры людей с бледными, испытанными лицами — прислонившись к стенам домов, оставляя на своих спинах следы известки, они медленно и неотвратимо слезали на тротуар, лежа там до тех пор, пока их не подбирали специальные машины с красным крестом, — я шел по направлению к Невскому (незаконный сын Цыпкин шел по направлению к Невскому, культурно размышляя о «тонких проблемах русской литературы»).

Карикатурный чудак Солженицын (подхвативший меч, которым Достоевский рубился с западником Тургеневым): из заиндевевшей бороды его свисают сосульки, и он размахивает этим мечом, впуская рассекая воздух, пока его соотечественники, законные, как и он, дети, «мирно спят» или «смотрят по телевизору международный хоккей, болея за родную команду», а когда в телевизионных новостях этого Солженицына называют отщепенцем и подонком, соотечественники, «толкая локтем в бок соседа», спрашивают друг друга: «Коля, а Коля... чего они его не расстреляли, а?»

Еще один — подкаблучный чудаक Сахаров, подхвативший меч западника, но сделавший это исключительно — как всегда и уверял нас КГБ — волею жены: «Эта она вложила ему в руку меч, и, когда он выпадал из его руки, она снова подавала

ему меч и даже зажимала его руку в своей, чтобы меч не выпал, и направляла движение его руки, как это делают иногда с ребенком, когда обучают его письму». Братья соотечественники «ненавидели его еще больше», чем Солженицына, и «считали его евреем», и они бы показали ему, но «указания на этот счет никакого не было», и их «неприятное и враждебное» молчание наивный Сахаров полагал молчанием «порабощенных».

Или вот Цыпкин, впившись взглядом в экран, переживает в кинотеатре «баталию между отцом и сыном» в пырьевских «Братьях Карамазовых». «„Здорово он звезданул его!“ — раздался сзади меня чей-то голос, — оторвавшись от экрана, я обернулся — сидевшие позади меня поочередно потягивали из бутылки, и бульканье это продолжалось до самого конца сеанса, и в разных концах зала, словно всплески застоявшейся воды, слышались то гиканье, то гогот...»

Ну и уж чтобы собрать все в один пучок, собственные дети Достоевского — Федя и Люба. Люба вела такой образ жизни, что «Анна Григорьевна, увидев однажды, как выносили из церкви девичий гробик, воскликнула даже: „Ах, зачем это не мою дочь выносят!“» Федя же «смахивал <...> на старательного, но туповатого гимназистика, с какой-то вырожденческой формой черепа, являвшего собой как бы злую карикатуру на череп своего отца».

Вот каковы они, законные дети! Даже если им досталось что-то по наследству (как сыну кухарки и музыканта), они это наследство презирают. Им, с вырожденческим черепом, не нужна чудесная музыка, от которой у незаконных сладкий комок подступает к горлу и на глазах выступают слезы. Так и случилось, что именно незаконные дети стали «почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского» (Цыпкин приводит список из 17 еврейских фамилий). Они, незаконные дети, энтузиасты, сотрудники музея Достоевского, «молодые люди и женщины с интеллигентными лицами, невольно внушающими мысль об их еврейском происхождении», и известный актер, читающий Достоевского, «кстати, тоже с еврейской фамилией».

Видите, как все оказывается элементарно: разделите мир на тех, кто с еврейской фамилией, и остальных — и вы получите точную картину мира.

Ключик сделал полный оборот в замочной скважине, боюсь только, что, распахнув дверцу сейфа, мы обнаружим пустоту. Все содержание этого романа уместилось в нехитрую схему любви-ненависти к несправедливому отцу и соперничества за его наследство. И дело даже не в самой этой схеме, а в том, что за ней больше ничего не стоит. Помпезные многостраничные предложения, которыми написан роман, по существу, лишь маскируют отсутствие какого-нибудь мяса на костях заданной схемы, то есть, проще говоря, имитируют мысль. Сказать честно, об этом романе не стоило бы даже серьезно разговаривать, если бы не его судьба: начатый в 1977-м и законченный в 1980 году, роман этот сейчас впервые представлен русскому читателю в авторской редакции. Автор «Лета в Бадене», врач по специальности, подавший в 1979-м документы на выезд и скончавшийся в 1982 году откатником, так и не увидел свой роман напечатанным.

Но если судьба этого романа заставляет нас говорить о нем, она никак не может и не должна влиять на оценку произведения, в котором автор своей рукой поставил последнюю точку.

«Дети с протянутыми руками, дрожащие от сырого петербургского тумана <...> особенно девочки, нищие, избитые или обесчещенные <...> эта Нелли <...> эта Неточка <...> эти девочки из лондонского (на сей раз не петербургского) тумана <...> протягивающие свои грязненькие ручки к прохожим, чтобы только их взяли <...> все эти девочки-подростки, эти „нимфетки“ <...> не для того ли явились они на свет божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего создателя от чего-то страшного и тайного?»

Я сейчас не об этом — опять — выпадает в сторону самого Достоевского, я о другом. Вот предпоследнее предложение — сцена в конце романа: «И какая-то семья — родители плохо и бедно одетые, и с ними девочка лет семи или восьми, тоже в очень худом пальтишке, — шли мимо этой бывшей часовни или церкви — лица у них были белые, чухонские, — отец, шедший чуть сзади нетвердой походкой, догнал

жену с девочкой, и они все втроем неожиданно повалились в сугроб, — девочка вскочила первой и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться, а когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой, — девочка пошла впереди, словно поводишь или, может быть, просто стыдясь своих родителей...»

Текст абсолютно однозначный и по месту расположения — символический. Вот они, «истинно русские», которых так хотел любить Достоевский, наследники «национального духа», растлевающие ребенка, девочку — Нелли, Неточку, Матрешу...

А вот последнее предложение, финал «Лета в Бадене»:

«Несколько минут спустя я уже ехал на трамвае к Гилюному дому, а еще через полчаса мы уже снова беседовали с Гилей, сидя на бывшем Мозином диване, и она рассказывала мне про блокаду, про Мозю, про тридцать седьмой год, а за окнами лежала зимняя петербургская ночь, и, когда внизу на улице с грохотом проносились трамваи, весь дом вместе с Мозиной лампой вздрагивал, словно корабль, стоящий у причала».

Там алкаши, барахтающиеся в сугробе, потерявшие человеческий облик и тянущие за собой ребенка, здесь — уют, человеческое тепло и память.

Пожалуй, вот именно это — противопоставление — кажется мне, еврею, самым неприятным и неприемлемым в романе Леонида Цыпкина.

Мне гораздо понятнее то, что пишет антисемит Достоевский в статье «Похороны „общечеловека“», которая в «Дневнике писателя» следует немедленно за статьей «Еврейский вопрос».

Речь идет о докторе Гинденбурге, пятьдесят восемь лет помогавшем беднякам, лечившем, принимавшем роды, о протестанте, которого любили и о котором рассказывали истории и легенды и русские, и немцы, и евреи. Достоевский цитирует письмо, полученное из Минска от знакомой — еврейки — Софьи Лурье, и рассуждает о жизни и наследии этого доктора.

«Провожает его весь город, звучат колокола в с е х церквей, поют молитвы на всех языках. Пастор со слезами говорит свою речь над раскрытой могилой. Раввин стоит в стороне, ждет и, как кончил пастор, сменяет его и говорит свою речь и льет те же слезы. Да ведь в это мгновение почти разрешен хоть бы этот самый „еврейский вопрос“! Ведь пастор и раввин соединились в общей любви, ведь они почти обнялись над этой могилой в виду христиан и евреев. Что в том, что, разойдясь, каждый примется за старые предрассудки: капля точит камень, а вот эти-то „общие человеки“ побеждают мир, соединяя его; предрассудки будут бледнеть с каждым единичным случаем и наконец вовсе исчезнут. <...> Все это очень просто, но мудроно кажется одно: именно убедитесь в том, что без этих-то единиц никогда не соберется всего числа, сейчас все рассыплется, а вот эти-то все соединят. <...> И вовсе нечего ждать, пока все станут такими же хорошими, как они, или очень многие: нужно очень немного таких, чтобы спасти мир, до того они сильны. А если так, то как же не надеяться?»

Леонид Цыпкин (кстати, он, как и доктор Гинденбург, родом из Минска) сделал вид, что этих слов не существует. Или — не поверил Достоевскому.

Михаил ЛЕМХИН.

Сан-Франциско.

Р. С. отдела критики. Обе опубликованные выше рецензии пришли в наш журнал совершенно спонтанно и практически одновременно. Это неудивительно: роман Л. Цыпкина дал сильный импульс к разнообразным откликам ввиду своих бесспорных и спорных литературных качеств и главным образом благодаря восторженной оценке авторитетной западной исследовательницы Сюзан Зонтаг. Мы решили представить оба оказавшиеся в нашем распоряжении отзыва, поскольку они «не пересекаются»: один трактует преимущественно о поэтике, другой — об идеологии романа.

К сказанному рецензентами остается добавить некоторое адресуемое читателям Цыпкина предостережение. Реалиям в романе не следует безоглядно доверять. Это касается и малого, и немалого:

не верьте, что когда-либо существовало «либеральное издательство „Вехи“», публиковавшее дневник Анны Григорьевны Достоевской (стр. 24);

не верьте, что знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи — «мадонна» в привычном для нас и, очевидно, именно так употребляемом автором смысле этого слова (стр. 26);

не верьте, что во фразе: «это уже был алтарь и даже царские врата» слова стоят правильно — угадайте сами, к чему романа не сумел переписать его без нелепой ошибки (стр. 179);

не верьте, что в Новгороде есть церкви X века, — Русь приняла христианство в 988 году по Р. Х. (стр. 98);

не верьте цитате из Евангелия — тому стиху, на котором раскрылась книга у одра умирающего Достоевского, автор романа не сумел переписать его без нелепой ошибки (стр. 179);

не верьте, что 57 — простое число: у него два множителя — 19 и 3 (стр. 93).

Наконец, не слишком доверяйте тому, что Достоевского в остроге высекали розгами (а на этом «факте» в романе зиждится чуть ли не весь околорейдистский анализ). Эта версия не принимается во внимание серьезными исследователями, а что скорее всего было на самом деле, можно прочесть в мемуарах П. К. Мартянова (см.: «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1964, стр. 243).



«МНОГИХ СЧАСТЛИВЕЙ, МНОГИХ ПЕЧАЛЬНЕЙ...»

Вера Павлова. Вездесь. Стихи 2000 — 2002 гг. М., «Захаров», 2002, 108 стр.

Стихи Веры Павловой обладают несомненным свойством притягивать к себе внимание. Последний ее сборник «Вездесь» — не размышления о чувствах, а живой сгусток ощущений и мыслей, почти не поддающихся называнию. Говоря своими единственными словами, Павлова помнит о том, что было сказано до нее. Конечно, присутствие Ахматовой и Цветаевой в русской поэзии, женщин, воплотивших в своем творчестве так глубоко и полно любовную тему, всегда заставляет сравнивать с ними каждую взявшую перо в руки, но сравнения эти, как правило, до того поверхностны и приблизительны, что хочется процитировать слова Дж. Фаулза: «Все женщины не такие, как все». Вера Павлова, безусловно, не такая, как все, и не такая, как ее великие предшественницы. Она запечатлела в стихах еще не рассказанный облик женственности. Ее лирическая героиня в своем стремлении оставаться собой, прислушиваться к себе и воплощаться в слове нарушает границы и изменяет правила. Мир для нее не делится на «верх небесный» и «низ телесный». Все существует и воспринимается как сложное, неразделимое единство, дающее ощущение полноты жизни. Ее подчеркнуто индивидуальная поэзия хотя и содержательно разнообразна, но очевидная, основная ее тема — любовь. Стихи Павловой о любви — это и стихи о жизни и смерти, о возрастных изменениях, о влиянии на человека хода времени.

Ее стихи всегда написаны от обнаженного «я», которое не прячется за иронию, за тон объективности, не прикрывается ролями и масками. Вера Павлова вводит в поэзию то, что обычно оставалось за скобками, на вырванных из дневника листах, хотя и волновало, может быть, гораздо больше, чем все остальное, говорит о том, что Ахматова называла сором, из которого растут стихи, «не ведая стыда». А этот «сор» и есть наша подлинная, неприкрашенная жизнь. Таким образом, Павлова преодолевает границы между жизнью и литературой, границы, которые давно прогибаются под напором современной словесности.

За ее смелостью и раскованностью стоит стремление быть точной в каждом слове, отражающем глубоко личное. Павлова находит слова для тех моментов, когда «дар речи» становится «постылым», а «дар жеста» — «заветным». Здесь ошибки не прощаются, как и «описки на теле». И она говорит о любви как никто другой. В ней есть отклик на каждое прикосновение, на каждое впечатление извне, каждый толчок сердца изнутри. Она переплавляет в поэзию всю фактуру жизни. Внешнее перестает быть внешним, если оно так задевает душу.

Павлова открывает новые связи в мире, рискованно сопоставляя, вписывая в контекст культуры не только жизнь души, но и тела. И это не воспринимается как кощунство, ведь все мы из первородного сада и «только смертный грех бессмертен». В стихах Павловой нет ощущения греховности любви, потому что, «если где-то прибудет любви — / во всей вселенной прибудет. / И этим она пребудет». Потому что настоящая любовь, как истинная вера, — это способность человека отдавать себя без остатка, не требуя доказательств:

Да святится имя Твое.
 Да придет отчество Твое.
 Господи, да что же это я?
 Да будет воля твоя.

Ее лирическая героиня жизни без любви не представляет, потому что «разлюбить — умереть». Мир, где есть «я», но уже нет Другого, — мертвый мир. Покой воспринимается как неестественная ситуация, как жизненный упадок. Женщина у нее всегда любящая, а любовь — чувство творческое («дробь песнь»), которое высвобождает такие силы души, о каких человек и не подозревал до этого. Любовь сродни вдохновению. Традиционная для культуры трактовка мужчины как одухотворяющего и преображающего женщину начала не всегда уместна в лирике Павловой. Все мы уже однажды созданы Творцом, кто из праха, из глины, кто из ребра. Но все мы — сырой материал, который преображается (или нет) в течение жизни.

Вот он, мой первый мужчина,
 растерянный, обнаженный,
 сделанный богом из глины,
 из глины необоженной.
 Не бог мужчин обжигает —
 мужчин обжигают жены,
 а бог, он женам мешает —
 мужчина необоженный
 угодней богу.

И в любви не всякий мужчина равен женщине, которая с ним рядом.

Ева была влюблена
 в Создателя, а не в Адама.
 Вот в чем ее драма.
 Вот в чем ее вина.

Потому что хоть и «из твоего ребра», но «вся тебе поперек», если ты не «создатель». Довоплощением через любовь столько же женщина обязана мужчине, сколько мужчина женщине. Но женщина гораздо требовательнее в любви, потому что на нее изначально возложена ответственность за содеянное и за продолжение жизни. За свой извечный интерес к миру женщина расплачивается всю жизнь. «Была невинна, стала кругом виновата / в одну минуту, даже еще быстрее». Правда, это из стихотворения о потере физической невинности. Но виновата и там и здесь женщина, а не мужчина. Виновата и в близости, и в плодах близости, и в жизни их, и в смерти, и в том, что не такая, как мужчины.

Несмотря на боль, в стихах Павловой нет надрыва и надлома, после них остается светлое ощущение. Может быть, дело в предельной меткости, в лаконизме, которые упорядочивают хаос, придают стройность окружающему миру и вселяют надежду?

Любовь в поэзии Веры Павловой часто отражена как тревожное единство противоречивых чувств:

В трех временах единосущен,
 в трех лицах неделим
 глагол *любовь*. Как хлеб, насущен,
 как смерть, непобедим.
 Люблю: отравя дробь отрада,
 лекарство дробь болезнь.
 Любима: кара дробь награда,
 отчаянье дробь песнь.

Она убеждена, что «любовь — аксиома», но все же каждый должен подтверждать ее своим личным опытом. Потому что любовь одинаковая и разная. Сколько уже существует в поэзии определений любви, но каждое новое (талантливое) не оказывается лишним. И Павлова с ее краткостью и пристрастием к формульным определениям пополняет этот список словами особенными: «Любовь — опасный абсцесс по оси абсцисс, / где в точке Ах — я растеряна, ты расстроен», «Любовь — круговая пору-

ха, / проруха на саване дней». Встречаются целые стихи-миниатюры-определения любви («Любовь — простое число», «Любовь — бесконечный канон...», «Нет, не морковь. И не редиска...», «Не петли шелковы с балкона...»). На одном из выступлений Павлова сказала, что в сборнике «Вездесь» слово «люблю» встречается 144 раза, как выяснилось при специальном подсчете. О том же говорят и рассыпанные в стихах признания: «я ужасно люблю / писать *Люблю*, говорить „Люблю“».

В поэзии Павловой есть удивительное доверие к телу. Всех нас учили мыслить и действовать рационально, некоторых учили прислушиваться к своему сердцу, и, наверное, никого никогда не учили прислушиваться к своему телу. А это не менее важно. И вообще, сердце — это тело или душа? Извечный вопрос: «Где находится у человека душа?» Все предполагаемые места — это части тела. Познание себя — это и познание своего тела, и вот что бывает, если его игнорировать:

Думал, что я струшу?
Думал, кишка тонка?

Тело сбросило душу,
как скакун седока,
за вздорность, жестокость, чванливость,
за то, что блядь и ханжа,
за то, что любить разучилась...

С девятого этажа.

Поэтому полнота восприятия жизни воплощается у Веры Павловой и в умении воспринимать, открывать себя как сложное единство, не выбирая — «кожа» или «душа». И хотя тело для нее знаменует высшую целесообразность бытия, в ее стихах не существует противопоставления Евы и Психеи. Чего больше? Ничего не больше. Ведь только когда «посеешь душу — пожнешь любовь». Душа — это первое, что устремляется навстречу любимому человеку, что мы сразу отдаем ему. А может быть, тело? Что откликается первым на любовь — душа или тело? Поди разберись.

Влюбилась, но не по уши — по пояс.
А выше пояса — сплошная совесть.
Сними ладонь с моей груди, любимый
Моей бессовестною половиной!

И любовь у Павловой — одна из основных форм неумной жизненной энергии, жажда пережить все многообразие чувств. Все по максимуму: и жизнь, и любовь, и творчество. И «желать меньшего — / самоубийство». Она верна себе, и в этом ее неопровержимая логика и достоинство.

Кой-кого просила,
что греха таить,
чтобы дал мне силы
больше не просить,
но просила больше:
Дай быть собой.
Но вскрикивала: *Боже!*
Вместо *нет* и *ой*.

Не случайно в стихах Павловой часто появляется образ плывущего против течения. Ведь это очень тяжело — оставаться собой. От этого бывает больно и себе, и окружающим. Но надо. Поэтому «я плыву по-собачьи / против течения слёз». По-собачьи, потому что как умею, так и плыву. А никто нас не учил, как оставаться собой и что для этого делать. И нечего принимать здесь гордые позы. У Веры Павловой и нет гордых поз и пафосных слов. Ее жизненный принцип «раствориться, / чтобы остаться навек». Это единственный способ для человека, чтобы «душа сбывлась», и единственный путь для поэта, чтобы его творчество было подлинным.

Любви ситуация в ее стихах нередко дается зрительно, с обращением по всем пяти чувствам, с подробным описанием телесности. Для нее характерна не недосказанность, а скорее наоборот — стремление сказать именно о том, о чем в

стихах до нее не говорилось. Эта новизна проявлена не только на тематическом уровне, но и в лексике, и в строении стиха.

«Фирменный» жанр Павловой — лирическая миниатюра, вернее, даже не жанр, а способ мышления, эстетическая программа. Афористичные высказывания бьют в упор, заставляют вздрагивать, как слова, обращенные лично к тебе или незаконно подсмотренные в чужом дневнике и ожегшие предельной искренностью. Ее принцип точности — это «форма протеста» против оползня жизни, против беспорядка окружающего мира. Ее стихи наполнены конкретными деталями, диалогами, иногда сведены до емкого перечня. Математические термины и знаки, присутствующие в стихах, так и напоминают о возможностях поверить алгеброй гармонию, говорят о попытке жить сердцем, но ценя разум, упорядочивающий мир и постигающий его законы.

Да, стихи Веры Павловой бесконечно искренни и правдивы — но, как она написала в одном из сравнительно ранних стихотворений, если бы в них не было «кокетства, игры, бравады, / лести, неправды, фальши, / жалобы, злобы, / умствования, юродства», в них не было бы «ни слова». Потому что, снова скажу, это живая, неприкрашенная, доверчиво и отважно подаренная нам жизнь души и тела. Во вселенной, которая называется «Человек», Вера Павлова открыла новые стороны, новые грани. Ее лирика обнаруживает перед нами всегда неоднозначный, меняющийся и пульсирующий внутренний мир, противоречивое человеческое сердце.

Всё так сложносочиненно.
 Всё так сложноподчиненно.
 Всё так сложнобессознано.
 Всё так просто.
 Всё так грустно.

Татьяна АЛЕШКА.

Минск.

✱

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗЕРКАЛЕ «МУРЗИЛКИ»

Мурзилка и его друзья... М., «Дрофа-плюс»; Редакция журнала «Мурзилка», 2003, 192 стр.

Замечено, что в круг детского чтения ребенка могут вовлекаться произведения, которые отец читал в юности, а прадед — будучи уже человеком зрелым, то есть часть «взрослой» литературы со временем становится «детской». По-видимому, исторически детская литература возникла именно так.

Однако дети не хотят ждать. Им надо держать в руках не только те приключения, какими зачитывались их взрослые прадедушки. Детям интересно узнавать в героях самих себя, своих сверстников. Отсюда — необходимость в литературе, обращенной непосредственно к маленькому читателю. Постепенно такая литература формировалась в разных странах, в том числе и в России, хотя, по мнению Ю. Тынянова, в массе своей (исключения — известны) носила «лилипутский» характер («пушинки» — «снежинки» — «росинки» — «гномики»...), оставалась нарочито упрощенной. Рядом с великой русской литературой («Гулливером») существовали книжки для детворы («лилипутики»).

Прорыв у нас произошел в начале XX века, когда наитием К. Чуковского потешное копошение «лилипутиков» было превращено в мощный «комический эпос», захвативший собой не только прямого адресата — ребенка, но и взрослого книголюбца, поскольку эпос этот помимо доступного юному сознанию ярко фантазийного, образного начала, помимо энергии новых раскованных ритмов нес в себе понятную лишь взрослым многозначность, крепость словесной ткани, стилистический блеск. Вновь созданную нишу заняли те литераторы, для которых собственное детство не отошло в даль смутных воспоминаний, а жило в ощущениях, в духе, в слове, ведь самое первое, что требуется детскому писателю, — это почувствовать

себя маленьким. Игровое, комедийное начало дополнилось серьезным обращением к читающему ребенку, к его переживаниям, мечтам, гражданскому чувству, к той естественной любознательности, что находила разрешение в научно-познавательном слове.

Ныне библиотека детского чтения огромна. Нет числа выпущенным и «перевыпущенным» книгам. Однако еще больше имен и произведений пришло к нам через детскую периодику, а главным периодическим изданием для читателей 6 — 12 лет был и остается журнал «Мурзилка».

Несмотря на всю забавность словосочетания *старейший детский*, оно условно верно по отношению к «Мурзилке». *Старейший...* В этом году журнал отмечает свое 80-летие. *Детский...* Весь он посвящен детям. Сквозного перечня номеров редакция не ведет, тем не менее число их скоро достигнет тысячи. За 80 лет выход в свет очередного номера не прерывался ни разу. Только во время Великой Отечественной войны да в 90-е годы пришлось выпустить некоторое количество сдвоенных номеров. Удивительно ли, что «Мурзилка» открыл читателям целый сонм авторов? А потому, не претендуя на всю полноту отражения дел в нашей детской литературе, журнал, без сомнения, является ее правдивым зеркалом.

Как же преломляется нынешняя литература для детей в зеркале «Мурзилки»?

Ответ на этот вопрос, очевидно, следует искать в рецензируемой книге, поскольку она является избранным журнальных публикаций, в основном последних десяти лет.

«За оврагами, в которых мерцали сентябрьские дожди, я увидел в поле какие-то столбики.

Прошел немного — столбики обратились в солдатиков.

Они двигались, вертелись, наклонялись к земле.

Я упал на землю и пополз.

В деревне рассказывали, что на овсяном поле бывают журавли, но я их никогда не видел.

Как шеренга солдат, шли они, приближаясь ко мне.

Думаю, со стороны это была неловкая, странная картина — маленький человек ползет по полю, а навстречу ему шагают журавли.

Первым, кто заметил неловкость, был передовой журавль.

Взмахнув крылом, он остановился, замерли на месте его товарищи.

Ползти стало стыдно, и я поднялся. Теперь они ясно видели меня, грязного и мокрого, и могли, конечно, понять, что я им ничего не сделаю, а ползу так, по глупости, чтоб поближе поглядеть.

Не знаю уж, что они увидели и поняли, но только дружно открыли крылья и, медленно поднимаясь над полем, стали выстраивать в небе клин.

— Колесом дорога! — вдогонку им крикнул я.

„Колесом дорога!“ — так надо кричать улетающим журавлям.

Клин волновался, колебался над полем, уходил, утягивал за дальние леса. Огромным колесом лежала в небе журавлиная дорога».

В рассказах Ю. Коваля, которыми практически открывается книга, есть то, что, на наш взгляд, могло бы отличать профессионала вообще, а писателя детского должно отличать особенно: зримость изображенного; прозрачная чистота и ясность речи; какая-то глубинная притчевая простота и при этом ровный, спокойный тон, сердечное тепло, так важные и взрослому читателю, но совершенно необходимые ребенку.

Подборка рассказов Ю. Коваля служит камертоном ко всей книге, проникнутой духом дружелюбия и радости.

Вот зарисовка Г. Снегирева о дятле в зимнем лесу — о крепкоклювой, нарядной птице, у которой «под деревом навалена целая куча вышелушенных сосновых шишек. Это — кузница дятла. Дятел засунет шишку в расщепленный сук, все семена выклюет, пустую шишку вниз сбросит и летит за другой».

Вот рассказ В. Коржикова про лисичку-огневку, что, как пламя на снегу, вспыхивает «перед золотистым стожком».

Это проза поэтов: зоркая к деталям, метафорически насыщенная.

А вот воспоминание В. Берестова: «Помню, как в детском саду на шкафу заметил стопку номеров „Мурзилки” за прежние годы и сразу потерял интерес к играм и прогулкам. Я притворился больным, остался один, пододвинул к шкафу стол, поставил скамеечку, взобрался на нее и — о, счастье! — достал со шкафа журнал и раскрыл его прямо на странице с рисунками Чарушина».

А рядом те самые рисунки: лохматый, длинноухий щенок и чарующая своей добротой и обаянием насадка, с человеческим любопытством вззирающая на бегущих мимо нее, весело попискивающих цыплят...

Здесь уместно заметить, что книга о Мурзилке и его друзьях разрисована сплошь: от форзаца до форзаца, украшенных, как марочками, журнальными обложками разных лет. И переплет, и все рисунки внутри книги взяты из «Мурзилки». Оформление настолько разнообразно и так чрезмерно, что его, честно говоря, хотелось бы поубавить, ведь любимейший детьми Мурзилка просто обязан быть воспитателем художественного вкуса!

Радуюсь работам писателей и художников, отобраным для книги, можно пожалеть о том, что в нее не вошли, скажем, заветные строки В. Астафьева, печатавшиеся в журнале (как не хватает именно такого!), или полные живописной прелести и первородства картины Т. Мавриной. Нет в книге и упоминаний об одной из лучших журнальных рубрик «Галерея Мурзилки», посвященной художникам-классикам; нет хотя бы нескольких образцов, представляющих эту рубрику на центральных разворотах журнала. Между тем, выражая свои естественные сожаления, мы хорошо понимаем, какую непростую задачу решали составители книги; какой объем работы был выполнен ими на пути по созданию антологии, а «Мурзилка и его друзья...» — это именно маленькая антология нашей детской литературы последних лет — пусть в рамках одного, зато самого знаменитого детского издания. Впрочем, «Мурзилкины сказки и истории» иногда приходят к нам из дальней дали то воспоминанием Е. Благиной о златокудрой, розовой кукле; то рассказом Саши Черного про ящерку, похожую на крохотного крокодилчика.

И стихотворные листки, бывает, стремятся из былого: от К. Чуковского и А. Барто, от И. Токмаковой и С. Михалкова. Они несут нам весть о «Разноцветных домах» Я. Акима. Они улыбаются «Кривляке», перед которым держит зеркальце Р. Сеф. Они желают нам доброго дня, как прохожий, встреченный В. Орловым. Они улетают в небеса вместе с птицами В. Степанова или возвращаются назад из «Тридесятих сказок» А. Усачева.

Когда-то на сборе молодых детских писателей в Ленинграде один начинающий автор запомнился новеллой о том, как он принес больному другу «море в банке» — немного морской воды. Судьба автора нам неизвестна, но легко представить себе, сколь по-доброму оживет это воспоминание в каждом посвященном, прочти он мягкую и выразительную миниатюру М. Яснова «Городская внучка»:

Жила черепаха в квартире
Одна,
Глубокой и древней печали полна.
Была ее бабка —
Морская,
А внучка —
Давно городская.

Ни моря, ни солнца, ни камушка нет,
Куда ни взгляни —
Бесконечный паркет.
Ну, листик да капелька сока —
А все-таки так одиноко!

И вдруг появился в квартире щенок
И жизнь изменить черепахе помог.
Лохматый!
Большой!
И при этом
Он ползает с ней под буфетом!

Она семенит за шенком,
А потом
Ложится на лапу его животом
И слышит:
Щенок засыпает
И шумно, как море, вздыхает!

А вот «Мурзилкины кроссворды» — пример того, как форма забавного развлечения может быть использована в образовательном ключе. Скажем, кроссворд И. Сухина «По сказкам А. С. Пушкина» обращен к знанию пушкинских героев. А кроссворд М. Дружининой «На чашку чая», наверно, особенно приятен девочкам с их пристрастием к *пирогам* и *розанчикам* (из слов-отгадок). Не обойден вниманием и краснофлотец «дядя Степа», которому по воле художника пищит что-то на ухо развихрившийся в полете птенец.

Кстати, именно птенцы оповещают читателей книги: раскрытые вами страницы — веселые!

Здесь «Зимой и летом» каламбурит ударениями С. Белорусец:

Мороза не боится дядя мой.
Он любит в *полянью* залезть зимой.
А также любит летнею теплянью
В степи иль поле подышать *полянью*...

Здесь рисует свои «Смешные диалоги» Л. Каминский:

«— Придумай предложение со словом „благодаря”.
— Благодаря учительнице я получил двойку».

Здесь М. Лукашкина играет в «Рифмы-обманки»:

Помидор большой и спелый.
Погляди, какой он... (красный).

Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две — всего... (пять).

Знает даже иностранец:
Всех в лесу хитрее... (лиса).

Ясно, что у такого Мурзилки друга не только в книжке, а по всей России. В письмах они приглашают его к себе. Одни мечтают вместе с ним впервые отправиться на Черное море; другие зовут его с собой туда, где уже побывали сами и где им было хорошо. Они присылают ему своих кукол, шлют рисунки и аппликации, ответы на конкурсные задания и вышивки, стихи и сказки, запоминая, словно в «Птичьей школе» Б. Заходера, что «пишется „чирик”, а произносится „чивик” или „чилик”, кто как привык!».

Алексей СМЕРНОВ.

*

НАУКА ПОБУЖДАТЬ

Klaus Waschik, Nina Baburina. Werben für die Utopie. Russische Plakatkunst des 20. Jahrhunderts. Bietigheim-Bissingen. «Edition Tertium», 2003, 416 S.

Клаус Вашик, Нина Бабурина. Агитация за утопию. Русское искусство плаката 20 столетия.

Книга Клауса Вашика и Нины Бабуриной как будто бы очевидна и ожидаема. Как же иначе, ведь советское искусство плаката — такой благодатный предмет для академического исследователя, здесь все как на ладони: и повседневная жизнь «советского человека», и механизмы тоталитарного общества, и стилевые

манеры разных мастеров... Однако стоит только открыть объемистый том — и тут же понимаешь: книга эта совершенно неожиданна, она способна удивлять и даже шокировать. Очень нелегко уловить ее жанровую доминанту, представить вероятного ее читателя. Это не только ученый-искусствовед или историк, не только «любитель искусства», посетитель музеев или книгочел-эрудит. Труд Вашика и Бабуриной обращен ко *всякому* человеку, причастному к культурной памяти советского времени, то есть, попросту говоря, к любому жителю «России и стран СНГ» старше десяти — пятнадцати лет.

Мандельштамовская «выпуклая радость узнавания» посетит каждого, кто перелистает книгу, увидит сотни плакатов В. Маяковского и Д. Моора, Кукрыниксов и Б. Ефимова (и, как говорится, мн. др.), собранных под одной обложкой. Здесь — знаки детства, эмблемы взросления, когда все пространство обыденных дел и раздумий измерялось расстоянием от плаката до плаката, от лозунга до лозунга: от «Ты записался добровольцем?» до «Не стой под стрелой и грузом!», от «Не болтай!» до «О спорт, ты мир!». Академическая дистанцированность и отстраненность от объекта изучения нежданно-негаданно оказывается весьма трудно достижимой. Сопереживание, со-чувствие (то есть чувство совместно пережитой истории) — вот что постепенно начинает преобладать в сознании читателя по мере внимательного знакомства с книгой.

Впечатляет список архивов, музеев, библиотек, которые предоставили авторам возможность воспроизвести материалы из своих фондов. Здесь и Российская государственная библиотека (экс-«Ленинка»), и Архив кино- и фотодокументов, а также Архив литературы и искусства (РГАЛИ), Центральный музей современной истории, государственные архивы Литвы, Латвии, Эстонии — всего не перечислить. Книга Вашика и Бабуриной — итог реализации масштабного проекта, над которым на протяжении многих лет работала исследовательская группа Института русской и советской культуры им. Ю. Лотмана (Рурский университет, г. Бохум, Германия), а также сотрудники московских академических и учебных учреждений: Института мировой литературы РАН, Института европейских культур и др. Собранный материал огромен, прямо-таки необозрим: систематически описаны и качественно оцифрованы тысячи единиц плакатной продукции, составлены обширные картотеки и базы данных по творчеству сотен ведущих и менее известных художников-плакати-стов.

По обычаю многих современных (особенно европейских) ученых, авторы приложили к книге цифровой видеодиск (DVD), который дает более полное представление о масштабах сделанной российско-германским исследовательским коллективом работы. Однако об уникальном компьютерном приложении речь впереди, сейчас же самое время обратиться непосредственно к книге.

Материал в ней выстроен в хронологическом порядке, причем первый раздел целиком посвящен предыстории плакатного жанра в эпоху до большевистского переворота. Среди источников плаката называются лубочная картинка, афиша, рекламные объявления, содержащие графические изображения. Как показывают авторы, плакат изначально существовал в триедином силовом поле: «коммерция — политика — искусство». Все эти аспекты бытования плаката в досоветскую эпоху изображены обстоятельно и в логической взаимосвязи друг с другом. Особую ценность представляет анализ плакатных изображений начала двадцатого столетия в связи с развитием модернистских стилевых тенденций в искусстве рубежа веков.

Вторая часть книги («Советская плакатная культура: от риторики новизны до утраты утопии») является центральной и композиционно, и концептуально. Именно в советское время (особенно в период сталинского правления) изготовление плакатной продукции стало поистине общегосударственным делом, целой индустрией, воспроизводившей в своей структуре идеологические установки государства диктатуры пролетариата. Четыре главы, составившие данный раздел, посвящены разным аспектам истории и теории плаката. Среди них идеологический контекст, сопряженные с плакатом социально-политические институции («Агитпроп» и под.), специфика производства и тиражирования плакатов, наконец — особенности восприятия плакатных образов современниками. Авторы рассуждают о функциях плакатов сталинской эпохи в агитационной и пропагандистской деятельности. Пропаганда — своего рода реклама неких представлений, идеологических

установок, агитация — призыв к действию, к совершению конкретных поступков. По словам Плеханова, «пропагандист дает много идей одному лицу или нескольким лицам, а агитатор дает только одну или только несколько идей, зато он дает их целой массе лиц» (Соч., т. 3. М. — Л., 1928, стр. 400). Как показано в книге, эти различия тончайшим образом сказываются на социальном функционировании визуальных плакатных образов, что подтверждается многочисленными анализами конкретных плакатов.

Особое место в книге занимает проблема конструирования «образа врага» в плакатной пропаганде сталинской эпохи. Здесь важны многочисленные параллели с деятельностью пропагандистской машины в нацистской Германии. Сходство идеологии, политики, стилистической специфики искусства двух крупнейших в прошлом веке тоталитарных режимов отмечалось неоднократно. Тем более важными выглядят выводы Вашика и Бабуриной о существенных различиях между плакатами нацистской Германии и сталинского СССР именно в области «визуализации зла». В СССР враг последовательно конструировался в облике «мирового капитализма», затем — живущего внутри страны классового и идейного чужака (болтуна, саботажника, шпиона), в военное время — в образе гитлеровского оккупанта. Доминируют анималистические образы (змея, паук, крыса), а также — карикатурная и сатирическая стилистика. В гитлеровской Германии все иначе. Преобладает демонизация врага, изображение его в виде фантастического монстра, часто наделенного большевистской атрибутикой (буденовка и проч.) и семитской внешностью. Советской идеологии враг мешает целенаправленно двигаться вперед, расставаться с отжившими формами жизни, создавать новые нормы классовой этики (паук-капиталист, сосущий кровь строителей светлого будущего). С точки зрения нацистской пропаганды, враг, наоборот, стремится разрушить традиционные устои высокой культуры, помешать их сохранению и консервации (чудовище, похищающее невинную девушку и тем самым разрушающее семью). И еще одно фундаментальное различие: фашистская пропаганда подчеркивает и предельно обобщенно изображает национальные и культурные особенности врага, объявляет его тотально неполноценным и несостоятельным. Пропаганда же советская даже в самых жестких образцах своей визуальной продукции отделяет национальное от классового, этнические особенности от культурных. Идеология нацизма проповедует, что советский народ не только поработен заправилами всемирного иудейского заговора, но сам несет цивилизации смертельную угрозу. Народ же Германии, с позиции коммунистической пропаганды, — прежде всего жертва фашизма, то есть сохраняет все культурные потенции, свойственные развитым этносам Европы.

Много внимания уделяют авторы взаимодействию в плакатных образах ментальных, словесных и зрительных начал, на примере конкретных плакатов исследуют процесс превращения идеологических представлений в зрительные образы, выделяют ключевые детали, метафоры, аллегории.

Наконец, важнейшее место в книге занимает анализ плакатного производства с точки зрения экономики и технологии. Каким образом тиражировались плакатные изображения для знаменитых окон РОСТА? Как в течение считанных часов удавалось разместить их в витринах многих городов, в том числе — весьма отдаленных от столиц? На все эти вопросы дает наглядный ответ один из разделов приложенного к книге видеодиска, в котором воспроизведены все стадии изготовления трафаретов, их транспортировки до места назначения и превращения заготовок в готовые плакатные изображения. Эти производственные операции были в свое время так же детально разработаны, как и теория агитации-пропаганды, помогавшая поэту-художнику того времени вылизывать

чахоткины плевки
шершавым языком плаката...

В третьей части книги история отечественного плаката доведена до перестройки и постсоветского периода, затем следует обширная библиография, указатели и подробная хроника основных событий, связанных с развитием плакатного искусства. Очень любопытен словарь-тезаурус, содержащий термины и названия, далеко

не всегда понятные не только жителю Германии, но и российскому гражданину эпохи 2000-х годов (ДОСААФ, ОГИЗ и т. д.).

Однако на этом чтение не заканчивается, оно плавно переходит в наблюдение — читатель может увидеть на мониторе обширную подборку визуальных иллюстраций к прочитанному тексту. Впрочем, функции приложенного к монографии DVD не сводятся к простому иллюстрированию, они несравненно более широки. Дело в том, что книжный текст неизбежно выстроен в линейной последовательности, задает единственную траекторию освоения материала — чтение от главы к главе. В виртуальном пространстве все выглядит совершенно иначе.

Стартовая картинка предоставляет пользователю сразу четыре возможных алгоритма работы, а значит — четыре траектории освоения материала. Лишь одна из них воспроизводит структуру книги: предлагается в хронологической последовательности познакомиться с различными периодами в истории развития русского плаката. Но главное на диске — «виртуальный музей». Это — не побоюсь пафоса — шедевр компьютерной графики. В некоем условном помещении, воссозданном до деталей (за окнами реальные, узнаваемые городские виды и условно советские урбанистические пейзажи), размещена экспозиция плакатов. Пользователь может либо просто прослушать виртуальную экскурсию, либо — самостоятельно переходить из зала в зал, подняться на лифте на второй этаж, подойти поближе к привлекающим внимание экспонатам, укрупнить их изображения, чтобы рассмотреть мельчайшие детали, наконец, заглянуть в базу данных по каждому конкретному плакату и выяснить биографию художника, историю создания плаката и его технические характеристики. Во «всемирной паутине» существуют сотни виртуальных музеев, но настолько изощренная техника электронного представления объектов искусства поистине уникальна.

Третья возможность, доступная для пользователя DVD, — просмотр одной из тематических экспозиций. Хронологический принцип изложения материала в книге неизбежно ведет к разрыву тематических связей между отдельными произведениями, относящимися к разным периодам. Среди предложенных экспозиций — «Лениниана», «Символы советского» и т. д. Демонстрация плакатных единиц и воспроизведение документов сопровождаются комментариями диктора, а также музыкальными фрагментами.

Последний вариант работы с видеодиском — использование тщательно продуманной поисковой системы. Можно задать одновременно несколько параметров входа в базу данных: фамилия художника, стилевое течение в искусстве плаката, период времени, наличие ключевых деталей. Различные сочетания алгоритмов поиска приведут к совершенно разным «наборам» извлеченных из виртуального хранилища плакатов. Это могут быть, например, плакаты о Ленине, созданные в 20-е годы, или плакаты с изображением серпа и молота, созданные каким-либо одним художником в довоенные годы, и т. д.

Как видим, книга и видеодиск в своей совокупности образуют сложнейшим образом организованное единое информационное поле. Оно предназначено как для массового читателя, так и для специалиста, каждый из них может задать собственный, наиболее соответствующий вкусам и практическим нуждам способ знакомства с материалом. Например, преподаватель, лектор имеет возможность не только создать свою собственную временную экспозицию плакатов, но и поместить ее в специальный альбом, содержимое которого можно воспроизвести на экране во время научного доклада, публичного выступления, лекции.

Мастерски оформленная книга Клауса Вашика и Нины Бабуриной сама по себе является произведением искусства, здесь продумано абсолютно все, вплоть до вложенной в том стильной закладки с интернетным адресом, по которому можно отыскать сетевую версию плакатного проекта Института имени Ю. Лотмана. Однако, как уже говорилось, читатель вправе и отстраниться от «музейного» чтения и просто отдаться собственным воспоминаниям, узнать себя прежнего, погруженно в быт советского времени. Это едва ли не самая очевидная из многих возможных читательских позиций. Как сказано у Сергея Гандлевского:

Но знала чертова дыра
Родство сиротства — мы отсюда.
Так по родимому пятну
Детей искали в старину.

Остается надеяться, что интереснейшая монография об истории отечественного плаката в скором времени будет переведена на русский язык. Тогда конкуренция за место в списке интеллектуальных бестселлеров явно обострится.

Дмитрий БАК.

КНИЖНАЯ ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

Не раскрылся парашют у пацана.
Смотрит — а под ним лежит страна.
Она лежит, раздвинув ноги.
Глаза пусты и одиноки.

Владимир Богомяков.

±10

Леонид Блехер, Георгий Любарский. **Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья**. М., «Академический проект», Институт Фонда «Общественное мнение», 2003, 608 стр. («Окна и зеркала»).

«Цель этой книги — привести материалы для описания современного состояния вопросов, которые традиционно занимали мыслителей России <...>. Основной книги послужила дискуссия между современными западниками и почвенниками, инициированная Фондом „Общественное мнение“ (ФОМ) и Фондом „Либеральная миссия“ (ФЛМ). Материалы этой дискуссии можно посмотреть на сайтах www.fom-discurs.ru и www.liberal.ru». Многостраничная работа Блехера и Любарского радует (лично меня) обилием цитат, она, собственно, *построена* на разнонаправленных цитатах, занимающих, вероятно, до половины общего объема (не считал, но уж точно не меньше трети) и выделенных на странице узкой колонкой и мелким шрифтом. Многоголосье замечательное и привлекательное, опирающееся на уверенность авторов, что диалог западников и почвенников «может быть описан не с точки зрения выбора того, кто прав, а с точки зрения необходимости самого диалога». И более того: «можно говорить, что почвенники более правы, время новизны уходит», а с другой стороны, «можно говорить, что западники сейчас как никогда актуальны: остались последние миги для того, чтобы на все последующее средневековье усвоить нечто из возрождения». (Можно еще сказать, что Сарра тоже права.) А последующее, оно же Новое, Средневековье — это вот что такое: относительно долгие стадии «устойчивого существования с неизменными параметрами системы» (авторы называют их средневековьями) чередуются с краткими периодами «восприятия новизны и кардинальной перестройки системы» (соответственно это возрождения). Первая часть книги ретроспективна, вторая предсказательна («изложенная <...> модель Глобального Средневековья, или „Глобализм + Новое Средневековье“, представляет собой *отрицательную футурофиксацию*»). А в целом остается странное послевкусие: как будто два командированных инопланетянина добросовестно систематизируют для диссертации/отчета земные мнения и прогнозы (и знают, что улетят и где-то там защитят/отчитаются).

«Открытость цитат и точек зрения, из которых авторы строят свои выводы, делают эту книгу лабораторией мысли, интересной не только для ученых-профессионалов своим анализом и *огромным справочным аппаратом* (курсив мой. — А. В.), но и для студентов и аспирантов, специализирующихся в политологии, социологии, философии, культурологии, истории» (из аннотации). Но как раз огромный спра-

вочного аппарата в книге не наблюдается (или под ним подразумеваются таблицы с результатами опросов общественного мнения), а то, что имеется, недостаточно именно с точки зрения общего замысла. В книге есть список использованной литературы (187 позиций), но, естественно, без ссылок на страницы, на которых та или иная книга была использована. И это бы не беда, но отсутствует совершенно необходимый в таком издании указатель имен. Таким образом, если вы сами наткнулись в основном тексте на интересную цитату, то вы сможете установить, по какому изданию авторы ее приводят, но если вы хотите найти в тексте цитату из того или иного автора, у вас не остается иного выхода, как пролистать всю книгу Блехера и Любарского от начала до конца. Таким образом, пользоваться ею в научных или учебных целях затруднительно, а вот читать *можно* — и с любого места.

«Это совершенно не важно. Вот почему это так интересно» (Агата Кристи).

Борис Кагарлицкий. Периферийная империя. Россия и миросистема. М., «Ультра.Культура», 2004, 528 стр.

Кратких курсов должно быть много. И этот (левый? материалистический? марксистский?) курс российской истории от хазар до Путина, с упором на торговлю, экономику, с апелляциями к историку-марксисту М. Покровскому (которого и я когда-то читал с большим интересом), совсем не лишний. Установка: «Без понимания мировой истории русское прошлое действительно превращается в цепочку нелепых загадок». Ключом к пониманию отечественной истории является, по Кагарлицкому, *неизменно периферийное положение России в международном разделении труда, в «миросистеме»*. «Периферия» не может догнать и перегнать «центр», ибо это не два всадника на ипподроме, а всадник и лошадь, которые одновременно приходят к финишу, но в разном положении. Лошадь может попытаться скинуть седока: «Революция 1917 года, выключив Россию из мировой системы, превратила ее из периферийной страны — в отсталую».

«Миросистемный анализ играет с автором злую шутку, — пишет Ольга Быкова в газете „Завтра“ (2004, № 18, 27 апреля <<http://www.zavtra.ru>>). — При принятии тезиса о Центре и периферии (не принять его невозможно, в этом мире мы живем) для XIX и XX века все справедливо, и построения Кагарлицкого почти безупречны. Но для меня, человека, посвященного в работы Валерстайна чуть-чуть, остается непонятным, почему центр сформировался именно там, где он есть. <...> Видимо, я не понял Валерстайна (почему Ольга Быкова пишет о себе в мужском роде? или опечатка? я цитирую по электронной версии газеты. — А. В.). Или Борис Юльевич не смог мне его объяснить. Постоянные натяжки, пропуски, переосмысления с одной темы на другую, жонглирование фактами, игнорирование источников. При правильной постановке задач, при благородной цели, при точном анализе конкретных ситуаций, на мой взгляд, книга оказалась неубедительной. И заняла на моих полках место между трудами Гройса и словарем культуры XX века Руднева. Среди прочих постмодернистских текстов».

Да, книга любопытная, безотрадная. Я не берусь здесь (да и вообще не берусь) анализировать ту историософскую конкретику, которая занимает 99 процентов книги. Но Борис Кагарлицкий, как известно, не столько ученый-историк, сколько актуальный публицист, поэтому в книге есть *мораль*. К сожалению, именно тут нетривиально проинтерпретированная конкретика оборачивается малоинтересной риторикой. «Опыт русской истории показывает, что оставаться в рамках [миро]системы — значит обречь себя на деградацию, а искать спасения, отделяясь от нее, — на изоляцию». Спрашиваю: ведет ли изоляция — к деградации? Спрашиваю это, памятуя о новейших концепциях изоляционизма и блаженной автаркии, например, о сумбурно-симптоматичном докладе бизнесмена Михаила Юрьева «Крепость Россия» («Новая газета», 2004, № 17, 15 марта), живо обсуждавшемся с разных точек зрения в «Русском Журнале». У Кагарлицкого вопрос только обозначен, но должным (логически-непротиворечивым) образом не прописан. Зато: «В XXI веке у России, как и у всего человечества, остается только один выход: изменить миросистему». Всего-то. Сделать «новый рывок, направленный на преодоление периферийного положения страны в миросистеме <...>». Рывок — внутри этой миросис-

темы или вне ее (через изоляционизм)? И если мы (представим) всё преодолеем, то... станем ли «центром»? А кто будет (кого назначим) «периферией»? Надо: «Преобразовать себя таким образом, чтобы одновременно изменился и внешний мир». Ка-а-ак?! Возможно ли это хотя бы теоретически? «Насколько успешными будут подобные попытки — вопрос уже не теории, а практики». Нет, тут без теории (хоть самой приблизительной) не обойтись. «Миросистема» в любой своей временной точке создана такой («англосаксами») или, что называется, так сложилось? Является ли дуализм «центра» и «периферии» неизбежным? Возможна ли миросистема без «центра» и «периферии»? Было ли такое когда-либо? Возможно ли это в будущем? К тому же возникает вопрос о самой возможности/невозможности целенаправленного изменения, а не просто слома таких сложных систем. И почему мы можем надеяться, что гипотетическая ликвидация порочной миросистемы приведет именно к *таким* переменам, которые улучшат положение России, а не ухудшат его? «<...> судьба России неотделима от истории человечества. И бороться за лучшее будущее для себя мы способны, лишь пытаясь построить лучший мир для всех». Славно. Но, как справедливо заметил философ Михаил Ремизов, «хотя бы шепотом мы должны оставлять за собой право спросить — а в какой атмосфере Россия имеет больше шансов на самоосуществление — в атмосфере *мирового порядка* или в атмосфере *катастроф* мирового порядка?». Не говоря уже о том, есть ли у нас *время*. Может, именно (исторического) времени не осталось? (Может, только и осталось, что бензинчику плеснуть?)

А «лучший мир для всех»... что ж... помните у, прости Господи, Стругацких: *счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным*. Да разве ж мы против? Разве ж мы звери?..

Тезисы по российской национальной политике. (Руководитель авторского коллектива А. А. Шаравин). М., Институт политического и военного анализа, 2004, 32 стр. <<http://www.ipma.ru/publikazii/etnosotn/372.html>>.

Жанр: как нам обустроить... Обустроить — что? *Новую* Россию. Это уточнение принципиально и не очевидно. Поскольку — воспользуюсь словами из недавней статьи публициста Александра Храмчихина («*GlobalRus.ru*») — «интерпретация происходящего в стране <...> полностью отдана людям, не приемлющим новую Россию („третью Россию”, если считать первой страну до 1917 г., а второй — СССР)». Эту же мысль развивает в предисловии к рецензируемой брошюре Сергей Маркедонов: «<...> есть три виртуальных, весьма мифологизированных образа. Первый — это образ Советского Союза, с которым его создатели связывают существование Золотого века, когда люди „жили, как боги, с спокойной и ясной душой, горя не зная”. Что для них современная Россия? Обрубок СССР, убудочное государство, которое и защищать-то неприлично. <...> Второй миф — это Российская империя, с которой его создатели нам предлагают „восстановить историческую преемственность”. <...> Третий миф — это миф „возрождения”, обретения „корней”, „возвращения к истокам”. Его певцами выступали и выступают деятели как этнонационалистических движений в республиках в составе России, так и всевозможных региональных течений (казачество, например). <...> Интересно, что творцы всех трех мифов нередко гневно и с пристрастием осуждают друг друга, но все их лозунги при внешнем различии глубинно близки. Для них современная Россия, Российская Федерация как реальность не существует и не представляет интереса».

Теперь к делу: «Предложения, изложенные в настоящих тезисах, позволяют в рамках конституционного поля, без чрезвычайщины и включения жестких репрессивных механизмов, реализовать политический проект по формированию *российской гражданской политической нации* (курсив мой. — А. В.)». Забавно, что само построение фразы подразумевает хотя бы теоретическую возможность формирования РГПН и через включение «жестких репрессивных механизмов». Далее: «Без преодоления „культы крови” мы будем обречены на постоянное „предчувствие гражданской войны” и постоянное деление на „своих” и „чужих”». Но вот беда (это уже я размышляю над прочитанным): это самое неполиткорректное/политне-

корректное деление на «своих» и «чужих» экзистенциально неустранимо, это вообще, нравится нам или нет, единственно возможный способ *быть*. Переменной тут является только психологическая граница между «своими» и «чужими», которую и предлагается совместить с границей существующего государственного образования, в данном случае — Российской Федерации (что, подчеркну, само по себе не лишено смысла). Концепция «российской гражданской политической нации» (в том числе и в тезисах ИПВА) может выглядеть вполне убедительно — при условии приятия некоторых исходных мировоззренческих предпосылок (останавливаться на которых я не буду). Но при иных предпосылках, иной картине мира (иных «тараканах в голове») «гражданская нация» выглядит интеллектуальным *недоразумением*. «Что значит определить нацию как сообщество граждан государства? — процитирую еще раз философа Михаила Ремизова¹. — Это значит утверждать, что границы нации производны от юрисдикции государства, то есть, в широком смысле, от правового оформления его границ. Иными словами, это значит признать, что данная нация учреждена данным государством (или, если угодно, правовыми положениями о его границах). Чем же тогда учреждено государство? Ирония в том, что конституционная претензия современных государств состоит в том, что они учреждены своими нациями. Которые предварительно учреждены ими».

Есть и эстетическое препятствие: «россиянин» — как-то *не звучит*. Не то что «гордый росс».

О к т я б р ь 93. Военные под российским триколором. М., Институт политического и военного анализа, 2003, 64 стр. <<http://www.ipma.ru/publikazii/facts/379.html>>.

Вот еще одна примечательная брошюра, выпущенная ИПВА. Мне уже приходилось когда-то писать, что защитники Верховного Совета, потерпев в 1993 году военно-политическое поражение, в полной мере взяли реванш в сфере литературно-политической, выпустив неисчислимое количество статей, мемуаров, романов, стихов, пьес о зверствах «оккупационного режима», и, взяв если не качеством, то количеством, перехватили право «победителей» на интерпретацию истории. А те и не возражали. «Когда-нибудь спустя много лет историки назовут российскую буржуазную революцию конца XX века „странной“ <...>. Она оказалась в состоянии побороть советскую власть (то есть выполнить задачу, которая была не под силу Временному правительству и белому движению). Но российская буржуазная революция не смогла легитимизировать собственные победы, дать идеологическое обоснование самой себе, — идет в обширном предисловии Сергей Маркедонов. — В октябрьские дни десять лет назад был решен основной вопрос российской буржуазной революции конца столетия — вопрос о власти. <...> Эти люди [российские офицеры], едва ли до конца осмысляя это рассудочно, творили российскую историю², российскую буржуазную революцию, а потому заслужили право быть услышанными. Хотя бы и спустя 10 лет. Мы публикуем их рассказы так, как мы их записали, с небольшими редакционными сокращениями». Сказать, что эти записи интересны, — значит ничего не сказать. К сожалению, тираж всего тысяча экземпляров. Вот несколько кусочков, которые не могу не привести. *Игорь Астахов*: «Я работал тогда в Службе безопасности Президента. <...> Начальником личной охраны Руцкого был мой товарищ. Я с ним встретился. Посидели мы с ним на балконе, покурили и задали вопрос: „Будем стрелять друг в друга?“ Мы ведь все служили в единой службе безопасности, прекрасно знали друг друга, начинали вместе. Мы оба офицеры, так что на тот вопрос ответили: „Как Бог велит“. В ту же ночь Президент вызвал к себе всех командиров — от командиров отрядов до командиров штурмующих структур. Я этого никогда не забуду — и торжественно,

¹ О книге статей Михаила Ремизова «Опыт консервативной критики» (М., «Прагматика культуры», 2002) см. «Книжную полку Ирины Роднянской» в следующем номере «Нового мира».

² Не удержусь, позволю себе — как раз в тему — дать отсылку на рассказ малоизвестного фантаста Михаила Харитонова «Как бы»: сайт «Михаил Харитонов. Ненаучная фантастика» <<http://haritonov.kulichki.net/stories/kakby.htm>>.

и страшно. Исторический момент. Президент говорит: „Пришел час, когда я как Президент и Верховный Главнокомандующий отдаю приказ убивать”. Это была команда на штурм. <...> В Белом доме ни одного выстрела не было. На третьем этаже нас обстреляли собственные танки. Связи никакой не было. <...> И трубка Хасбулатова лежит. Я ее в карман — трофей!» *Анатолий Цыганок*: «В октябре 1993 г. я был начальником городского штаба Московских народных дружин. <...> Где-то ночью приходит ко мне войсковой старшина и объявляет: „Сотня Всевеликого Войска Донского прибыла для защиты Президента Ельцина”. Именно эта сотня выселяла из гостиницы „Россия” множество чеченцев, собравшихся там по призыву Хасбулатова». *Александр Шаравин* (в настоящее время — директор ИПВА, профессор): «В ночь с 3 на 4 октября стало понятно, что армия в лице министра обороны предала Президента. <...> К утру 4 октября в народные дружины записалось где-то около 18 000 человек. Это те, кто именно записался, — ведь многие люди не хотели своих имен оставлять, понимая, что в случае победы мятежников последствия для них могли быть самые плачевные. Так вот, из записавшихся тысячи две с половиной были офицеры. В сущности, два офицерских полка. Это наводило на вполне серьезные размышления о том, не предпринять ли нам самим попытку штурма Белого дома. Если бы эти люди были вооружены, то вполне были бы в состоянии выполнить такую задачу. Но крови, конечно, пролилось бы много».

Тут нужен *Шолохов*, между нами говоря.

Не Проханов, не Максим Соколов.

Максим Артемьев. Почему. М., О.Г.И., 2004, 112 стр.

Эту книжку коротких эссе, подаренную мне автором — публицистом Максимом Артемьевым (род. в 1971), я начал листать еще в метро, благо читается она с любого места. Сквозные темы: альтернативная история, эволюционная теория, восхищение поэзией Льва Лосева... Главное же — редкое в наши дни *простодушие*. «Задумаемся: а тот факт, что люди говорят на тысячах языков, служит благу или злу?..» Простодушие восприятия: «Рассказы Толстого для детей — жестокая книга. Я поразился, сколь много там смертей и убийств всяких птичек, животных, да и людей». Простодушие незнания: «Сергей Прокофьев. Я ничего не знаю о его жизни. Но все равно, возьмем только формальные аспекты...» Простодушие самоуверенности: «И еще — за все годы советской власти не вышло ни одной (!) книги о немецких солдатах на Восточном фронте». Восклицательный знак принадлежит автору, лучше бы он поставил — вопросительный. Я-то еще в годы своего *советского* отрочества читал *по-русски* о том, что «смерть пахла в России иначе, чем в Африке» (первая фраза достаточно известного романа Ремарка «Время жить и время умирать» — М., Издательство иностранной литературы, 1959), да и много еще чего — на эту тему. Полистаем дальше. «Все языки равны, и все литературы тоже, тем не менее особенности существуют. В России слабо развит жанр воспоминаний». «Крупнейший русский прозаик современности после Солженицына — Роман Сенчин». После каждой второй фразы хочется впечатать знак копирайта: © М. Артемьев. «Каким будет мир через тысячу лет? Можно предположить, что совсем не таким, какой он сейчас, но не более (? — А. В.). Посмотрим на себя нынешних глазами человека тридцатого века».

Какого, какого века?!

Сергей Эрлих. Россия колдунов. (Сакральная природа интеллигенции); Поклонение волхвам. (Опыт динамического структурализма); История мифа («Декабристская легенда» Герцена); Станет ли история «учительницей жизни»? («Технология власти» — проект оживления истории). СПб. — Кишинев, «Высшая антропологическая школа», 2003, 497 стр. («Мир — зеркало для Молдовы»).

Да, люблю издательские аннотации — иногда они звучат *как музыка* (приведу полностью): «В книге излагается оригинальная концепция противоположности „воинской” русской цивилизации и „колдовской” цивилизации Запада. Рассматриваются взаимное отрицание и преемственность трех поколений русских „колду-

нов”: волхвов, православных священников, интеллигенции. Выдвигается гипотеза о происхождении славянских жрецов-волхвов от средневекового народа волохов. Исследуется сочетание несовместимых мифологических структур — христианские „мученики”, языческие „герои” (тотемные предки) — „декабристской легенды” Герцена, определившей благоговейное восприятие декабристов в интеллигентской среде на протяжении полутора столетий. Автор придерживается правила: „Модно все, что я пишу”. И поэтому без колебаний использует старый добрый структурный метод. Для небезразличных к судьбе своей страны». В начале книги стоит посвящение «моему другу Сергею Васильевичу Марару» (=издателю). На обложке — фотография автора и издателя: «читают очередное издание „России колдунов”». Тут же на обложке — автограф Сергея Эрлиха: «Эта книжка написана кровью моего сердца. Считаю, что мне открылся смысл русской цивилизации. Допускаю, что могу ошибаться. Уверен, что опровержение моих заблуждений приблизит всех нас к истине» (14.12.2002). А вот *самые интимные истины/заблуждения* (все дальнейшие цитаты — из главы «Послероссие»): «<...> реальный выбор существует только между среднеазиатским, кавказским и молдавским будущим русской цивилизации. И только молдавская цивилизация будет „перерожденным” продолжением русской»; «<...> великое призвание молдаван — стать новыми русскими, основать новую цивилизацию от Атлантики до Тихого океана <...>»; «Поставив цель, всегда заявляю о ней во всеуслышание, чтобы потом отступить было стыдно. Итак, Молдавия от Атлантики до Тихого океана!».

Книга напечатана по решению Сената Высшей антропологической школы.
500 экз.

Владимир Богомяков. Песни и танцы онтологического пигмея. М., «Парад», 2003, 320 стр.

Совсем правильное название книги — «Песни и танцы онтологического пигмея Владимира Богомякова». Автор (род. в 1955) — человек серьезный. Работал: штукатуром-маляром, сторожем, бетонщиком, каменщиком, грузчиком, мойщиком машин, рабочим в геологических партиях, инженером отдела промышленной социологии, старшим инженером лаборатории прикладной этики, преподавателем высших учебных заведений. Доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политологии в ТюмГУ. Написал: «Книга грусти русско-азиатских песен Владимира Богомякова» (М., «Guzelizdat», 1992), «Сокровенное как принцип бытия» (Екатеринбург, 1999), «Сокровенное: кровь и кров бытия» (Тюмень, 2000), а также около пятидесяти научных и философских статей в разных изданиях. Эссе В. Г. Богомякова регулярно появляются на сайте интернет-журнала «Топос» <<http://www.topos.ru>>, их можно найти и на бумаге — в топовских альманахах «...Наше все...» (М., «Парад», 2003) и «Обратная изнанка Луны» (М., «Парад», 2004).

Многие ли его *знают*? (Кроме Мирослава Немирова, разумеется, см. «Всё о поэзии 52-53» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/20010718n.html>>). Может, и многие, но не «литературная общественность». А зря. Ядреная сибирская смесь Заболоцкого 20 — 30-х годов («была дева, стала щип...»), Хармса (скорее прозы, чем стихов), вообще обэриутов, Мандельштама, возможно — Клюева и вплоть до Юрия Кузнецова, настоящая на *русском реализме и настоящем времени* и обернувшаяся *песнями онтологического ужаса*. И чем яснее и короче, тем жутче. «За сараем выли волки. / Там закончилась Россия. / Злые дяди у Николки / Ничегоши не спросили. / Ничегоши не спросили. / Что же спосишь у Николки? / Вечер. Волки голосили. / Мальчик в бежевой футболке. / <...> Впереди — большая яма. / Если б только знала мама!» Две строки в цитате я выкинул — лишние, тормозящие. («Из недостатков поэзии Б. следует указать на то, что он чересчур привержен принципу спонтанности. Сев с утра за стол, открыв большую черную тетрадь, он с ходу в нее прямо набело пишет стихотворение и более переработкой его и т. д. никогда, насколько мне известно, не занимается. В результате замечательные и офигительные куски перемежаются длиннотами, которые без ущерба для целого следовало бы просто выкинуть», — свидетельствует Немиров). «Спосишь», «ничегоши» — не опечат-

ки; по стиховой ткани бежит рябь сознательных неправильностей. Вот еще два стихотворения, может быть, не самые богомяковские, а те, что сразу *глянулись*:

Плохо ласточкам в милиции служилось —
Сапоги для лапок больно велики.
И длинные их перья хвостовые
Не спрятать в милицейские штаны.

И зимовать им в Африке привычно,
А не в хрущевке на последнем этаже.
И мухи точно им полезней,
Чем с колбасой и салом бутерброд.

А снятся ласточкам не розовые бабы,
Но стаи насекомых над водой.
Им глазки режет дым от «Беломора»,
И в клювик много водки не зальешь.

Или:

На юге холодно. Так холодно на юге.
Индийский чай. Газеты. «Беломор».
Клубятся на столе две маленькие вьюги.
И на стекле серебряный узор.

В пространстве самовары, минареты,
Студеной Турции морозные приметы.
Ахмеду строганину принесли.
Хозяйки русской водки запасли.

И люди в шапках из больших собак
Идут гурьбой, скрепя снежком, в кабак.
А нищий на крыльце стоит за подаяньем,
Любуясь в небе северным сияньем.

...Кто сказал: «кризис поэзии»?! Два шага вперед!

Людмила Петрушевская. Танго и Песнь натурщицы. Акварели, монотипии. 21 апреля — 10 мая 2004 года. М., Галерея Леонида Шишкина, 8 стр. <<http://www.shishkin-gallery.ru>>.

«Я пишу все — прозу, стихи, пьесы, письма, сказки, статьи и сценарии. Рисую розы, портреты, комиксы» (Л. С. Петрушевская). Цветы, обнаженная натура («наброски натурщиц, сделанные в студии им. Нивинского») и танцующие пары — вот сюжеты полотен Петрушевской, выставленные в Галерее Шишкина на Неглинной. Розы рисовать трудно, у Петрушевской это получается. Монотипии на обоях с танцующими парами несколько монотонны, сразу понимаешь алгоритм (их можно *делать* сотнями). Некоторое приятное однообразие цветов и натурщиц не раздражает, входит в условия жанра. «<...> ее воздушные акварели разительно контрастируют с трагичной и тяжелой, как вселенские сумерки, прозой»³, — отмечает Виктор Канавин («Итоги», 2004, № 17).

Появилась заметка и в федеральном еженедельнике «Российские вести» (2004, № 16, 28 апреля — 11 мая) — под названием (это существенно) «Петрушевская романтизирует под звуки танго». Цитирую: «„Мне не с кем было поговорить, я слушала старое танго, и я крепко держалась за танго тонкую нить”, — как всегда, поэтично рассказывает Петрушевская (да не рассказывает, это ее стихотворение „Танго”, напечатанное в выставочном каталоге! — А. В.). Работая над картинами, она все время слушала любимые мелодии. <...> На выставке было много прекрасных полотен с танцующими парами *под звуки вальса* (курсив мой. — А. В.)...»

Вальса?

³ Открытие выставки было совмещено с презентацией первого романа Петрушевской «Номер Один, или В садах других возможностей» («ЭКСМО»). Журнал предполагает откликнуться на эту книгу, уже объявленную (М. Золотоносовым) главным событием текущего литературного года.

Е. И. Горошко. Языковое сознание: гендерная парадигма. М. — Харьков, ИД «ИНЖЭК», 2003, 440 стр.

Четыре группы: мужчины, женщины, геи и лесбиянки (именно так — стр. 152). На слово «мужчина» три группы (мужчины, женщины и геи) реагируют позитивными ассоциациями, одна группа (лесбиянки) — отрицательными. На слово «муж» первая по частоте ассоциация у мужчин — «жена», вторая — «хороший». На то же слово первая по частоте ассоциация у женщин — «жена», вторая — «козел» (стр. 373). Глава 2 раздела 2 «Ассоциация — гендер — цвет — условия жизни»: «<...> смоделировать цветовое сознание рядового носителя современного русского языка и установить его связь (если такая существует) с гендерным фактором и специфическими условиями жизни». Самое интересное в книге — приложения к ней (стр. 333 — 437). К сожалению, книга Елены Горошко написана «научным», то есть *нечеловеческим*, языком, заслуживающим стать объектом аналогичного исследования.

Отто Кернберг. Отношения любви. Норма и патология. Перевод с английского М. Н. Георгиевой под редакцией М. Н. Тимофеевой и Т. С. Драбкиной. М., Независимая фирма «Класс», 2004, 256 стр. («Библиотека психологии и психотерапии», вып. 76) <<http://www.igisp.ru>>.

«<...> орально детерминированная зависть к догенитальной матери <...>». *Это просто праздник какой-то*. «<...> примечательная диспропорция между мощными спроецированными сексуальными фантазиями пациента с эротоманиакальным переносом, с одной стороны, и реакцией контрпереноса, содержащей лишь напуганность и скованность — с другой, должна сигнализировать аналитику о возможности тяжелой нарциссической психопатологии пациента или глубокой регрессии в переносе». Книга доктора медицины, «одного из самых авторитетных современных психоаналитиков», демонстрирует нам психоанализ в его норме (=патологии). Особенностью такого рода книг часто является, так сказать, «внеположенность» автора (исследователя, наблюдателя), как если бы он являл собой *иную форму жизни*, не отягченную анализируемыми проблемами (*alien, alien!*). Но поскольку авторитетный доктор явно принадлежит к роду человеческому, возникает вечный методологический вопрос, насколько собственные проблемы наблюдателя влияют на восприятие (интерпретацию) наблюдаемого. К счастью, Кернберг эту проблему понимает (иначе не стоило бы о нем говорить): «<...> также нахожу полезным для аналитика терпимо относиться к собственным сексуальным фантазиям по поводу пациента, более того, давать им развиваться в сюжет воображаемых сексуальных отношений. <...> Аналитик должен прийти к согласию не только с собственными бисексуальными наклонностями по мере того, как они активизируются в эротическом контрпереносе, но также и с другими полиморфными перверсивными инфантильными стремлениями, такими, как садистические и вуайеристические импликации интерпретирующих исследований сексуальной жизни пациента». *Это должен знать каждый пациент!*

...За чтением Кернберга я пропустил по телевизору мою любимую чаплиновскую «Золотую лихорадку», что, видимо, и повлияло на мое настроение. Поэтому с удовольствием побрзжу. Догадитесь с трех раз, кто такой Батайл? Ответ: *Bataille G.*, хорошо известный у нас как Жорж Батай. Опечатка? Тогда как объяснить такое: «Стендал (1822) первым обратил внимание <...>». Французский писатель *Stendhal*, более чем хорошо известный в России как Стендаль, действительно выпустил в 1822 году трактат «О любви» («*De l'amour*»), но поскольку в списке литературы стоит: «*Stendhal M. Love. <...> Penguin Books, 1975*», то опознать в нем знаменитого француза переводчица (с английского) не смогла. Архитрудная задача, да. Для авторитетного психоаналитика. Как, впрочем, и название издательства: сколько интересного должно крутиться в головах людей, не удержавшихся от уточнения — *независимая фирма...*

Bonus

Н. А. Алексеев. Гей-брак: семейный статус однополых пар в международном, национальном и местном праве. М., «БЕК», 2002, 416 стр. <<http://www.gay.ru/art/literat/books/alekgb.htm>>.

Великий Инквизитор улыбнулся.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА

1

«Ричард III» Уильяма Шекспира. Театр «Сатирикон». Режиссер Юрий Бутусов. Премьера 26 февраля 2004 года.

В новом спектакле «Сатирикон» призывает «беречь детство», справедливо утверждая, что величайшие тираны созревают из ущемленного, униженного, забитого малолетства. Эта гуманистическая трактовка напрочь опрокидывает все традиции политических постановок «Ричарда III» — пьесы, которую весь XX век нагружали опытом тоталитарных режимов, наглядной тирании, духовного уродства власти. Эта виртуозная игра со смыслом — самое ценное, что есть в «Ричарде»: уйти от сиюминутных политических трактовок, расчистив путь к *чисто человеческой* истории, случившейся в коридорах (а по сути — в колыбели) власти. Режиссер Юрий Бутусов выстраивает здание своей идеи не на руинах шекспировского текста, как это часто бывает с «интерпретаторами», а внутри шекспировского «дома», не ломая перегородок и не тревожа фундамент. Он растит диковинное дерево своего спектакля внутри шекспировской оранжереи, на родной почве. За основу взят новейший перевод Георгия Бена, отчего пьеса слышится наново.

Декорация Александра Шишкина (основной элемент — мятая исчерканная бумага, словно из мусорной корзины художника) запечатлела частный мир Ричарда, его конуру, его норку. Черно-белая, постная и скудная жизнь ребенка, инвалида с детства, горбатого, сухорукого и хромого. Нарушение объемов: высоченный стул, на который надо вскарабкаться, высоченный стол, под который можно ходить пешком, длинная кровать, до конца которой ногам тянуться и тянуться. Всегда рядом с Ричардом угрюмые друзья его молодости, немые свидетели детских обид, жалкие изгой из животного мира: волки, вороны, мыши, оборотни — стоят фигурами, охраняют, как тотемные животные, покой монарха.

Райкину, разумеется, доставляет особое удовольствие играть физические недостатки, которых у Ричарда так много, что их можно счесть для него нормой. Ловко шмыгает на колченогих конечностях, чешет спину об пол, как блохастый пес, не скрывает, а подчеркивает одеждой горб и всю свою левую параличную сторону, даже умудряется делать зарядку, чтобы не расслаблять работающие мускулы. Его путь к власти — не политика, а оздоровительная физкультура: двигаться дальше, чтобы выжить. Властолюбие — скорее терапия, чем патология. С честолюбивой радостью он потом станет замечать, как подчиненные начнут перенимать некоторые его жесты и поступки, — когда король горбат, в королевстве модно сутулиться.

В энергичном суетливом спектакле, с присвистом, с куражом, с бодрой музыкой, натисканной из всей истории поп-музыки XX века, Ричарда закручивает ход жизни. Когда он сам его крутит, а когда и время выносит короля-инвалида на своих руках. После этой страшно, жутко сыгранной роли (первый антигерой в карьере артиста) к актерскому диапазону Константина Райкина прибавилась еще одна октава: в сцене с Анной (Наталья Вдовина) он ревет белугой, сближаясь с интонациями Высоцкого, когда стих поется как в любовной горячке, с вздутием вен на шее. Вообще тут работы над ролью — много, очень много; кажется, вся жизнь положена на поиск самых верных жестов. Райкин придумал себе массу гримас. Ближе к фи-

налу одна из них застывает — маской животного страха, который «наметался» на землистого цвета лицо липкой паутиной. Вот оно, фирменное лицо Страх, запоминается как картинка, как знак, может сниться по ночам. Вообще многое в режиссуре петербуржца Юрия Бутусова фотографично, фотогенично. Пластическая образность, доведенная до осязаемой ясности барельефа, — это атрибут питерской школы в раме замороченного московского психологизма. Выброс фарсовой, аттракционной театральности — даже на самом сложном литературном материале. Сцена убийства Хестингса: «киллеры» заливают фигуру лорда содержимым бокалов, вновь и вновь наполняемых красным вином. Красивая смерть захлебнувшегося — не просто театральный образ, но и напоминание о легенде, согласно которой Хестингса утопили в винной бочке. Ричард, поневоле притворяющийся христианином и наподобие пустынноика подкармливающий сирых птиц; тревожный взгляд проигрывающего Ричарда, окруженного ворохом цветов, врученных к коронации, — все это врезается в память отчетливо.

Перед смертью к Ричарду приходит войско теней — убитые, замученные им души. Страх возвращает короля к детству: становясь на стульчик, пригибаясь, зажимаясь, Ричард монотонно бубнит свой кровавый монолог, как детский стишок. Запинается, пугает слова, волнуется, зная, что будет больно бит за ошибку. Детские обиды отомщены, мечты воплотились, и детство возвращается к Ричарду как возмездие. Призраки двух мальчиков-принцев лупят друг друга подушками, напоминая королю о том, что загубил он их точно так же, как когда-то мать сожрала его детскую душу. О, как не случайно развязную, извращенную старуху Маргариту играет... Максим Аверин: мать Ричарда — гермафродит, бесчувственная сука, не давшая уродцу и намек на материнскую нежность. И как-то особенно зазвучали слова: «И я не знаю ни жалости, ни страха, ни любви».

2

«Мещане» М. Горького. МХАТ им. Чехова. Режиссер Кирилл Серебренников. Премьера 2 марта 2004 года.

Кирилл Серебренников возвел суровую пьесу «Мещане» в ранг чистой симфонии. Конфликт отцов и детей, неба и земли, идеи и чувства он приводит к сценической гармонии. Звук — обеспеченный бродячими (по сцене) музыкантами «Пан-кварте́та» — охватывает действие то джазовым разладом, то мелодичным схождением, то атональной абсурдной музыкой скрипучих половиц и звона посуды. Мхатовские «Мещане» — триумф самой идеи режиссуры как способа организовать пространство, навеять особый воздух спектакля. Огромное, не заставленное декорацией пространство мхатовской сцены режиссер заполняет все, без пыльных углов, заставляя актерские группы (два десятка человек на сцене!) двигаться как на театре военных действий — свободно, хаотично и все же осмысленно, в стратегии единой воли. Уже это одно необычно — большинство современных постановщиков смещают действие к авансцене, робко стремясь на большом пространстве к камерному, интимному эффекту. Здесь же работают все стороны света, сцена кажется квадратным километром с громадной перспективой — световым занавесом, меняющим цвет в зависимости от «температуры» спектакля и в конце первого акта демонстрирующим видение «города», огромного «титаника» из сотен маленьких окон. Видение хаотичного города-мегаполиса, наступающего на провинциальную патриархально-семейную культуру стариков-мещан.

Итог столетия с момента написания пьесы: революционные идеи Горького забыты, словно и не было, а мещанами стали бывшие революционеры, обличавшие у Горького мещанство. Бывших мещан Бессеменовых окружают теперь бунтари из рода люмпенов — оперного, нетрудового вида нахлебник Тетерев (Дмитрий Назаров), дрянной работяга Нил, уверенный в том, что только он один хорошо работает (Алексей Кравченко), вечно цыкающий сын Петр, бегущий от пошлости в хэбэшных трениках и стершихся тапках (Алексей Агапов), Татьяна (Кристина Бабушкина) в бесформенной кофте и со стершейся, не проснувшейся личностью. «Мещане», можно сказать, очутились «на дне» жизни рядом с «врагами» и «варварами» —

вдруг обнаружилось, что вся семья, на которую возлагались отцовские надежды, превратилась в пустотелых балаболок, неблагодарных трутней и гордючек.

Обеденный стол обретает в доме Бессеменова значение фетиша, равно как и все, что в этом доме связано с отцом. Одна из дверей в правой стенке — «дверь отца» — особая, всеми обходимая, страшное место, на которую не глядят, а «поглядывают»: не вышел ли, не выйдет ли сейчас? Огромный стол — знак благорасположения Бессеменова; когда-то за ним рядом сидела вся семья, теперь, наверное, и посадить из уважения некого. Лицо Бессеменова меняется особым образом, когда за *его столом* он видит людей, недостойных этой чести, — гримаса брезгливости, словно видит крошки на столе, засохшие пятна или разлитые щи. Так и стряхнул бы с хребта своего прихлебателей, как стряхивают на пол колкие крошки. Но дети сами бегут из-за стола, как с места казни, гнушаясь соседством. Тетерев может жрать свою «халявную» гречку, сидя спиной к хозяину, Нил чистит мандарин, особенно гневно швыряя ошметки и капая фруктовым соком на общий стол, словно желая в прямом смысле слова нагадить.

Андрей Мягков играет Бессеменова не просто теряющим детей и власть над ними, ему даже не так сильно жаль, что «не быть главою». Когда нетвердой походкой, с палочкой, согнувшиеся, укутанные в потертые старинные пальтишки Бессеменовы взойдут в дом, который уже не могут назвать своим, тогда моментально нарисуеться нам страшный, страшно знакомый образ. Да уж не наши ли это отчаянные старики идут, советские, партийные, пережившие войну и сталинщину и словно ослепшие в перестройку, потерявшие не только традиционный уклад, но и способность вообще что-либо понимать?! Мгновенное помутнение рассудка — и у тех, и у других. У молодых — развившееся в наглость и цинизм, у старших — реализовавшееся в звериную злобу на мир, отказавшийся им подчиняться, как раньше.

Андрею Мягкову, непростительно редко игравшему в последние годы, удалось в дебютном для него возрастном амплу собрать в кулак всю свою природную мизантропичность, всю сумму наблюдений за кошмаром распада и выдать впечатляющий образ власти на пенсии — власти, харизматичной и буйной, бессильной в действии и сильной в своем яростном упорстве. Не желая пустить сына к развратной, по его мнению, девице, герой Мягкова ляжет трупом у ног Петра — костями ляжет, не пощадит живота своего, бросится грудью, как бросаются на амбразуру. И если человек готов на подвиг, значит, это — война.

3

«Дачники» М. Горького. Омский театр драмы. Режиссер Евгений Марчелли; «Двойное непостоянство» Пьера Карлена Мариво. Театр «Глобус» (Новосибирск). Режиссер Дмитрий Черняков. Показаны в Москве на фестивале «Золотая Маска» (27 марта — 12 апреля 2004 года).

Два спектакля из провинции продемонстрировали столице палитру отношений современного общества к традиционной интеллигенции. Вместе с горьковскими «Дачниками» эта тема встает со всей очевидностью на том простом основании, что пьеса писалась в пылу литературной борьбы, как ядовитая и злая пародия на чеховские пьесы и чеховскую интеллигенцию, воспетую Московским Художественным театром. Сегодня, в годы упадка традиционной культуры, во время глубочайших сомнений в значении интеллигенции для общества, а также на фоне массивной «чеховской» экспансии в российском театре, пьеса «Дачники» и вообще весь Горький с его неотъемлемо «пролетарской» сущностью не может не выглядеть революционной альтернативой.

Режиссеру Евгению Марчелли, к счастью, одной горьковской иронии мало. В омском спектакле он тенденциозно потрошит пьесу как ему вздумается, добиваясь эффекта сплошной тотальной пародийности — и на Горького в том числе (автор обозначен в программке как Алеша Пешков).

В прологе разыгрывается кусок якобы современной авангардной оперы, поставленной нарочито вычурно, манерно, пестро. Посреди обеденного стола является густо накрашенная голова женщины с всклокоченными волосами, и эта особа

поет арию в жутковатой манере — полу-Саломея, полу-Иоанн Креститель. Герой Горького Замыслов (Владимир Майзингер) ставит спектакль в модных тенденциях в дачном театрике — между делом, веселия и шутки ради. На всем протяжении спектакля по сцене будут бесцельно блуждать маскированные и загримированные актеры этого театрика — персонажи в поисках автора. Дурная театральность поведения, бытовое каботинство, вирус коварного лицедейства в крови, дачная расслабленность, стимулирующая специфически «дачное», вялое искусство, призванное щекотать и пьянить искушенные мозги на законном отдыхе.

Марчелли показывает дачников такими, какими увидел бы их наш современник. Релаксирующие горожане, вылезшие на все лето, на весь отпуск в дачный поселок — бегущие от городских проблем и попадающие в ту же компанию на крошечный кусок якобы своей земли, где нет никакого уединения и совершенно нет надежд на цивилизованный отдых. Дача — это тот же город, но где можно и даже нужно совершенно «распоясаться», разболтаться, оскотиниться. На отдыхе люди — уже не люди. Полуобнаженные и совершенно голые, нетрезвые и очень пьяные, хамоватые и кретинические, флиртующие и запутывающиеся. Людишки, таракашки, дрянцо. Шатаются друг к другу в гости, пошлят, хамят, заводят легкие связи без прелюдий и флирта, нахрапом добиваются необязательной взаимности, легко рушат чужую жизнь и не дорожат своей. Писатель Шалимов с Сусловым дуют после банки пиво. Болтливую, шумную и энергичную без конкретной цели Юлию Филипповну (блистательная работа Юлии Пелевиной) имеют почти в каждом углу сцены. Влас ходит в дамских туфельках, демонстрируя дачной публике природный гермафродитизм, — в его юношеской любви к престарелой Марье Львовне вообще легко углядеть нездоровую геронтофилию. В атмосфере спектакля есть нечто *мамлеевское*, смесь любительской философии вкупе с эзотерикой и самой неэстетичной эротикой, триумфа неудовтворенной плоти, свинства и бесчинства.

Впрочем, Марчелли — до нужного момента — изымает из текста всю философию, оставляя зрителям возможность лицезреть беспримесный сюжет, канву, чистый нарратив. Горьковский сюжет с помощью такой резекции превращается в знойный секс-сериал с бурно перемешанными любовными линиями и «легким привкусом измены». Обнажение тела или полуобнажение Марчелли использует как принцип — на даче любовь доступнее и публичнее. Летние одежды, летние люди, все упрощается. «А за окошком месяц май, / А в белой кружке черный чай», — доносится песня Гарика Сукачева как бы с соседней дачи, как из соседнего века, и дачники Горького начинают невольно пританцовывать музыке будущего хаоса.

Настоящий смысл спектакля созревает позже, к финалу, когда становятся видны плоды, причины и последствия режиссерского взлома горьковской пьесы. В пятнадцатиминутном эпилоге режиссер собирает все купированные им фразы — горьковские афоризмы, яркие цитаты, женскую и мужскую философию, трескучие слова и все дачное остроумие, растащенное на цитаты горьковедов и театроведов, — и выносит эту бурлящую псевдофилософскую выжимку в отдельный спектакль. Герои садятся спиной к зрителю, а на импровизированную сцену режиссер Замыслов (идеальная фамилия для режиссера!) приглашает дачников одного за другим с тем, чтобы каждый смог выговорить свои бесценные афоризмы. Реакция «публики» наглядна и конкретна: как только афорист начинает говорить, аудитория тут же, зажав рты от смеха, бежит из «зрительного зала». Дачной жизни не нужны апологии и увещевания, ей противопоказаны трагичность и драматизм. Чем проще, тем лучше; чем больше скотства, тем веселей. Более циничный спектакль трудно себе представить. Ядовитая самокритичность и попытка саморазоблачения в разговоре об интеллигенции — редкость, которую себе может позволить только весьма смелый, талантливый, но законченный циник.

Новосибирский спектакль «Двойное непостоянство», взявший «Золотую Маску» в номинации «Лучший драматический спектакль малой формы», говорит о последствиях — опустошительной катастрофе, которую ведет за собой племя «развратителей», мир утомленных взрослых, смущающих племя младое, только пришедшее в мир.

В основе спектакля Дмитрия Чернякова, московского режиссера, выехавшего на постановку в сибирский театр «Глобус», лежит пьеса мольеровского последова-

теля Пьера Карлена Мариво — автора, закрытого для российского театра благодаря отсутствию в последнем традиций «чистой игры», «чистой интриги», стихийной театральности без доведка психологизма. В «Двойном непостоянстве» в чистом виде содержится затейливая интрига, история, которую актеры любят называть «самоигральной». Парадокс в том, что именно такие пьесы в режиссерском театре XX века стало легче всего нагружать «монбланами смысла».

Мир героев спектакля делится на «молодых» и «взрослых»: последние соблазняют первых. Из прихоти, из чувства мести, из чувства зависти, из права на реализацию власти. словно в мире негласно живет закон, обязывающий взрослых «обламывать» юные судьбы, гасить мечты и романтический полет. «Взрослые» отмеряют жизнь по собственной линейке и силой власти, которой обладают, уравнивают возможности других со своими собственными.

Сильвия и Арлекин связаны клятвой любить друг друга, но им и клятвы не нужны, чтобы души друг в друге не чаять. Некий злонамеренный Принц (Александр Варавин) влюблен в Сильвию — тайной, нехорошей страстью, которую легче всего сравнить с желанием педофила растоптать хрупкий и нестойкий храм души ребенка. Вместе со своей любовницей, опытной в коварстве и дворцовых интригах Фламинией (Людмила Трошина), он испытует молодых на крепость, искусно различая их, заронив в их свежих душах мысль об измене. Для Мариво здесь пьеса кончается: триумфом интриги, триумфом иронии, триумфом самого духа игры, способного разрушить святость клятв и за время спектакля привести сознание юных персонажей к противоположности.

Но, собственно, в этот момент — с варварского, садистского игрового эксперимента — начинается спектакль Чернякова. Только тут XVIII век меняется на XXI, и Дух Игры обретает материальную базу по новейшему слову техники. Черняков помещает героев пьесы «за стекло», отгораживая сцену от зрительного зала прозрачной пластиковой стенкой: из-за стекла к нам доносятся усиленные микрофоном звуки, но зритель видит и то, как наблюдают за участниками эксперимента его устроители. Зритель включен в систему тотального прослушивания места действия.

Арлекин (Владимир Паньков) — маленький, юркий, с огромным рюкзачищем гастарбайтера за спиной. Сильвия (Ольга Цинк) — такой же нахаленыш с топорчащимся хохолком волос и пластикой зверька из норки. Завидев друг друга, сливаются воедино, как половинки андрогина, затем лопают свой скромный туристский обед всухомятку, словно не ели сто лет. Причесывают друг друга, стригут ноги, клеют друг другу пластыри, зашивают прорехи — не ребята, а зверята. «Взрослые» персонажи выглядят противоположным образом — на голову выше «детей», — словно только что выплыли со светского фуршета или авангардного фэшн-пати. Манерные и лживые, разодетые и чопорные, хищные и ядовитые — нужно быть закоренелым провинциалом с широко открытыми глазами, чтобы не заметить их жал. Их излюбленный метод — испытание властью, они ставят детей перед шекотливым выбором: прощать или не прощать, казнить или миловать, принимать извинения или прогонять прочь. Тяжелое испытание тотальной властью развращает и точит последние опоры нравственности.

Спектакль Чернякова полон тревоги. Он вопиет о защите юности от соблазнов извращенного ума и являет собой предостережение. В финале раскрывается широта замысла. Рассерженная молодость опасна. Буржуазный мир должен быть всегда готов к отражению революционных настроений, не терять чувства опасности.

Пьеса закончена, эксперимент завершится победой экспериментаторов. Молодые в ужасе наблюдают за тем, как демонтируется фальшивый мир, где испытывали и обманывали их подлинную любовь. Как снимают внешние стенки, обнаруживая скрытые камеры и фотоаппараты, как вылезают покурить и попить чайку гримеры и осветители, как снимают парики и модные одежды их тщедушные носители-актеры, резко меняющие интонации и стиль речи с выспренного на прозаический. Декорация линяет в мгновение ока, открывая мир простой и жестокий, однозначный и бесприкрасный. В углу страшно воеет Арлекин, монотонно раскачиваясь, Сильвия же, отбегая на безопасное расстояние, швыряет огромный булыжник в «стекло», разбивая шпионскую «четвертую стену» вдребезги.

Черняков говорит о близости и неизбежности бунта, который может устроить непокорная человеческая природа в момент крайнего ущемления ее естественных прав. Бунт, сходный с самой натуральной революцией, молодежным террором, в котором меньше разрушения первооснов и больше — самоуничтожения, суицида. Камень, брошенный в стекло, — это еще и камень, брошенный в зеркало, послушнее зрителям отражением их самих, испытывающих и испытываемых. «Застеколье» всегда чревато бунтом, революцией плоти, зажатой в тисках интеллектуального насилия. Усадьбы, где мучили крепостных, рано или поздно будут ими же сожжены. Насильники часто погибают от руки изнасилованных.

Важно рассмотреть проблему с более точной оптикой, чем просто включиться в старый разговор о вреде медийных шоу. Спектакль Дмитрия Чернякова, не пугающийся публицистичной открытости, в то же время бежит от газетной сатиры в мир чистого театра, где чересчур прямые аллегории перевоплощаются в художественные образы.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»

«**С**трасти Христовы» — самый громкий кинематографический скандал 2004 года. И причина на сей раз не в том, что режиссер и продюсер эпохального проекта Мел Гибсон слишком дерзко отошел от церковного предания. Нет, он просто попытался со всеми подробностями воссоздать на экране последние двенадцать часов земной жизни Иисуса Христа. Однако сделал это с такой истовостью и усердием глупца, разбивающего лоб на молитве, что фильм в результате уводит еще дальше от смысла Евангелия, чем прежние самые радикальные интерпретации.

Бог умер за вас! Вот смотрите, как Он страдал и мучился! Не закрывайте глаза! Не падайте в обморок! Вы, благополучные, живые и здоровые, сидящие в мягких креслах, в кондиционируемых кинотеатрах, помучайтесь вместе с Ним хотя бы два часа Великим постом перед Пасхой! Идите, жалкие грешники, и смотрите, как вашего Бога долго и смачно бьют по лицу, как со свистом рвут плетью мясо на ребрах, превращая плоть в кровавое месиво, как полуживого заставляют волочить на гору крест, сбитый из двух неподъемных бревен, как пробивают руки и ноги громадными, в локоть длиной, гвоздями... И все это долго, подробно, безжалостно, с по-голливудски форсированным, устрашающим звуком и голливудской же дошностью в воссоздании всех подробностей затянувшейся пытки.

Некоторые, говорят, не выдерживают. Пресса о фильме полна сообщений о том, сколько зрителей умерло во время просмотра «Страстей Христовых» (что, понятное дело, только разжигает скандальную славу фильма). У остальных картина порождает ощущения сильные, но неоднозначные. С одной стороны, созерцание жуткой, растянутой во времени казни вызывает что угодно: нервное потрясение, выброс адреналина, физиологическое возбуждение, — но только не полноценное душевное сопереживание, ибо уровень экранного садизма слишком быстро превосходит возможности нормального восприятия. С другой стороны, поскольку каждый этап мучительства завершается знаковым кадром, отсылающим к той или иной хрестоматийной композиции: «Бичевание», «Распятие», «Снятие с креста», «Пиета», — зритель проникается убеждением, что подобное щекочущее нервы (как в фильмах ужасов) разглядывание невыносимых человеческих мук — дело благочестивое и полезное. Кровавый, садистский киноаттракцион превращается в душе-спасительное мероприятие.

А что же Церковь? Церковь в целом отнеслась к фильму Гибсона вполне снисходительно. Папа то ли одобрил его, то ли нет — показания расходятся, но никакого протеста глава Римской церкви не заявил. В некоторых странах, в частности

в Германии, католики были против демонстрации «Страстей», но в основном из опасения возможных всплесков антисемитизма, а не потому, что фильм идет вразрез с основными догматами христианства. В Америке «Страсти Христовы» встречены на ура; на фильм ходят целыми городами и церковными приходами. РПЦ устами интеллигентного протоиерея Всеволода Чаплина рекомендовала картину как «сильнодействующее», но полезное лекарство. В восторге и мусульманские фундаменталисты, увидевшие в картине Гибсона гневное обличение подлостей иудейства. Так что резко против «Страстей Христовых» выступили только закоренелые атеисты и, понятное дело, — евреи, наученные горьким опытом вековых гонений со стороны христиан. Сами же христиане так и не поняли, что ревностный католик Мел Гибсон снял фильм не столько антиеврейский, сколько антихристианский, грубо искажающий самую суть Евангелия.

Вот это-то и шокирует больше всего. Кажется, будто люди, живущие в лоне иудео-христианской цивилизации, понятия не имеют о той духовной закуске, на которой поднялась их собственная культура. Они, к примеру, не задаются вопросом, почему Христос появился на свет среди евреев. Не ведают, что Палестина I века была единственным местом на земле, где могло произойти поворотное для мира событие: Бог воплотился и стал человеком.

Весь мир тогда прозябал в язычестве. И только Ветхозаветная церковь исповедовала единого Бога как Творца всего сущего, как абсолютное Благо и как Личность, которой есть дело до человека, так что Бог непосредственно проявляет себя в истории. Еврейские пророки учили, что история человечества имеет цель и цель эта — возвращение к Богу, Царство Божие. И только в среде иудеев, веками ожидавших прихода Мессии, Спасителя, Царя и Первосвященника, который в земной жизни народа воплотит Божью волю, Христос в принципе мог быть услышан. Он пришел, но истина, которую Он принес, оказалась куда более радикальной, чем самые смелые ожидания богоизбранного народа. «Он пришел к своим, и свои Его не признали», они не поняли Его, причем все — от первосвященников до самых близких учеников и апостолов. Человеку вообще трудно так сразу вместить волю и разум Бога. Но некоторые из них сумели поверить и с детской доверчивостью пойти за Тем, Кто выдвинулся им воплощением Божественной Мудрости и Любви. И только благодаря их вере, вере простых галилейских рыбаков, а не утонченных греков и покоровивших полмира римлян, мы знаем сегодня, зачем пришел на землю Христос.

Бог стал человеком для того, чтобы каждый человек стал подобен Богу. Свет пришел в мир и столкнулся с тьмой, — тьмой человеческой ограниченности, непонимания, жажды власти, религиозных предрассудков, страхов, сиюминутных политических расчетов. Первосвященники предали Христа римлянам, опасаясь, что, признав в Нем Царя, народ поднимет восстание и в результате прольются потоки крови, а страна утратит остатки своей призрачной независимости. «Лучше пусть один человек погибнет, чем весь народ», — рассуждал Каиафа. Трагическое, страшное заблуждение. Но в фильме Гибсона об этой религиозной трагедии нет ни слова. Евреи здесь — агрессивная, тупая чернь, предводительствуемая изуверами в священнических одеждах. Язычники-римляне — Пилат, сотник и благочестивая супруга Пилата — больше переживают в фильме об участии Спасителя, нежели его соплеменники. Оно и понятно: римляне — люди культурные, цивилизованные, хотя и по-солдатски жестокие. А евреи кто? — темный, фанатичный сброд. Где уж им понять, Кого они отдали на распятие!

Христос, полное и совершенное воплощение замысла Бога о человеке, вынужден был принять на себя удар тьмы, бремя человеческого греха и несовершенства. Это оказалось трагически неизбежным. Он страдал и умер и победил смерть, чтобы вновь прийти к ученикам и ко всем, «уверовавшим по слову их», чтобы быть рядом с ними «во все дни до скончания века» и каждому дать возможность дорости до Его подобия. В этой свободе, радости, в ощущении любви и близости Бога, в осознании безграничных возможностей, бесконечной ценности, избранности каждого конкретного человека — суть христианства.

Христос в фильме Гибсона совершает свой подвиг отнюдь не ради конкретных людей. Мы практически не видим его проповедующим, исцеляющим, пирующим с

учениками, плачущим у гроба Лазаря. Немногочисленные флэшбеки, отсылающие нас к событиям земной жизни Христа, в картине фальшивы до невозможности. Все попытки Джеймса Кэвизела изобразить любовь — даже не Божественную, просто человеческую — оборачиваются лишь невыносимой слащавостью. Маленькие, близко посаженные, желто-карие глазки, как их ни гримируй, как ни подрисовывай изображение на компьютере, выражают только одно — человеческую ничтожность (недаром в большей части фильма один глаз неизменно прикрыт распухшим веком, — если бы не это, выдержать совершенно пустой взгляд исполнителя роли Христа было бы попросту невозможно). Впрочем, может, оно и к лучшему. Если бы глаза актера выражали хоть что-то, во что можно поверить, умерших на сеансах «Страстей Христовых» было бы на порядок больше.

Кэвизел похож на Христа лишь фактурно, и только это поверхностное сходство, позаимствованный из Евангелий ход событий, имена действующих лиц, внешний антураж и древние языки — латынь и арамейский, на которых говорят персонажи, — заставляют воспринимать фильм Гибсона как парафраз Евангелия. На самом же деле перед нами очередная голливудская сказка о Сверхчеловеке, который совершает невероятные подвиги — в данном случае подвиг невыносимого для простых смертных страдания, — дабы победить темную силу. В этом ему помогает супервумен (Богоматерь — Майя Моргенштерн), тоже наделенная в фильме (в полном соответствии с католической традицией) сверхчеловеческими возможностями. Так, во все глаза, магически гипнотизируя взглядом, не могла бы смотреть на страдания сына ни одна земная мать. Мария здесь — божество, так же, как и Христос, все остальные — тварь дрожащая, которой воздается по справедливости. Предателю Иуде выпадает висеть на дереве на фоне зловонной, кишасей червями падали. Неблагодарному разбойнику сразу же после богохульных речей черный ворон, вылетевший прямо из ада, выклеивает глаза. Самодовольных первосвященников сметает с Голгофы вихрь Божьего гнева. А благочестивым римлянам и верным ученикам остается вечно поклоняться орудиям пытки и казни, красиво сложенным после снятия с креста в эдакий умильный натюрморт.

Бог после смерти Сына уронит с небес огромную круглую слезу, которая, долетев до земли, обернется сокрушительным, страшным землетрясением. Дьявол — мерзкая и печальная тварь, искушавшая Христа в Гефсиманском саду и наблюдавшая за пытками: выдержит, не выдержит, — будет повержен и станет метаться в бессильном отчаянии, проваливаясь в геенну. А Сын Человеческий воскреснет, как новый, — только с дырками на руках, и, выпростав атлетический торс из погребальных пелен, встанет в профиль в потоках света, устремив взгляд не к людям, не к зрителям, но в некие запредельные сферы, где царствует теперь безраздельно светлая Сила. С учениками, понятное дело, Он в границах фильма так и не встретится. Зачем?

Битва окончена. Кольцо всевластья сброшено в темную пропасть Мордора. Космические корабли Анакина Скайуокера победили адептов темной стороны силы. Мир воссиял на Земле! Правда, в отличие от «Властелина колец», «Звездных войн» и прочих невинных сказок Голливуда, фэнтези под названием «Страсти Христовы» в силу опасной близости к господствующей религиозной традиции отнюдь не невинна. Картина Гибсона претендует на то, чтобы нагрузить зрителя избыточным чувством вины; а чувство вины и страха закрепощает, сковывает, лишает свободы и является идеальной закваской для церкви Великого Инквизитора. Живой, любящий, воскресший Христос этой церкви не нужен. Нужен только несчастный страдалец, в муках умерший на кресте. Видите, как Он страдал за нас! Это мы своими грехами истязаем Его, это мы Его распинаем... Сам режиссер не преминул поучаствовать в процессе — на экране фигурирует его рука, подающая гвоздь. Намерения у Гибсона были, видимо, самые благочестивые и покаянные. Но грубость и односторонность созданной им конструкции свидетельствуют, что за две тысячи лет мы так ничего и не поняли. Мы так и не научились жить с Христом, любить вместе с Ним, творить вместе с Ним, вместе с Ним возрастать и радоваться и способны только с изощренной жестокостью распинать Его снова и снова.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Заметки об информационной безопасности

Информационное тело. Вступая в различные взаимоотношения с обществом и другими людьми, человек сообщает информацию о себе и своей деятельности.

Это неизбежно. Жизнь человека есть процесс информационного обмена. Вся сумма участвующей в этом обмене информации образует его информационное тело. И это *его* тело, как и тело физическое. И он должен бы относиться к нему бережно и с любовью и беспокоиться о том, чтобы оно не пострадало от внешнего агрессивного воздействия.

Чем большую роль в нашей жизни играет Сеть, тем более чувствительным становится и информационное тело человека. Чтобы человек чувствовал себя нормально в Сети, он должен чувствовать себя безопасно. Но в Сети его информационное тело подвергается воздействию со стороны самых разных личностей и организаций, заинтересованных в контроле и управлении человеком.

Сообщая информацию о себе, мы рискуем, поскольку она всегда может быть использована против нас. Поэтому мы стараемся сообщать только самое необходимое. Мы не можем, будучи лояльными налогоплательщиками, не сообщать налоговым органам информацию о наших доходах. И даже если мы делаем это не вполне точно, мы согласны с тем, что налоговые органы имеют право это знать. Мы обязаны зарегистрировать свой автомобиль в ГИБДД. Мы не можем, будучи работниками какого-либо предприятия, не сообщать информации, подтверждающей наше образование и квалификацию, номера и копии дипломов и сертификатов.

И так далее, и так далее... Мы рассказываем банку свою кредитную историю, когда хотим взять кредит, мы делимся с коллегами в курилке своими соображениями о текущей политике, своими воспоминаниями с друзьями юности, своими сексуальными предпочтениями с партнером... Мы говорим о футболе, о президенте, о погоде, о летнем отдыхе.

Мы много говорим, в Сети много пишем, и все это образует наше информационное тело, и каждый из нас становится информационным субъектом.

Информационная голограмма. Обмен информацией происходил во все времена, но только с появлением глобальной Сети эта информация стала собираться в единое целое и стала действительным телом, и человек оказался открыт миру в несравнимо большей степени, чем это было прежде.

Мы и прежде частично открывали себя каждому собеседнику или организации, но всегда ограничиваясь областью наших совместных интересов. Информация была рассеяна и разделена труднопроходимыми барьерами. Мы никогда и никому не сообщали о себе все. Мы открываем только необходимое с явно оговоренным или неявно подразумеваемым условием неразглашения. Лишнее слово ощущается как ошибка. Мы ловим себя на мысли: «А вот этого говорить не следовало».

Чтобы узнать о человеке все, от его профессиональной деятельности до кулинарных предпочтений, в досетевые времена необходимо было получить серьезные санкции для доступа ко многим разделенным ведомственными барьерами архивам, получить возможность допрашивать его знакомых и близких. Это было трудно и дорого, и поэтому делалось подобное только в случаях исключительных, и такого рода сыск был, в общем, прерогативой государственной власти.

В книге Владимира Альбрехта «Как вести себя на допросе» есть такой совет. Старайтесь не сообщать следователю несущественные, на первый взгляд, но конкретные детали. Например, вы скажете: «Да, мы встречались с N, пили шампанское». Вы ничего больше не сказали, но, когда следователь будет допрашивать N, он, между прочим, сообщит и то, что знает о самом факте встречи, и как бы вскользь упомянет, что вы пили шампанское. У N может сложиться преувеличенное представление об осведомленности следователя. «Если он и это знает, тогда какой смысл скрывать...» Последствия могут быть катастрофические.

Альбрехт приводит пример смены контекста: информация безобидная в одном случае может стать очень опасной в другом.

Если информация о человеке становится исчерпывающей, если мы узнаем о нем много, мы можем человеком управлять — он нам подвластен.

Создав глобальное информационное пространство, мы получили замечательные возможности быстрого поиска и обмена информацией, но мы столкнулись с крайне неприятными последствиями: оказывается, мы не заинтересованы в том, чтобы была возможность объединения любой информации. Более того, объединение персональной информации может оказаться для нас очень опасным.

Если существует узел, на котором собирается критическая масса информации, информационный субъект, ее получивший, может использовать ее против нас, в целях явного или неявного принуждения. Он получает над нами власть.

Если в досетевую эпоху эту власть мы делегировали государству, да и то старались, как могли, ограничить его притязания, то сегодня мы можем оказаться в крайне болезненной ситуации, связанной с шантажом, вымогательством, дискредитацией, исходящей от коварного недоброжелателя.

Сеть становится следящим за нами информационным субъектом, который подбирает все оброненные нами крохи сведений и аккуратно их складывает, пока они не превысят некоторый порог угрозы и некто не начнет диктовать нам свои условия. И это касается не только персональных данных, защищать которые призваны конституция и законы. Мы не всегда можем разделить, что есть персональные данные, а что — публичные. Вполне публичные сведения, которые мы легко сообщаем о себе разным людям, могут, собравшись в одном узле, стать для нас угрожающими.

Поразительный пример сопоставления публичных данных — это «Архипелаг ГУЛАГ»: книга написана практически по газетам и устным рассказам заключенных ГУЛАГа. Никакого специального доступа к особо секретным архивам ГБ у Солженицына не было. Но ему хватило. Информация была собрана, достигла критической массы и взорвалась с такой силой, что стала обвинительным актом государственной системе и приговором, который в конце концов был приведен в исполнение.

В Интернете газеты могут храниться вечно... А газета десятилетней давности — это уже потенциальная угроза. Во многих случаях хорошая память Сети — вещь бесценная. Но не во всех.

Мы живем, роняя в Сеть информационные крупинки своей деятельности. То там что-то сказали, то здесь что-то заметили, то сменили работу, то написали статью, то одно, то другое. И постепенно складывается очень точная картина нашего существования. Сеть не умеет забывать.

Наивно говорить: я честный человек и лояльный налогоплательщик, у меня нет никаких секретов, поэтому я не боюсь моей информационной прозрачности.

Информация, становясь публичной, меняется. Даже если в сообщении не изменилось ни одного бита, а сменился только ее контекст, то есть область доступности.

Privacy. Одной из важнейших информационных областей для человека является область прайвеси — область личной информации каждого члена информационного общества. Человек, лишенный информационной защиты, практически перестает быть носителем уникальной информации и становится чистым штампом, общим местом — ничем. «Все станем одинаковы в гробу, так будем хоть при жизни разнолики». Если человек теряет свою уникальность, он человеком быть перестает.

Точного перевода английского слова «privacy» на русский язык нет. И это совсем не случайно. Что же такое прайвеси?

«...начнем с краткого прикосновения к значению прайвеси, так как временами этот термин используется взаимозаменяемо с конфиденциальностью/безопасностью.

Но позвольте вас уверить, что это не одно и то же. В то время как прайвеси может подразумевать и то, что присуще конфиденциальности, это гораздо более широкий концепт, включающий право свободы от вторжений, право оставаться автономным и право управлять циркуляцией информации о себе.

Прайвеси включает право контролировать собственную персональную информацию и возможность определить факт и способ, которым эта информация получена и использована. В Германии это назвали „информационное самоопределе-

ние”: в 1983 году германский Конституционный суд определил, что все граждане имеют право на информационное самоопределение (как возможность индивидуума определять использование собственной информации). В то время как большинство стран с законами о прайвеси имеют это упоминание самостоятельного контроля как одну из целей их регулирования, обычно они не имеют явных конституционных гарантий прайвеси, как в случае Германии.

В этом смысле прайвеси — гораздо более широкий концепт, чем конфиденциальность, так как она содержит ограничение на широкий диапазон деятельности, затрагивающих персональную информацию: это сбор, сохранение, использование и раскрытие. Конфиденциальность, однако, означает только защиту персональной информации, обычно в форме ограждения информации от несанкционированного раскрытия третьим лицам.

Конфиденциальность вступает в игру только после того, как проблемная информация получена компанией, организацией или государством (обычно называемыми „пользователями данных”). Ожидается, что пользователи данных ответственно за безопасное хранение доверенной им персональной информации. В этом смысле они имеют обязательства хранителя защищать информацию, находящуюся на их попечении.

Таким образом, отношения доверия существуют между субъектами данных и пользователями данных, требуя обязанности присмотра и ожиданий конфиденциальности. Последнее включает политику сдерживания желающих получить доступ к персональной информации, а также охрану ее от раскрытия третьим лицам.

Средства, которыми это достигается, включают безопасность...

Меры, которые усиливают безопасность, усиливают прайвеси: эти сущности комплементарны, но не равны друг другу. Поэтому просто фокусироваться на безопасности недостаточно. В то время как это существенный компонент защиты прайвеси, это недостаточно само по себе. Для истинной защиты прайвеси мы должны развернуться к проверенным временем принципам защиты данных, общеизвестных как „кодекс честных информационных практик” (Энн Кавукян (Алп Savoukian, <cavouk@io.org>), помощник комиссионера по прайвеси штата Онтарио; цитата по статье Анатолия Левенчука «Privacy по-русски» <http://www.libertarium.ru/libertarium/1_sorm_privacy>).

В Сети происходит резкое снижение порога релевантности, то есть доступности и различимости информации.

Выполнив один поисковый запрос, мы иногда можем узнать о человеке больше, чем внимательный сыщик досетевых времен в процессе целого расследования.

Не говоря уже о том, что огромные массивы совершенно личной и закрытой информации циркулируют в спамовых рассылках: это базы данных ГИБДД о зарегистрированных и угнанных автомобилях, телефоны и адреса жителей Москвы, информация о юридических лицах... Распространение всей этой информации противозаконно, но оно происходит, и тем самым резко снижается уровень защищенности любого информационного субъекта — личности или фирмы.

Но необходимо законодательно и конституционно регулировать не только конфиденциальность информации, но также и право собирать и распространять и публичную информацию о персоне. «Информационное самоопределение» включает в себя право человека самому решать, корректно ли используется его персональная информация.

Под присмотром Большого Брата. Концентрация информации в одних руках есть опасность. Если существует некоторая точка зрения, с которой большие сегменты Сети (в пределе вся Сеть) оказываются информационно прозрачными, лицо или орган, имеющий возможность встать на эту точку зрения, становится неограниченно могуществен, что неизбежно должно привести к неустойчивости, поскольку противодействия нет и концентрация власти в одних руках растет практически неограниченно.

Возникает ситуация тотального контроля информации вне зависимости от государственных и таможенных границ, помимо банковских гарантий тайны вкладов и неотслеживаемости операций, игнорируя тайну частной переписки.

Насколько этот присмотр Большого Брата реализуем сегодня?

Попытки постоянно происходят, и главным инициатором здесь, как и можно ожидать, является государство. Одна из таких попыток — это СОПРМ, технические средства для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. (ПРИКАЗ 25 июля 2000 года, Москва, № 130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования» <<http://www.libertarium.ru/libertarium/37988>>).

Фактически от каждого провайдера требуется создать соединение по выделенной линии «с территориальными органами ФСБ России» и предоставлять информацию о соединениях и содержании переданной информации. Самую ожесточенную критику встретил пункт 2.6, содержащий, в частности, такой текст: «Информация об абонентах, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также решения, на основании которых проводятся указанные мероприятия, операторам связи не предоставляются». Приказом Минсвязи РФ от 25 октября 2000 года, № 185 «О внесении изменения в приказ Минсвязи России от 25.07.2000, № 130» этот пункт был отменен.

То есть сначала все-таки требуется решение суда в отношении того или иного абонента и с этим решением провайдера знакомят, а потом он дает добро на прослушивание. Так ли это происходит в реальности? Не знаю. Но известные мне провайдеры контактируют с ФСБ, так сказать, неформально и предоставляют любую информацию, которую органы затребовали безо всякого решения суда.

Есть ли нам что сказать друг другу? Для того чтобы была возможность и необходимость обмениваться информацией, нужно, чтобы участники контакта знали друг о друге не все. Чтобы им было чем поделиться. Новая информация — это та информация, которой обладает ровно одно лицо или фирма. Если существует точка зрения, с которой любая информационная деятельность прозрачна, то уникальная информация просто не может появиться на свет: что знают двое, знает свинья, как говорил популярный киногерой.

Но новорожденное открытие часто нельзя публиковать: оно не выдерживает жесткого облучения публичной критики.

Полная информационная прозрачность парализует производство уникальной информации практически во всех областях знаний, кроме той, которая непосредственно интересует информационного монополиста. А его по определению не могут интересовать любые приложения.

Разделение секрета. Для того чтобы нормально жить, а не шараться от каждого упоминания своего имени в Сети, мы должны быть твердо уверены в том, что нет такого узла, на котором даже принципиально может быть собран критический объем информации о личности или фирме. Мы должны быть убеждены в том, что Сеть не «прозрачна», то есть в ней существуют четкие границы доступа к информации, и персональной, и коммерческой.

Только наличие непрозрачных областей в Сети может нам обеспечить покой. Если мы сообщаем о себе частичную информацию, мы можем надеяться на то, что нам ничего не угрожает, что мы контролируем контекст и будем правильно поняты.

Нам говорят: чтобы у вас не болела голова о вирусах, поставьте антивирусный пакет. Да не ворованный, а лицензионный, с правом обновления по Сети. Тогда свежая версия антивируса защитит вас от непрошенных гостей. Вы ничего не потеряете, и не нужно будет тратить многие часы на восстановление информации, загубленной вирусной атакой.

Но необходимо помнить, что, устанавливая антивирус, вы становитесь полностью беззащитны перед той антивирусной компанией, чьими услугами вы пользуетесь. И она может (если у нее возникнет такая потребность) внедрить гарантированно неопределяемый вирус в вашу локальную Сеть. Это может быть троянская программа, которая будет заниматься сбором информации о вашей компании и передавать ее во внешний мир. Обнаружить эту троянскую программу будет невозможно, поскольку антивирус знает, что ее-то и не нужно обнаруживать.

Я не хочу сказать, что мне известны подобные случаи. Я искренне верю, что все антивирусные компании исключительно честны со своими клиентами и ни одна из них даже гипотетически никогда не рассматривала подобную возможность. Но возможность такая есть. Как бороться с такого рода опасностью? Необходимо защитить компьютер двумя независимыми антивирусными программами двух независимых производителей. Тогда они смогут контролировать вирусные атаки друг друга и обеспечат более надежную защиту. Это и есть разделение секрета доступа.

Такая схема будет работать только в том случае, если две антивирусных компании не сговорятся между собой, если они друг для друга информационно непрозрачны. Но мне, кстати, неизвестно ни одной компании, где использовались бы сразу два независимых антивирусных пакета. Видимо, степень доверия антивирусным компаниям велика, и вероятность противоправных действий с их стороны рассматривается как пренебрежимо малый риск. И, конечно, по мере распространения и роста популярности того или иного антивирусного пакета риск его использования для проникновения в защищенную им локальную сеть растет. Но каким поистине безграничным доверием мы должны располагать к производителям операционных систем! Ведь с точки зрения этих компаний все пользователи их операционных систем информационно прозрачны, а если все пользуются одной и той же операционной системой, то...

Глобальный контроль. Все чаще раздаются голоса в пользу жесткого регулирования доступа к Сети. Евгений Касперский, автор известного антивирусного пакета, неоднократно высказывался в пользу глобального контроля как единственного, с его точки зрения, средства борьбы с вирусными эпидемиями, спамом и несанкционированным доступом (взломом).

Глобальный контроль предполагает, что каждый, кто выходит в Сеть, должен пройти процедуру авторизации. И куда бы он ни пришел, всюду его должен сопровождать его идентификатор. Нет авторизации — нет доступа. Нет доступа никуда. Для этого должны быть созданы сетевые ресурсы, отвечающие за выделение паролей. Должны быть глобальные базы данных, хранящие пароли и логины всех пользователей Интернета.

Весь путь авторизованного пользователя: с какого компьютера вошел в Сеть, на какие сайты заходил, какие файлы копировал, в каких чатах и гостевых книгах отметился, какие получал и отправлял письма и, наконец, что он покупал и как за эти покупки расплачивался, — вся эта информация должна сохраняться бесконечно долго и может быть проверена тем информационным субъектом, который имеет соответствующее право доступа.

Можно ли реализовать подобный подход? Да, вероятно, технически это возможно, хотя и крайне непросто. Но остается вопрос: кто будет администрировать базы данных паролей и логинов, кто получит возможность спросить о том, чем занимался пользователь в Сети последние пять дней или пять лет?

Если учесть, что практически вся деятельная жизнь человека постепенно перемещается в Сеть, то человек останется абсолютно открытым перед тем лицом или органом, который имеет возможность выполнить такой запрос и проанализировать полученный результат.

Человек беззащитен, а орган всевластен. Любой человек в этом случае делегирует все права неким органам, а уж насколько эти органы компетентные и как они эту информацию используют, этого никто ему не скажет.

Реализуя глобальный контроль, мы защищаем Сеть, но делаем это за счет рядового пользователя самой Сети. Мы уничтожаем анонимность, возникшую во многом в целях, ровно противоположных публичности: я не хочу, чтобы кто-то имел возможность собрать ту критическую массу информации обо мне, которая станет мне угрожать. Глобальный контроль делает Сеть непрозрачной для подавляющего большинства пользователей, но выделяет некоторое избранное сообщество — сетевую элиту, которая сможет контролировать любого, входящего в Сеть, сама же оказывается неподконтрольной никому. Это такая концентрация власти, которой не было ни у какого, даже самого тоталитарного, государства.

Анонимность. Анонимность — одно из условий нормальной жизни в Сети. Аноним создает несколько различных информационных тел и тем самым отводит угрозу от главного — от того, с которым он связан неразрывно. Запретить псевдонимы (ники) — это резко повысить возможность концентрации информации о персоне и тем самым снизить ее информационную безопасность. Анонимность вовсе не всегда означает безответственность, но всегда означает разделение. Если я хочу, чтобы ни одно из моих высказываний со мной не ассоциировалось, я буду каждое делать под новым ником. Если я хочу, чтобы все мои высказывания ассоциировались только со мной, я мало того что подпишусь полным именем, но еще и обязательно дам свой e-mail и адрес официальной странички, чтобы меня ни с кем не спутали. Это две различные стратегии, и какую из них выбрать, решаю сегодня я сам. И, скорее всего, я выберу не крайнюю, а промежуточную.

Анонимность — это не прихоть и не игра. Скажем более мягко: не только игра. Это попытка разделения информации, создание условий для свободного высказывания. Это противостояние властному окрику и внешнему контролю, всего лишь воспроизводящее состояние досетевого бытия личности, существовавшей в разделенном информационном пространстве.

Но в условиях глобального контроля я буду лишен выбора. Для администратора базы паролей мои псевдонимы никакой роли не играют. Я стою перед ним словно голенький. И спрятаться мне попросту негде. Вся моя жизнь проходит в Сети.

Фундаментальное противоречие. Мы приходим к противоречию. Сеть реализует единое информационное пространство, в котором доступ к информации несравнимо облегчен по сравнению с информацией индустриального общества. В Сети появляются реальные предпосылки для возникновения единых глобальных банков данных, содержащих информацию обо всех информационных субъектах, причем не только статическую информацию, но и динамическую, получаемую в процессе возникновения контактов и практически в реальном времени. Эта информация может быть достаточно отчетливо структурирована, для того чтобы удавалось сформулировать поисковый запрос. И вот в этих условиях информационной прозрачности встает крайне важная задача обеспечения закрытых областей информации. Таких, к которым не имеет доступа никто, кроме ее владельца или того информационного субъекта, которому владелец эту информацию предоставил на взаимоприемлемых условиях. Таких «темных» областей должно быть много, и они должны быть друг от друга независимы.

Размывание (или вовсе отмена для определенных информационных субъектов) конфиденциальности информации может привести к тяжелым последствиям для того общества, которое строится на информационном обмене.

Непрозрачные, «темные» области стабилизируют информационное пространство, придают ему определенную тяжесть и необходимую предсказуемость. Они приводят к рассеянию (распределению) власти информации и потому к большей устойчивости системы. Настаивая на открытости и коммуникабельности, необходимо об этом помнить.

Власть информации должна быть обязательно ограничена отсутствием точки глобального обозрения. Сеть должна научиться не только быстро и качественно отдавать все, что угодно, по первому требованию, но и научиться хранить тайны. Только тогда наше информационное тело будет чувствовать себя в безопасности.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Урс Видмер. Любовник моей матери. Роман. Перевод с немецкого О. Асписовой. М., «Текст», 2004, 158 стр., 1500 экз.

Роман одного из ведущих современных швейцарских писателей, издан в серии «Впервые на русском языке».

Лев Гурский. Траектория копыя. М., «Время», 2004, 512 стр., 5000 экз.

После нескольких лет перерыва к читателю возвращается частный детектив Яков Штерн, чтобы в очередной раз спасти Москву, а заодно и мир от заговора супостатов. Участвуют: литераторы, репортеры, книготорговцы, издатели, муровцы и фээсбэшники, сотрудники постлужковской мэрии, знаменитый скульптор-монументалист, кинобоссы, представители иностранных спецслужб и т. д. Роман издан с грифом «Детектив ехидный» в серии «Парк гурского периода».

Чингиз Гусейнов. Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина. Кораническое повествование о пророке Мухаммеде. М., «Вагриус», 2003, 507 стр., 5000 экз.

Художественное (вместе с тем историческое и отчасти богословское) исследование личности, судьбы и откровений Мухаммеда. О первых двух частях этой книги можно говорить как о философском романе, третью же часть («Потайное дно») составила авторская редакция ста тридцати трех сур Корана, расположенных в хронологическом порядке — от «Сгустка» и «Завернувшегося» до «Печали» и «Завершения». Этой книгой Гусейнов продолжил дело, начатое им книгой «Суры Корана» (подробнее об этой книге см. в «Библиографических листках» — 2003, № 4).

Девять измерений. Антология новейшей русской поэзии. Составители Б. Кенжеев, М. Амелин, Д. Воденников и др. Вступительная статья И. Кукулина. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 406 стр.

Максим Амелин, Полина Барскова, Шиш Брянский, Дмитрий Воденников, Иван Волков, Анна Горенко, Данила Давыдов, Бахыт Кенжеев, Псой Короленко, Дмитрий Кузьмин, Ксения Маренникова, Григорий Петухов, Арсений Ровинский, Сергей Тимофеев и другие.

Исаак Башевис Зингер. Каббалист с Восточного Бродвея. Рассказы. Перевод с английского Дмитрия Веденяпина. М., «Текст», 2004, 302 стр., 3500 экз.

Рассказы нобелевского лауреата, польского еврея, ставшего гордостью американской литературы, из сборников «Спиритический сеанс», «Смерть Мафусаила» и «Венец из перьев». На русском языке рассказы публикуются впервые.

Александр Кабаков. Все поправимо. Хроники частной жизни. М., «Вагриус», 2004, 480 стр., 5000 экз.

Новый роман Кабакова — «От пятидесятих до наших дней. Судьба удачливого фарцовщика, его слепая мать, несчастная жена и несчастная любовница. Убогий советский быт, козни ГБ, интеллигентские рефлексии, мучительное подведение итогов жизни» («Книжное обозрение»).

Виктор Кирюшин. Чередование тьмы и света. Стихотворения. Предисловие В. Кострова. М., «Молодая гвардия», 2003, 109 стр., 1000 экз.

Свою книгу поэт составил из стихов разных лет, представив читателю избранное. «Пилят старик со старухой дрова. / Струйка опилок стекает едва. / Радио маршем гремит со столба. / Пот утирает старуха со лба. / Пес неприкаянный дремлет у ног. / ...Вздых и движенье. / Движенье и вздох... / Слышится диктора бодрая речь. / Ох и прожорлива русская печь!»

Книга судеб. Пьесы победителей конкурса «Евразия-2003». Составитель Н. В. Коляда. Екатеринбург, «Уральское издательство», 2004, 320 стр., 1500 экз.

Организованный Николаем Колядой международный конкурс пьес «Евразия» проходил в Екатеринбурге в конце мая 2003 года и представлял собой театрализованное действие, на котором артисты местных театров читали и проигрывали представленные на конкурс работы. Лауреатами стали опубликованные в этой книге Татьяна Филатова

(«Непередаваемые ощущения»), Данил Гурьянов («Вагон счастья»), Александра Чичканова («Книга судеб»), Никита Фиолетов («Про самого длинного червяка»), Константин Костенко («Клаустрофобия» и «Свиньи»), Элата Демина («Элвис умер?»), Игорь Колосов («Воздушный шар на крайний случай»), Антон Валов («Рецидив трусости» и «Качели за окном»), Наталья Юрова («Черные точки»), Татьяна Ширяева («Маша и медведь»).

Коллекция. Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2003, 576 стр., 2000 экз.

Коллекция. Петербургская проза (ленинградский период). 1980-е. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2004, 480 стр., 2000 экз.

Завершено издание трехтомника «Коллекция» — собрание избранной прозы, представляющей так называемую «вторую культуру» литературного Ленинграда (выход первого тома был отмечен в «Библиографических листках» — 2003, № 9). Идея издания принадлежит Борису Иванову, одному из лидеров ленинградского андерграунда, в частности, издателю и редактору машинописного журнала «Часы» (1976 — 1990), одному из инициаторов создания Клуба-81, автору проекта энциклопедии «Самиздат Ленинграда: 1950 — 1980-е годы», изданной при его участии. Во второй том (1970-е) вошла проза Александра Морева, Бориса Дышленко, Владимира Алексева, Василия Аксенова (питерского), Николая Коняева, Юрия Шигашева, Бориса Иванова, Тамары Коровиной, Ильи Беляева, Александра Петрякова, Владимира Лапенкова, Владимира Губина, Бориса Кудрякова и других; в третий (1980-е) — Игоря Адамацкого, Евгения Звягина, Нины Катерли, Сергея Федорова, Сергея Носова, Николая Исаева, Владимира Холоденко, Сергея Коровина, Аркадия Бартова, Виктора Кривулина, Владимира Шинкарева (Митьки) и других.

Нина Королева. Облака. Стихотворения и поэма. М., «Грааль», 2003, 194 стр., 500 экз.

Десятая книга стихов известного петербургского поэта.

Джакомо Леопарди. Поэзия. Составление и комментарии А. Б. Махова. М., «Наука», 2003, 604 стр., 1000 экз.

Двуязычное издание, представляющее самое полное собрание стихотворений Леопарди на русском языке; в книгу вошли также сатирические поэмы «Новые верующие», «Батрахомиомахия» и «Паралипомены к Батрахомиомахии». В паре с этим томом в том же оформлении издательство выпустило книгу И. К. Полуяхтовой «Жизнь и творчество Джакомо Леопарди» (М., «Наука», 2003, 396 стр., 1000 экз.), первую в России полноценную монографию о поэте.

Жан Маре. Непостижимый Жан Кокто. Перевод с французского Елены Турышевой. М., «Текст», 2003, 187 стр., 3500 экз.

Жан Кокто глазами актера и близкого друга в лирической и во многом автобиографической прозе Жана Маре («Поскольку я делал только то, что мне нравилось, я считая себя лентяем, но этому „лентяю“ посчастливилось встретить Жана Кокто... Все началось с этой встречи — моя карьера, наша дружба и я сам»). Кроме воспоминаний Жана Маре в книгу вошел также драматургический текст спектакля «Кокто — Маре», «задуманного и осуществленного Жаном Маре и Жан-Люком Тардьё по произведениям Жана Кокто. Показан впервые 30 сентября 1983 года в парижском театре „Ателье“ по случаю 20-й годовщины со дня смерти поэта».

Александр Образцов. Silentium! Стихи. СПб., 2003, 107 стр., 1000 экз.

Книга стихов известного писателя и драматурга. «Хорошо, что время терпит. / Время терпит, время ждет. / Время есть до самой смерти, / Если очень повезет».

Оскар Уайльд. Стихи. Составление, предисловие К. Атаровой. Комментарии Е. Витковского. М., «Радуга», 2004, 384 стр.

Двуязычное издание; попытка воссоздать посредством лучших за всю историю русского Уайльда переводов (от М. Кузмина до Г. Кружкова) авторский сборник «Роемъ», изданный Уайльдом в 1881 году, с добавлением некоторых поздних стихотворений и поэм «Сфинкс» и «Баллада Редингской тюрьмы».

Евгений Федоров. Проклятие. Повести. М., «Практика», 2003, 475 стр., 1000 экз.

Новая книга известного писателя, финалиста Букеровской премии 1995 года (роман Федорова «Одиссея» был признан одним из трех лучших романов года), в которую вошли повести «Бывшее и думы», «Тайна семейного альбома», «Сестры», «Кухня», «Проклятие», «О Кузьме», «О Ленине, о завещании Сталина и не только», «Поэма о первой любви», «Николай Павлович», «Мистерия». Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Сеймур Беккер. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего периода имперской России. Перевод с английского Бориса Пинскера. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 344 стр.

Монография американского историка, посвященная истории русского дворянства после реформы 1861 года. Задействован обширный архивный и статистический материал.

Николай Вахтин, Евгений Головкин, Петер Швайццер. Русские старожилы Сибири. Социальные и символические аспекты самосознания. М., «Новое издательство», 2004, 292 стр.

Социологическое и историческое исследование антропологов, написанное на материале полевых работ, которые проводились в Восточной Сибири (поселки на реках Колыма, Индигирка, Анадырь; Якутия, Хабаровский край и т. д.) в начале 90-х годов. «Старожилы Сибири и Дальнего Востока, потомки русских переселенцев XVIII — XIX веков, не причисляли себя ни к русским, ни к „коренным народам Севера“. Они создали свою неповторимую культуру, и каждая старожилая группа считает себя самостоятельным народом. Представленный в настоящей книге детальный анализ этнического самосознания старожилов позволяет приблизиться к пониманию сути этничности, ее компонентов и способов конструирования» (из аннотации). В качестве особых этнических групп в книге рассматриваются русскоустыинцы, походчане, марковцы.

Контекст-2003. Литературно-теоретические исследования. М., ИМЛИ РАН, 2003, 349 стр., 500 экз.

После шестилетнего перерыва возобновляется выпуск известного литературоведческого ежегодника, вступившего, как пишут составители, в свой «постмихайловский период существования» — все предыдущие выпуски «Контекста» составлялись и редактировались А. В. Михайловым (1938 — 1995). Новый выпуск ежегодника содержит материалы из редакционного портфеля 1996 — 2002 годов. «История в тесном взаимодействии с теорией — так обозначили бы мы основное направление „Контекста“ на данном этапе», — определяют свою задачу нынешние составители сборника Е. В. Иванова (ответственный редактор), Ф. Ф. Кузнецов, П. В. Палиевский, Л. Д. Громова, С. А. Небольсин, М. Л. Рыжкова (ответственный секретарь). В разделе «Теория» помещены материалы «круглого стола» «Актуальные проблемы теории литературы» в ИМЛИ, спровоцированного статьей А. В. Михайлова о кризисных явлениях в современном литературоведении, а также статьи Ф. П. Федорова, Т. А. Касаткиной, Ю. В. Кагарлицкого, О. Я. Зоткиной, А. Г. Слесарева. В разделе «История» — работы Е. В. Ивановой и Е. А. Тахо-Годи. В «Эссеистике» — В. П. Визигин о Л. Н. Толстом. О. А. Овчаренко представляет в отдельном разделе оккультную прозу Фернандо Пессоа, в «Философском наследии» — публикации работ А. Ф. Лосева «Неоплатонизм, изложенный ясно, как солнце» и Михаила Лифшица «Смысл мира. Из наследия „ископаемого марксиста“». Завершает ежегодник републикация некролога «Памяти А. В. Михайлова», написанного М. Г. Альбрехтом.

Польская и русская душа. От Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына. Материалы к «каталогу» взаимных предубеждений между поляками и русскими. Редактор-составитель Анджей де Лазари. Варшава, 2003, 471 стр.

Составитель антологии не стал смягчать проблему, а собрал именно «каталог взаимных предубеждений», где Пушкин возникает не тем юношей, что был увлечен фигурой приехавшего в Россию Мицкевича, а автором поэтического манифеста «Клеветникам России», в свою очередь Чеслав Милош начинает свои заметки с констатации: «Нам незачем делать вид, что мы свободны от свойственного всем полякам „комплекса“. Лучше честно признаться в нем и постараться его в себе исследовать — и по возможности беспристрастно. Поляки и русские не любят друг друга или, точнее, питают друг к другу все оттенки неприязни, вплоть до презрения, отвращения и ненависти, что, впрочем, не исключает и неясного взаимного влечения... Возможно, все народы, если их рассматривать как целое, а не как совокупность одиночек, обратительны, и на их примере соседи открывают правду о человеческом сообществе вообще. Не исключено, что поляки знают о русских то, что сами русские знают о себе, не желая себе в этом признаться, — и наоборот». Концепция сборника выглядит мужественной и плодотворной — «такая работа направлена на изъятие предубеждений из нашего сознания. А путь к этому ведет через осознание этих предубеждений и открытый диалог» (от составителя). Собранные тексты не ограничиваются заявленной темой антологии, многие из представленных здесь авторов пытаются дать свое определение менталитета соб-

ственного народа уже безотносительно к проблемам противостояния поляков и русских — Александр Солженицын предоставил составителю те фрагменты из книги «Россия в обвале», где он формулирует черты национального характера русских, а современный польский философ и богослов о. Яцек Салий представлен статьей «Дурные и хорошие стороны польского мессианства». Среди авторов русские (А. С. Пушкин, П. Я. Чаадаев, Н. Н. Страхов, Л. А. Тихомиров, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, В. И. Иванов, Г. П. Федотов, Н. С. Трубецкой, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский и другие) и поляки (А. Мицкевич, Г. Каменьски, З. Красиньски, В. Лютославски, М. Здзеховски, Я. Парандовски, Б. Ясиновски, о. Август Хлонд, Я. Кухажевски и другие). Справки об авторах и примечания Анджея де Лазари.

Борис Рогинский, Игорь Булатовский. Человек за шторой. Истории о критиках, читателях и писателях. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 274 стр.

Книга двух петербургских авторов, вносящая некоторые коррективы в привычную картину современной литературной критики, — ситуация, когда количество переходит в качество. Тексты, составившие эту книгу, известны — они публиковались в рубрике «Читатель — Критику» в журнале «Звезда», но теперь, собранные вместе, они демонстрируют новое качество. Книга эта уже не заявка, а констатация появления в современной русской критике еще одного серьезного явления. Читатель не должен, на мой взгляд, слишком верить авторам, заявляющим: «Мы избрали позицию читателя. Читатель читает просто так, у него нет задания. У него нет гипотезы, которую он должен доказать или опровергнуть. У него нет научного подхода, нет аппарата». На самом деле все это — свои эстетические ориентиры, свой инструментарий, своя стилистика — наличествует и выстраивает предложенные тексты, но там еще есть и новая для сегодняшней критики свобода повествовательной интонации, азарт читательский и писательский, эстетическая и идеологическая незашоренность. «Мы убеждены, что писали только о современном и актуальном. Нас можно спросить: почему тогда вы пишете о Венедикте Ерофееве и не пишете о Людмиле Петрушевской? Почему о Риде Грачеве, а не об Александре Пятигорском? Почему о Георгии Владимове, а не о Владимире Сорокине (или хотя бы о Солженицыне)? И так далее. Не важно, когда написана книга. Важно, когда она становится необходимой» (от авторов). Свой разговор авторы ведут на материале творчества Самуила Лурье, Сент-Экзюпери, Гиллола и Домбровского, Зошенко и Блока, Алексея Германа, Грэма Грина, Юлиа Даниэля, Владимира Новикова, Юлии Латыниной, Александра Жолковского и других.

Семейные узлы. Модель для сборки. Сборник статей. Составитель и редактор С. Ушакин. М., «Новое литературное обозрение», 2004. Книга 1 — 632 стр. Книга 2 — 520 стр.

«Используя обширный исторический, социологический и культурологический материал, статьи, собранные в этой книге, пытаются объяснить привлекательность родственных связей и семейных уз. В первом томе сборника исследуются идеологические контексты существования семей, способы формирования семейных союзов, а также разнообразные бытовые тактики и половые стратегии семейной жизни». «Во второй том вошли статьи, посвященные различным типам семейного воспитания детей, проблемам жизни семей мигрантов, а также политическим технологиям, основанным на использовании семейной риторики» (из аннотации).

Андрей Синявский. Литературный процесс в России. М., РГГУ, 2003, 418 стр., 2000 экз.

Собрание литературоведческой и литературно-критической эссеистики Андрея Синявского (Абрама Терца).

Три еврейских путешественника. Иерусалим — М., «Гешарим» — «Мосты культуры», 2004, 332 стр.

Переиздание вышедшего в 1881 году сборника, подготовленного П. В. Марголиным. Включает путевые записки «торгового человека» Эльдада Данита «Книга Эльдада Данита» (IX век), путешествовавшего по Ближнему Востоку, «Книгу странствий раби Вениамина» (XII век — Италия, Сирия, Палестина, Багдад, Египет и т. д.), «Кругосветное странствие раби Петахии Регенбургского» (XII век — Европа и Ближний Восток, путешествие проходило и по территориям нынешней Польши, Украины и юга России).

Владимир Фейертаг. Диалог со свингом. Давид Голошкекин о джазе и о себе. СПб., «Культ-Информ-Пресс», 2003, 320 стр., 2000 экз.

Автор, известный музыковед, филолог и писатель, предлагает свои беседы со знаменитым джазовым музыкантом, перемежающиеся экскурсами в историю советского джаза.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Арба», «Газета.Ru», «Гуманитарный экологический журнал», «GlobalRus.ru»,
 «День литературы», «Завтра», «Знание — сила», «Известия»,
 «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Критическая масса»,
 «Левая Россия», «Литературная газета», «Литературная Россия»,
 «Литературная учеба», «Логос», «LiveJournal», «Международная еврейская газета»,
 «Московские новости», «Народ Книги в мире книг», «Наш современник»,
 «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Польша»,
 «Новая Юность», «Новые Известия», «Огонек», «Октябрь», «Подъем»,
 «ПОЛИТ.РУ», «Политический журнал», «Посев», «Простор», «Русский Журнал»,
 «Спецназ России», «Топос», «Труд», «Урал»

Сергей Аверинцев. Христианство в истории европейской культуры. — «Знание — сила», 2004, № 3 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

«Евангелие и вообще все новозаветные сочинения мы имеем по-гречески; но и они явились уже как перевод. Я прошу не понимать меня слишком буквально. Я просто хочу напомнить, что Христос говорил по-арамейски. И тем не менее ни единое Его изречение не дошло до нас в своем подлинном виде. Таким образом, христианство стоит с самого начала под знаком перевода, передвижения из одной языковой сферы в другую (и передвижения очень серьезного, ибо арамейский язык принадлежит к числу семитских, для которых греческий — совершенно иной мир, иное языковое мышление). <...> С перевода все начинается, и наши глаза даже не проникают в то место, где еще этот акт перевода не был совершен». Фрагменты лекции, прочитанной в одном из московских лицеев. Печатается в сокращении.

См. также: **Михаил Немцев**, «Не-жест Аверинцева» — «Топос», 2004, 8 апреля <<http://www.topos.ru>>; «С. С. Аверинцев, независимо от деталей его личной жизни (это тема специальных исторических разысканий), теперь уже давно стал исторической фигурой; и эта фигура — указатель определенных тем. *Это темы самоопределения русской интеллигенции.* Можно представить себе классификацию позиций русских/советских интеллигентов, где задаются следующие координаты: Лосев (минус социальной активности — внутренняя эмиграция, отворот от мира) — Солженицын (плюс социальной активности, трибуна, жжение глаголом сердец и умов). Заметим, при противоположности позиций плодотворность в количественных показателях сопоставима; «легендарность» — тоже. Но *выстраивание жизни* <...> принятие одних правил и отвержение других — совершенно различны. *Via media* — Аверинцев. Не кабинетный ученый. Не трибун. Верующий, но не монах. Писатель, учитель. Делатель. Не без жестов — как же их избежать? Но без жестов как жестов».

См. также: **Лев Аннинский**, «Средиземноморский почвенник. Памяти Сергея Аверинцева» — «Труд», 2004, № 67, 13 апреля <<http://www.trud.ru>>; «<...> он хотел именно того, что считал истинным».

См. также: **Сергей Аверинцев**, «Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным впечатлениям» — «Новый мир», 2004, № 6.

См. также: **Михаил Гаспаров**, «Памяти Сергея Аверинцева» — «Новый мир», 2004, № 6.

Сергей Агафонов. Тень сурка. Заметки. — «Новая Юность». Литературно-художественный познавательный журнал тридцатилетних. 2004, № 1, 2, продолжение следует <http://magazines.russ.ru/nov_yun>.

«<...> демократическое „возможно все, что не запрещено” в Японии смотрится как дикость и правовая анархия. В Японии для регламентации нет „белых пятен” и неосвоенных зон».

Александр Адамский. Религия в школе стала инновационным проектом. — «Известия», 2004, № 55, 27 марта <<http://www.izvestia.ru>>.

«<...> религия для образования стала тем инновационным проектом, в котором ожили лучшие педагогические стороны российского образования. Это означает, что нашему образованию в принципе нужны инновационные проекты». Автор — ректор Института образовательной политики «Эврика». Статья напечатана на полосе «Наука» (совместный проект газеты и РАН) <<http://www.nauka.izvestia.ru>>.

Владимир Алейников. Ленинградская богема. — «Литературная Россия», 2004, № 12, 13 <<http://www.litrossia.ru>>.

«Костя Кузьминский, тощий, лохматый, с развевающейся бородой, в кожаных штанах, в сандалиях „Скорород“ на босу ногу, в расстегнутой рубаше, с огромным крестообразным шрамом на голом животе, стуча по тротуару внушительным посохом, подходил к пивной очереди — и, не говоря ни слова, выразительно смотрел на мужиков...»

См. также: **Владимир Алейников**, «Нет ни участия, ни вести благой» — «Литературная Россия», 2003, № 19-20, 16 мая; «Самиздат моей эпохи» — «Литературная Россия», 2003, № 34, 22 августа; «Белая ворона» — «Литературная Россия», 2003, № 45, 7 ноября; «Артур Фонвизин» — «Литературная Россия», 2003, № 52, 26 декабря; «Свидание с Фурцевой» — «Литературная Россия», 2004, № 7, 20 февраля.

Лев Аннинский. Михаил Светлов: «Приговор прозвучал, мандалина поет...» Из цикла «Медные трубы». — «День литературы», 2004, № 4, апрель <<http://www.zavtra.ru>>.

«Чуть не к каждому очередному юбилею Октябрьской революции — стихотворное приветствие. В 1927: „Труби... десятая труба!“ В 1930: „Встает годовщина, тринадцатой домной горя“. В 1931: „Гудят четырнадцать Октябрей“. В 1933: „Мы тебя навеки зацепили за шестнадцать крепких якорей“. В 1934: „До семнадцати твоих высот дотащить бы выдумку свою!“ Все это могло бы показаться элементарной конъюнктурщиной, если бы не... выдумка: изобретательность талантливого человека, искренне верящего в то, что он говорит, и действительно тратящего на эти ортодоксальности глубинные запасы души. Он позволяет себе воспевать что угодно. Авдодор и МОГЭС. ЧК и ОГПУ. Вождей, которые просто, „как друзья, руки нам на плечи положили“ (это в 1932 году!). И при всем том Светлов умудряется невозмутимо оставаться „в стороне от парада“».

См. также беседу **Льва Аннинского** с Ольгой Таракановой («Новые Известия», 2004, 19 апреля <<http://www.newizv.ru>>): «Для интеллигента нет универсальных характеристик. Как нет их, скажем, для христианина. Человек может соблюдать все 10 заповедей, но при этом оставаться номинальным христианином». *И даже — вовсе не христианином, десять заповедей были открыты Моисею на горе Синай (Исх. 34: 14 — 26).*

Юрий Арпишкин. Турист-культуролог. Архитектура сталинской Москвы как явление культуры. — «Московские новости», 2004, № 14 <<http://www.mn.ru>>.

Говорит **Владимир Паперный**: «Происходящее в Москве, на мой взгляд, вполне естественно, потому что российская архитектура существует в условиях прерванной традиции. В 20-е годы почти ничего построено не было. Конструктивизм в основном был чисто художественным занятием, а не строительным. Когда объявили конкурс на строительство Днепрогэса, там конкурировали братья Веснины и Жолтовский, сделавший очень архаичный проект. И все инженеры, безусловно, отдавали предпочтение Жолтовскому, поскольку изящную идею братьев было невозможно реализовать. И вот сегодняшние архитекторы выступают, скорее, наследниками лозунгов, производителями художественных жестов. И в смысле практики очень уязвимы. Они производят впечатление людей, говорящих на языке, выученном по словарю, из которого вырвали страницу 250. Но с определенной точки зрения здесь, конечно же, много любопытного. Вот красный дом-яйцо архитектора Ткаченко мне кажется очень интересным объектом; если бы я преподавал архитектуру, то обязательно показал бы его, но попросил бы студентов никогда так не делать».

А. Артеьев, С. Немировский, А. Сальников. Движение экологов — путь в бездну. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2003, том 5, выпуск 1-2 <<http://www.in.com.ua/~kekz/human.htm>>.

«Куда и к чему они нас ведут? Не пора ли оказать им решительное противодействие? <...> Даже атеист вызывает большее уважение, нежели „зеленый“ язычник».

От редакции: «Этот материал мы публикуем в качестве провокации и предупреждения, что уже появились силы, готовые к борьбе с природоохранниками».

Авторы «провокационной» статьи представляют Антиэкологический союз (Новосибирск). См.: <<http://www.antieco.ru>>.

См. также: **Андрей Скурлягин**, «Так ли важна экология, как ее малюют?» — «Экономические стратегии», 2003, № 5.

Федор Бармин. Кольцо и полумесяц. — «Спецназ России», 2004, № 3, март <<http://www.specnaz.ru>>.

«Создавая мир „до Христа“, Толкиен создал мир „без Христа“, и религиозному человеку погружаться в него довольно тягостно, хотя и не настолько, как в мир последующих фантастических авторов».

Павел Басинский. Горького «заказывали»? Почему автор «Несвоевременных мыслей» решил вернуться в Советскую Россию. — «Литературная газета», 2004, № 15 <<http://www.lgz.ru>>.

«Он мог быть хитрым, лукавым. Не любил неприятной для него правды и именно поэтому нередко позволял ввязывать себя в темные провокации. Но подлецом, провокатором Горький не был. И, наконец, он действительно был болен».

Павел Басинский. Конец революции! — «Политический журнал», 2004, № 14 <<http://www.politjournal.ru>>.

«Однажды, проснувшись утром, я испытал престранное чувство облегчения. Я вдруг с физической ясностью осознал: а ведь очередная-то „русская революция“ закончилась! <...> Начало жизни в государстве. Каком? — еще не совсем понятно. Но понятно, что в этом государстве Совет безопасности не будет возглавлять Березовский. Про большого русского писателя Максима Горького не напишут в „Московском комсомольце“, что он „сволочь“ и что Бабель „великий“. Просто язык изменился. Люди изменились. Государство появилось...»

«А права человека? — спросите вы. Какого человека? Русского человека? Так его ж скоро не будет».

«Кончилась революция. И вот, проведя весь день с этим странным, новым ощущением, я задумался. А ведь именно такое чувство, наверное, испытал какой-нибудь советский человек, проснувшись однажды утром. Что кончилась революция. Кончился бардак. Возникло новое, но все-таки — государство. Я думаю, что это было в году эдак 1938-м. Когда всем известный человек окончательно расправился с политической оппозицией... То есть со своими бывшими друзьями».

Александр Беззубцев-Кондаков. Мутация Революции. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 4 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«Вор» Леонида Леонова: читаем заново, подробно.

См. также солженицынский этюд об этом романе: «Новый мир», 2003, № 10.

Андрей Битов. «Общество состоит из каждого». Беседу вел Михаил Поздняев. — «Новые Известия», 2004, 13 апреля <<http://www.newizv.ru>>.

«Бывают у меня иногда помрачения в виде видений или видения в виде помрачений. Было, в общем, замечательное видение. Вроде бы какие-то тени передо мной стояли, большие и неразличимые. Я их потом счел ангелами, хотя, может, они были совсем не ангелами. И на какой-то мой внутренний ропот в полусне они сказали: „Черт с тобой, ладно, мы тебе передаем это оборудование“. И показали на что-то, стоящее посреди комнаты, неуклюжее с виду, накрытое старым брезентом. Я спрашиваю: „Что это?“ — „Ну, — говорят они, — ты заслужил, и мы тебе это передаем“. — „Нет, а все-таки что это?“ — „А это, — говорят, — оборудование 1942 года“. Я про себя подумал, что меня в который раз обижают отсюда, сверху. Они прочитали мои мысли и говорят: „Битов, ты не думай, это очень хорошее оборудование“...»

В. Е. Борейко. Радикальная природоохрана. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2003, том 5, выпуск 1-2.

«Некоторые природоохранники вообще считают, что пришло время исключить из понятия „насилие“ разрушение артефактов, то есть созданных человеком вещей. Они настаивают на том, что насилие — это когда наносится вред живым существам или природным объектам, например горе. <...> Конечно, насилие не лучший путь в природоохране. Однако что делать, когда законы не действуют, Бог молчит, пресса безмолвствует <...>?»

А. Борисенко, В. Сонькин. Литературные премии США — XXI век. — «Иностранная литература», 2004, № 4 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

Очень интересный обзор. Среди прочего: «премией Лямбда (*Lambda*), одна из номинаций которой — „Литература для детей и юношества“, отмечаются литературные произведения гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов».

Александр Бренер, Барбара Шуриц. Как должны действовать граффити? — «Арба». Всемирный Независимый Казак/стан/ский Журнал. 2004, 20 апреля <<http://www.arba.ru/art/articles>>.

«<...> когда мы говорим здесь о граффити, мы говорим о политических граффити. Нас не интересуют эстетические поползновения граффитистов, мечтающих украсить своими инициалами уродливые городские стены, равно как нас не волнуют „экзистенциальные“ попытки самовыражения „бунтующих“ подростков и маргиналов, чьим определяющим свойством является незнание социальных условий, в которых производится уличная (и музейно-банковская) культура...»

Алексей Варламов. Заметки о прозе Пушкина и Гоголя. — «Октябрь», 2004, № 4 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«Удивительно, насколько скуп, лаконичен и даже однообразен в отличие от Гоголя Пушкин не только в языке своей прозы, но и в ее сюжетных ходах и поворотах. Возьмем две его вещи, „Барышню-крестьянку” и „Капитанскую дочку”...»

Франц Макс Веб. Немецкий ландшафт и немецкая душа. Сокращенный перевод с немецкого Киевского эколого-культурного центра. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2004, том 6, выпуск 1.

«А загадочность немецкого человека разве не является тайной частью нашего ландшафта?» Источник: «*Natur und Kultur*» (1934, № 4).

Здесь же: **Р. Доминик III**, «Природоохранная идеология в нацистской Германии» (сокращенный перевод А. Елагина).

Всякая ксенофобия — греховна. Публикацию подготовил Александр Королев. — «Труд», 2004, № 56, 27 марта <<http://www.trud.ru>>.

Говорит митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл: «<...> Русской церкви нет необходимости каяться в антисемитизме — такого греха за ней нет».

Владимир Гандельсман. Проза о стихах. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

«Он [Мандельштам] не заботится о том, чтобы мы непременно догадались, что „Фета жирный карандаш” идет от *fat* (англ.), *fett* (нем., идиш) — жирный или что „С миром державным я был лишь ребячески связан” можно читать как „С миром, Державин, я был лишь ребячески связан”, что это попутно обращение к государственному вельможному человеку, который, кстати, устриц любил и на гвардейцев смотрел не исподлобья и кому египтянка (цыганка) плясала: „Возьми, египтянка, гитару...” (у Мандельштама она отсутствует таким образом: „...я не стоял под египетским портиком банка, и над лимонной Невою под хруст сторублевый мне никогда, никогда не плясала цыганка”). Не заботится, потому что доверяет своему дару».

См. также: **Владимир Гандельсман**, «Неизвестное письмо В. В. Набокова» — «Октябрь», 2004, № 4; *по ряду признаков — антикушнеровская мистификация*.

Олег Давыдов. Цена местоимения. Статья Ходорковского о либерализме как человеческий документ. — «Политический журнал», 2004, № 12, 5 апреля.

Я, Мы и Они в письме Ходорковского.

Петр Даймос. Да будет взрыв! К гибели шахтеров «Тайжины». — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2004, № 6 (105), 18 апреля <<http://www.left.ru>>.

«<...> российские рабочие сами виноваты в том, что с ними происходит. Ведь и сейчас рабочие просто ждут, когда ужас произошедших трагедий заставит хозяев по-другому относиться к ним и их безопасности, что придет добрый начальник и все будет по справедливости. Конечно, зря ждут. <...> Должно лопнуть терпение, должен произойти взрыв в виде серии восстаний в шахтерских поселках, на стройплощадках, цехах. Эти восстания будут жестоко подавлены полицейской силой, но без них рабочий класс России не состоится».

Михаил Дунаев. Искушение гордыней. Первым гуманистом был дьявол, соблазнивший наших прародителей. — «Труд-7», 2004, № 54, 25 марта.

«<...> либеральное сознание не возникает само по себе, оно есть следствие более жесткого и губительного мировоззрения, более коварной идеологии, имя которой — гуманизм. Мы часто путаем два слова (лингвисты называют такие слова паронимами) — гуманизм и гуманность. <...> Истинное наименование гуманизма — безбожие, богоотступничество. Человек ставит себя в центр мира, но и обрекает себя на безнадежное одиночество, на конечную гибель». Автор — профессор Московской Духовной академии.

Борис Евсеев. Участие и содействие. — «Литературная учеба», 2004, № 1, январь — февраль.

«Ведь Толстой не отрицает ничего ствольного и жизненно важного в опыте православия <...>». *Троицу? Воскресение Иисуса Христа? Символ веры? Еехаристию?*

Александр Жолковский. «Я привержен традиционным эффектам». Беседу вели Надежда Григорьева и Игорь П. Смирнов. — «Критическая масса», 2004, № 1 <<http://magazines.russ.ru/km>>.

«<...> эпизод с Михаилом Зенкевичем, которому жена запрещала печатать какое-то любовное стихотворение. Тут важно, что именно жена, а не Жданов, Союз писателей или цензура. То есть запрет исходит не сверху, от начальства, а от того сообщества (в минимальном случае — семьи), к которому принадлежит пишущий. Авторство предпо-

лагает выход из „родного”, — выражаясь по-толстовски, „роевого”, — институционального и мифологического пространства, которое отказывает пишущему в особой точке зрения».

Сергей Земляной. Антропология левого интеллектуала Бертольта Брехта. — «НГ Ex libris», 2004, № 14, 15 апреля <<http://exlibris.ng.ru>>.

«<...> плагиат, переделка чужого, контаминация своего с не своим в авторской вещи искусства суть разновидности того „очуждения” (*Verfremdung*), которое стало фирменным знаком творчества Брехта. И, как можно убедиться, не только в брехтовском театре, но и в его прозе».

Сергей Земляной. Был ли Ленин контрреволюционером. Термидор, Наполеон и возрождение капитализма в Советской России 1920-х годов. — «Политический журнал», 2004, № 14.

«<...> крутой государственно-политический поворот, для которого его инициатор Владимир Ленин нашел емкий термин „самотермидоризация”. <...> Полемический пыл Ленина в его филиппиках против Устрялова был во многом наигранным; очень может быть, по существу дела он был согласен со сменовеховством».

Михаил Золотоносов. Жена двух господ. («Воспоминания» Зинаиды Пастернак). — «Московские новости», 2004, № 11.

«С кого списана Лара — с нее или с Ивинской — Зинаиду волнует сильно, и ответ Пастернака о синтетическом характере образа ее злит спустя три года после его смерти».

«Исходя из стиля воспоминаний Зинаиды Николаевны, уход Пастернака от первой жены, Евгении Владимировны Лурье, к новой, „отбитой” у Нейгауза, можно понять как итог стремления к ПРОСТОТЕ».

«Конечно, проще всего все объяснить тем, что Евгению он разлюбил, а Зинаиду полюбил. На самом деле все сложнее».

Михаил Золотоносов. Закуска для людоедов. Вышла книга Людмилы Петрушевской об участии современной интеллигенции. — «Московские новости», 2004, № 13.

«По большому счету метафорический роман Петрушевской [„Номер Один, или В садах других возможностей”] и посвящен тому, что мышление среднего человека уродливо деформировалось. Мозг — уже не орган мышления, а орган выживания, как клыки или когти. Резко вырос порог чувствительности, настолько резко, что если нет убийства (пусть не сотни человек — хотя бы одного, но желательно в изошренной форме), нет кражи „в особо крупных”, нет мафии или шайки бандитов, нет борьбы за деньги, то это уже „несобытие” (в оруэлловском смысле). <...> наш современный мир — это мир бандитов. *А тотальная криминализация современной России делает существование интеллигенции невозможным в принципе.* Мысль, впервые выраженную В. Маканиным в „Андеграунде” (1998), Петрушевская „ороманила” вновь, но только ярче. За шесть лет ситуация только усугубилась».

Михаил Золотоносов. Муму *forever*. Повесть о беспомощном существе, убитом „киллером” по приказу свыше, стала зеркалом современной русской жизни. — «Московские новости», 2004, № 14.

«Более того, и от всего Тургенева в оперативной памяти русской культуры осталось одно „Муму”. <...> Немота выносливого и бесправного народа, симбиоз из тайной зависти/ненависти к власти и наслаждения от подчинения ей вследствие любви к ежовым рукавицам — видимо, это и есть те главные значения, которые сделали повесть „Муму” вечно актуальной в России. Глухонемой Герасим — образ, найденный однажды и навсегда. „Муму” в начале XXI века воспринимается как универсальный текст обо всей жизни в целом, и это определило ее особую культурную роль. В дополнение к этому бессловесный Герасим, убивающий по приказу, оказывается „киллером” — функция, в современной культуре отмеченная особым вниманием».

Ср.: «Впрочем, я знаю двух мужественных людей, которые могли бы бестрепетно признаться в неподдельном интересе к этой книге [„Муму”], если бы она действительно была им интересна. Но для Курицына в ней не хватает духа постмодернизма. А для Золотоносова в ней, в отличие от тургеневского „Жида”, нет повода для исследования СРА (субкультура русского антисемитизма — термин Золотоносова). Ну пусть это буду я. <...> Эта штука посылнее „Бесконечного тупика” Галковского» — так писал ваш покорный слуга *десять лет назад* («Памяти Муму» — «Литературная газета», 1993, № 51-52, 29 декабря).

Андрей Zubov. «Истина обязывает». Пределы и возможности христианской политики. — «Посев», 2004, № 4 <<http://posev.ru>>.

«Если бы апостол писал сейчас, он бы сказал, что во Христе Иисусе нет ни либерала, ни социалиста».

Геннадий Зюганов. Растущая опасность. Заявление. — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2004, № 6 (105), 18 апреля <<http://www.left.ru>>.

«<...> подготовка Запада к вооруженной интервенции против нашей страны уже практически не скрывается».

Александр Иванов. «Мы попробовали посмотреть на литературу как не на литературу». Беседу вел Владимир Шухмин. — «Критическая масса», 2004, № 1.

«Серия [издательства „Ad Marginem“] „Атлантида“ — это попытка реконструировать винтажный массовый советский продукт, первые образцы жанра: шпионский роман, фантастический роман, приключенческая повесть и т. д. <...> В низовых жанрах уровень включенности в интернациональный контекст был на порядок более серьезным и интенсивным, нежели в так называемых высоких жанрах. И совершенно не важно, имеется в виду „Поднятая целина“ или „Доктор Живаго“. И Шолохов, и Пастернак ориентировались на литературный канон XIX века, а, скажем, Роман Ким, автор ориенталистских детективов, такой советский Ван Гулик, — на канон своего времени. В конце 1960-х он проводил для молодых писателей семинар по современному актуальному американскому и европейскому детективу. Оказывается, что в сфере массовой культуры советские авторы шли, что называется, ноздря в ноздю с Гришменом, с тем же Ван Гуликом и с массовой культурой своего времени. А в сфере высокой литературы авторы продолжали эксплуатировать тот же канон XIX века, который уже к 1980-м годам превратился в очевидный атавизм. Этот атавизм до сих пор поддерживается некоторыми литературными институциями вроде толстых журналов и ряда литературных премий».

Наталья Иванова. Родине своей мечты. Предательство и преданность — лейтмотив романа «Долог путь до Типперэри», первую часть которого печатает журнал «Знамя». — «Московские новости», 2004, № 14.

«На самом деле роман [Георгия] Владимова должен был по замыслу автора состоять из трех частей, каждая из которых вмещала „один день из жизни“ — как бы пик судьбы: август 1946-го; прощание с Россией в начале 80-х; конфликтная жизнь в эмиграции. Не уверена, сможем ли мы прочесть роман в целом — скорее всего, после расшифровки могут быть доступны лишь фрагменты. И тем не менее — уже по первым главам можно судить и о том, что Ахматова называла величием замысла, и о реализации этого замысла».

Юрий Каграманов. Русское бремя. — «Посев», 2004, № 4.

«Раз уж Россия — по крайней мере на данный исторический момент — не может отпустить Чечню, воевать надо не *против* чеченцев, а *за* них. Задача на порядок труднее».

Юрий Карякин. Бес смертный. Главный заказчик и его мысли о кастетах, кипятке и кислоте, а также о Боге, Гегеле, Достоевском, а еще об уме, чести и совести партии. — «Новая газета», 2004, № 28, 22 апреля <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«Невольный вопрос: *а сам, сам бы мог* вот так, кастетом в висок, кипятком на голову, кислотой в лицо? *А сам бы мог* поехать в Екатеринбург, спуститься в подвал Ипатьевского дома и перестрелять заключенных, глядя им прямо в глаза, начиная с царя и царицы и кончая дочерьми и мальчиком, да еще и врачом? <...> Нет, пусть это делают те, кто считается „мясом революции“. А он лишь — высший мозг, высшая честь, высшая совесть. А он — „самый человечный человек“. Вот оно, это проклятое „разделение труда“, о котором говорилось выше».

Капитолина Кокшенева. Связующая в род. О повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» и о ее интерпретациях в литературной критике. — «Подъем», 2004, № 2 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

«„Хочу новую Россию“ или „хочу русскую девушку“ — все это в своем похотении звучит, в сущности, одинаково».

Здесь же: «Богатые таких книг не читают», — пишет Валентин Курбатов по тому же поводу («Диагноз»).

См. также: Роман Сенчин, «В авторской колее» — «Литературная Россия», 2004, № 8, 27 февраля <<http://www.litrossia.ru>>.

См. также: Дмитрий Быков, «Зори над распутьем» — «Новый мир», 2004, № 4.

Агнешка Колаковская. *Imagine...* Интеллектуальные истоки политкорректности. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 3 (51), март <<http://www.novpol.ru>>.

«Среди многих популярных утопических образов самый легкоузнаваемый, лаконичнее всего выражающий и вернее всего отражающий мечты и идеалы целого поколения».

ния содержится сегодня в популярной песне Джона Леннона „Imagine”. В ней предсказана окончательная победа стражей политкорректности: победа идеологии над здравым разумом, интеллектом, языком, над историей, наукой и фактами — над человеком с свободой. Напомню содержание песни Леннона: <...> „Вообрази, что нет ни небес... ни ада под нами, / Над нами просто небо... Вообрази всех людей, живущих сегодня... ни стран... и ничего, за что стоит убивать или умирать, / Никакой религии... Вообрази, что нет собственности... Нет нужды алкать или голодать, / Братство человека... Вообрази, что все люди владеют всем...” <...> вообразить всех людей в таком утопическом мире — это вызывает ужас. И не только потому, что образ мира без стран, без религии, без ценностей, за которые стоит убивать или умирать, без небес и ада, без собственности — это образ, веющий жуткой пустотой, и не только потому, что дрожь пробирает при мысли о том, как — с помощью каких репрессий — можно было бы (гипотетически) достичь такой утопии, противоречащей человеческой природе, и кто бы ее поддерживал. Но еще и потому, что как раз такая в общих чертах утопия, похоже, широко входит в чаяния XXI века, особенно в новой Европе». В подзаголовке статьи содержится отсылка к книге Алена Безансона «Интеллектуальные истоки ленинизма» (1977).

Владимир Котельников. «Архипелаг ГУЛАГ»: археология зла. К 30-летию издания. — «Посев», 2004, № 4.

Это наш эпос.

Владимир Крупин. Выбранные места из дневников 70-х годов. — «Наш современник», 2004, № 4, 5 <<http://nashsovr.aihs.net>>.

«И хотя я вижу, что в моем окружении много людей, которым я дорог, но я дорог тем, кто не пишет» (из записи от 4 ноября 1972 года).

«Все думал о Распутине, о смерти Шукшина и вдруг подумал, что мне говорят: Распутин умер, и я вскочил и побежал, обливаясь слезами, и на самом деле упал на кровать и рыдал. Значит, Валентин будет жить долго. Хорошо» (из записи от 15 октября 1974 года).

«Идиотское письмо от идиотки девушки» (из записи от 17 января 1975 года).

См. также: «16 марта [1998], понедельник. <...> Читал последние номера „Нашего современника”. <...> Вызывает недоумение Крупин — христианинствующий неопит. Его стиль иногда странно похож на стиль Жванецкого — „Мы не люди, мы вятские” <...>», — это из дневниковых записей покойного ныне поэта Евгения Курдакова («Простор», Алматы, 2004, № 3 <<http://prostor.samal.kz>>).

Константин Крылов. Предзнаменование. — «Спецназ России», 2004, № 3, март.

«Самое худшее — это если в пожаре [Манежа] и в самом деле никто не виноват. То есть если это действительно случайность — случайная искра или молния какая-нибудь ударила. Потому что в таком случае это знамение, *omen*. Знак свыше. И знак совершенно ясный и отчетливый. То есть предвещающий какие-то очень крупные неприятности стране вообще и Москве в частности. Скорее всего — войну».

См. также: «Собственно „психологическая война” возможна именно и только против русских. Негру, еврею или англичанину ты хоть чё хочешь объясняй — он *слушает не будет*. А русский будет. Потому что у негра, еврея и англичанина „биос прошит намертво”, а у русского можно залезть туда и перепрограммировать все к черту. <...> Что делать? Во-первых, превратить изъян в сильное место. Заняться самопрограммированием. Первое, что нужно вбить себе в подсознание, — абсолютный запрет на запись программ определенного типа. Для начала — запрет на самонависть, на все разрушающие программы. В том числе и абсолютный запрет на „национальную критику и самокритику”, сколь угодно „справедливую” и „меткую”. <...> Далее — перепрограммировать себя на уровне культуры. „Заказать себе станок для вывертыванья шеи” © Заболотский — и положить туда голову. (Об этом пока, впрочем, не будем. Замечу только, что это дело может потребовать не только духовных усилий. Я бы, например, был бы только за искусственное — химией и скальпелем, если нужно — усиление кое-каких свойств, слабо выраженных у русских. Например, агрессивности. „Пить озверин” квантум сатис. <...>) И, наконец, последнее — Русская Идея. *Русская Идея состоит в том, чтобы все идеи были русскими*. То есть — чтобы каждая хоть сколько-нибудь значимая мысль, суждение, умозаключение, изобретение, теория и прочий „интеллектуальный продукт” был произведением русского ума — или, уж во всяком случае, шел бы России и русским людям на пользу. Других же идей быть не должно. „Чтобы и думать против нас не смели, даже замышлять в голову не приходило”. Заметим, что для нас этот вопрос принципиален — именно потому, что мы не защищены от „умственной заразы”. У нас нет тех здоровых защитных инстинктов, которые спасают остальные народы. Поэтому мы или погибнем, или займем место „думающих за всех”. Собственно, человек как вид — это прежде всего животное с ослабленными природными инстинктами. Много подоб-

ных видов вымерло, человек же заимел разум. И вышел из круговорота „природной жизни”, занял место не просто на верхушке пищевой пирамиды, а вне ее. Русские — это „люди в квадрате”, люди с ослабленными социальными инстинктами. „НЕО”. Которых или съедят успешные, либо они займут место, аналогичное месту людей в биосфере», — читаем в сетевом дневнике **Константина Крылова** от 4 апреля 2004 года <<http://www.livejournal.com/users/krylov>>.

Александр Кушнер. «Мне нравятся чужие „мерседесы”». Разговор с поэтом и главным редактором «Библиотеки поэта» — не только о поэзии. Беседу вел Леонид Дубшан. — «Новая газета», 2004, № 19, 22 марта.

«Мне 67, в молодости я думал, что такие годы — это глубокая старость. А сейчас — нет».

«<...> вот уже лет десять я являюсь главным редактором „Библиотеки поэта”, и эта работа для меня — сознательное сопротивление хаосу <...>».

«Иногда думаю: сочувствую ли я национально-освободительной борьбе? И понял, что нет...»

Александр Кушнер. «Жизнь без стихов непредставима». Беседу вел Владимир Шемшученко. — «Литературная газета», 2004, № 14, 7 — 13 апреля.

«Поэзия — не табель о рангах и не спорт, рекордов в ней не ставят. Шкловский, сказавший „Хлебников был чемпион”, совершил грубое насилие над законами искусства».

«Издавать поэтов, умерших недавно (вы спросили о Ю. Кузнецове), очень трудно. У нас [в „Библиотеке поэта”] есть опыт издания такой книги (Булат Окуджава) — и должен сказать, что она вызвала много нареканий: это и понятно — сначала необходимо привести в порядок архив, от составителя требуется очень кропотливая работа. Что касается книги Рубцова, то мы бы ее издали, но пока нет предложений, нет заявки на такую книгу».

Алла Латынина. «У меня нет аргументов, чтобы убедить людей читать современную русскую литературу». Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2004, 9 апреля <<http://www.russ.ru/columns/critic>>.

«Сегодня живет только один писатель, место которого в литературе XX века прочно зарезервировано, — Александр Солженицын. Что ж до остальных — тут все зыбко и подлежит пересмотру. Скажем, еще недавно очень значительной фигурой казался Владимир Маканин. Но то, что он делает сегодня, мне не нравится. Более того, мне все меньше нравится его роман „Андеграунд, или Герой нашего времени”, который я в свое время оценила достаточно высоко. Сейчас интерес к нему справедливо меркнет. Тем не менее Маканин кажется мне самым крупным писателем своего поколения, способным на сюрпризы. От Андрея Битова, скажем, никаких сюрпризов ждать уже не приходится, Владимир Войнович пишет какие-то злобные трюизмы, Василий Аксенов выстраивает свои фантазмагорические романы все более замысловато и все менее удачно, Анатолий Ким поглощен мистическим опытом, откровения которого не всегда совпадают с литературными».

Владимир Личутин. Душа неизъяснимая. — «Завтра», 2004, № 13, 24 марта <<http://www.zavtra.ru>>.

«Свастика, крест, звезда — древнейшие символы, неподвластные земному сознанию и нашей воле. Они возникли за тысячи лет до египетских пирамид и иудейской каббалы и будут жить до той поры, пока не сойдет с земли нынешнее человечество и не возникнет новое. <...> Свастика (как и крест, звезды, геометрический и растительный орнамент) проникла не только в существо православной веры, в иконы, украшения храмов, но и в сам крестьянский приземленный быт. До сей поры на моей родине в Поморье бабы вышивают свастику на подзорах, полотенцах, занавесках, скатертях, ширинках, вывязывают на шерстяных рукавицах, носках, кушаках, вылепливают на лепешках (весенние вьюхи, тетерки) и козулях, рисуют на туесах, прялках и деревянной посуде, утицах и ковшах; это один из элементов народного орнамента».

Александр Львов. Талмуд Переферковича: автор, читатели, текст. — «Народ Книги в мире книг». Еврейское книжное обозрение. Санкт-Петербург, 2004, № 49, февраль.

Критический взгляд на перевод Талмуда, сделанный Наумом (Нехемией) Абрамовичем Переферковичем (1871 — 1940). Кстати, Переферковичем созданы — под псевдонимом Н. Абрамов — «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» (пятое издание — 1996) и «Словарь русских рифм» (1912, 1996).

Клаудио Магрис. Дунай. Главы из книги. Перевод с итальянского А. Н. — «Иностранная литература», 2004, № 3.

«Дунай — австрийская река, и австрийским же является неверие в историю, которая разрешает противоречия, уничтожая их, неверие в синтез, преодолевающий и отрицающий правила игры, в будущее, которое приближает смерть. Наверное, потому сегодня старая Австрия и представляется нам родиной, что породила людей, которые усомнились в том, что у их мира может быть будущее, и не пожелали разрешать противоречия старой империи, сознавая: в любом случае окажутся разрушены некие основополагающие элементы и тем самым будет приближен ее конец».

Ольга Мартыненко. Динарий кесаря. Антисталинская стратегия Шостаковича и стоицизм Бродского. — «Московские новости», 2004, № 14.

Говорит **Соломон Волков:** «И вот [партийный] инструктор, знавший об этом разговоре, сказал Шостаковичу: „Как же вам повезло, говорили с самим товарищем Сталиным. Конечно, и вы человек знаменитый, но ведь он же владыка полумира. Вы по сравнению с ним... ” И Шостакович продолжил: „Червяк...” — „Да, да, червяк”, — подхватил инструктор».

Лариса Миллер. «А жизнь все тычется в азы». — «Русский Журнал», 2004, 24 марта <www.russ.ru/culture/literature>.

«24 марта 2004 года исполняется 65 лет со дня рождения ленинградского поэта Леонида Аронсона, погибшего в 70-м году. Его имя я впервые услышала не в России, а в Лондоне от английского переводчика Ричарда Маккейна...»

Мы отстали на целую вечность. Беседу вели редакторы Вальтер Майер и Кристиан Неф («*Spiegel*», Германия). — «Международная еврейская газета», 2004, № 11 <<http://www.jig.ru>>.

Говорит **Виктор Ерофеев:** «Наши демократы, многих из которых я считаю своими друзьями, слишком надменны. Их не интересует народ, они его презирают. А народ, в свою очередь, чувствует это».

См. также: **Наум Коржавин,** «Обескураживающие годы» — «Новая газета», 2004, № 27, 19 апреля <<http://www.novayagazeta.ru>>; «Я ее [интеллигенцию] обвиняю не в корысти, а в наивном равнодушии к жизни большинства народа. Равнодушии от незнания и непонимания. От убеждения, что все само наладится».

На Луне даже дышать нечем. Беседу вел Валерий Мастеров. — «Московские новости», 2004, № 13.

Говорит **Станислав Лем:** «За ним [Путиным] объединенные выборами и настроениями россияне. Народу нельзя сопротивляться».

«**Надеяться всегда.**» Отрывки из дневника Георгия Эфрона. — «Независимая газета», 2004, № 78, 16 апреля <<http://www.ng.ru>>.

Сын Марины Цветаевой, Георгий Эфрон (1925 — 1944), начал вести дневник четырнадцатилетним мальчиком — сразу после приезда с матерью в СССР в июне 1939 года. «Мы сейчас на самом низу волны — может быть, что окажемся скоро наверху этой волны. Такое систематическое чередование бед и неприятностей не может долго еще продолжаться. Я верю, что будут для нас и хорошие времена. Я верю, абсолютно уверен в том, что отец и сестра будут оправданы и освобождены. И это будет началом, как мне думается, нового течения нашей и моей жизни вверх, к чему-нибудь хоть немного похожему на счастье» (из записки от 11 марта 1940 года). Дневники готовятся к выпуску в издательстве «Вагриус».

Аркадий Недель. Ненужный. — «Критическая масса», 2004, № 1.

«Фильм Звягинцева „Возвращение” парадоксальным образом спорит с холстом Рембрандта „Возвращение блудного сына” <...>».

См. также: **Дмитрий Быков,** «Никогда не путешествуйте с отцом. (Быков-quickly: взгляд-62)» — «Русский Журнал», 2004, 27 января <<http://www.russ.ru/columns/bikov>>.

См. также «Кинообозрение Натальи Сиривли» («Новый мир», 2004, № 1).

Юрий Нерсесов. Большая пересъемка истории. — «Спецназ России», 2004, № 3, март.

«Если для героев западного кино замочить русского, серба или жителя арабского Востока не сложнее, чем опрокинуть рюмку виски, то у нас в этом отношении до сих пор действуют запреты строже коммунистических. Продюсер известной боевиками „Империя под ударом”, „Спецназ” и „Русский спецназ” киностудии „Сварог” Николай Сулов самолично рассказал мне о нынешней цензуре на ОРТ. В одной из серий „Спецназа” свароговцев заставили вырезать из фильма кадр, где во время российско-американской антитеррористической операции наши радары засекают штатовский са-

молет. Потому что янки могут счесть это оскорблением своего технического гения и обидеться».

Орхан Памук. Белая крепость. Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой. — «Иностранная литература», 2004, № 3.

«Белая крепость» — уже третий роман знаменитого турецкого писателя, опубликованный «Иностранной литературой», и одновременно посмертная публикация замечательного переводчика Веры Борисовны Феоновой (1940 — 2003).

Здесь же — беседа **Орхана Памука** с Глебом Шульпяковым: «В моем Стамбуле всегда идет снег». В частности: «*В современной русской словесности Стамбул встречается нечасто. Но есть знаменитое по своей непримиримости эссе Бродского, посвященное Стамбулу. Правда, на английском языке.* <...> — Насколько я помню, это эссе было напечатано за пару лет до того, как Бродский получил Нобелевскую премию и стал знаменитым. Я в то время жил в Нью-Йорке, где моя жена получала ученую степень, и писал „Черную книгу“. Общее настроение турецких интеллектуалов — и мое в частности — в ту пору было довольно унылым. Поскольку на интеллектуальной карте мира Турция не значилась. И тут появляется это эссе в „Нью-Йоркере“. В то время я толком еще не знал, кто такой этот Бродский. Слышал, что да, русский поэт, живет в Америке, и только. И я очень внимательно прочитал его эссе, и оно меня очень и очень расстроило. Не столько тем, что Россия и Турция в нем были представлены как totally закрытые страны, где правят какие-то монструозные деспоты, где все изношено и ничего не ново. Нет. Просто представьте себе ситуацию. Я сижу в Нью-Йорке и пишу ностальгическую книгу, где действие происходит в Стамбуле. И тут появляется такой разгромный текст. Не потому, что это Бродский — повторяю, я почти ничего о нем не знал, — а потому, что это „Нью-Йоркер“, а „Нью-Йоркер“ это журнал с высокой репутацией, который читают в мире. <...> Когда посторонний человек приезжает в город, проводит там несколько дней, а потом выносит чудовищный приговор и городу, и культуре. И все это печатается, да еще в „Нью-Йоркере“! Дело не в том, хороший это город или плохой, — любовь к городу, как и любовь к женщине, не определяется логикой. Как я уже говорил, я пишу книгу о Стамбуле, но это не значит, что я пишу панегирик. Город нельзя только хвалить или только ругать. Он всегда больше, чем то, что мы о нем думаем, вот что я хочу сказать в данном случае».

Людмила Петрушевская. Три истории о любви. — «Октябрь», 2004, № 4.

«Крошка М. И., худая и подвижная как мужской живчик, внедрилась в его жизнь влюбившись». Это — стиль.

Евгений Пономарев. От Чонкина до Чонкина. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 3.

«Владимир Войнович в последнее время дважды напомнил о себе. Во-первых, написал гимн. Во-вторых, получил Государственную премию».

«Войнович неоднократно утверждал, что, в отличие от многих, пишет грамотным русским языком. Да, это специфическая грамотность советской газеты».

«Мышление Войновича дробит окружающий мир, создает примитивные двоичные системы и тут же их разрушает. На этом в большинстве случаев строится характерный юмор писателя».

Здесь же: «Удивительное дело: В. Войновича не любят многие, но даже те, кто не любит его, читать его прозу отнюдь не отказываются. <...> Писатель он сложный, и эту-то сложность мы и попытаемся разгадать. Но однозначно отрицательный и притом почти что грубый отзыв о нем Е. Пономарева хочется оспорить сразу», — возражает **Евгения Щеглова** («О солдате Чонкине, Аглае Ревкиной и других»).

М. Почитаева. Экологические традиции бардовских песен. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2003, том 5, выпуск 1-2.

«<...> наличие среди природоохранного фольклора определенной доли того, что принято называть экологическим экстремизмом».

Валерий Прозоров (Саратов). О семантических горизонтах понятия «власть». — «Логос». Журнал по философии и прагматике культуры. 2003, № 4-5 (39) <<http://www.ruthenia.ru/logos>>.

«В отечественном ценностно-семантическом пространстве различаются по крайней мере *три обширных и взаимопроникающих смысловых спектра универсального* (все равно — реального или иллюзорного по своим проявлениям и последствиям) *понятия „власть“* <...>».

Франсин Проуз. Жизнь муз. Главы из книги. Перевод с английского Сергея Нещеретова. — «Иностранная литература», 2004, № 3.

Алиса Лидделл и Льюис Кэрролл. Лиззи Сиддалл и Данте Габриэль Россетти. Лу Андреас Саломе и Рильке. Джон Леннон и Йоко Оно.

Александр Проханов. Пасха — национальная идея России. — «Завтра», 2004, № 16, 13 апреля.

«Я прожил большую жизнь. Главное желание моей жизни — я хотел бы умереть и лечь в одну могилу с отцом. Отыскать наконец его могилу и в ней вместе с ним упокоиться. И вместе с ним воскреснуть».

Публичная лекция Виталия Найшуля. Автор ваучера о либеральных реформах. — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 21 апреля <<http://www.polit.ru/research/lectures>>.

Говорит **Виталий Найшуль**, директор Института национальной модели экономики <<http://www.inme.ru>>: «Либерализм есть очень мощный способ осуществления социального контроля. <...> Либерализм является одним из самых сильных инструментов. Если вы его сняли с рынка экономики, то покажите другой инструмент, который работает так же сильно и так же эффективно. — *Валитов*: Я правильно понял, либерализм — один из самых эффективных инструментов принуждения? — *Найшуль*: Да. Социально-го принуждения».

См. также беседу **Виталия Найшуля** с Дмитрием Быковым («Огонек», 2004, № 14 <<http://www.ogoniok.com>>): «<...> один из фундаментальных законов российской жизни формулируется так: „Если чего-то можно не делать, это не делается”. Верно и следствие из этого закона: „Если чего-то нельзя не сделать, оно будет сделано любой ценой”».

Александр Пятигорский. «Философия — это род склонности, переходящей в болезнь». Беседу вела Наталья Кочеткова. — «Известия», 2004, № 60-М, 5 апреля.

«<...> философ — это человек, у которого своего дела нет».

Валентин Распутин. «Пишу о том, что нужно людям». Беседу вел Савелий Ямщиков. — «Завтра», 2004, № 14, 30 марта.

«Они действительно богатыри, нравственные богатыри. И [Владимир] Осипов, и [Леонид] Бородин, и [Владимир] Богомолов. Как скала. Ветры, бури, снегопады — несмотря ни на что стояли непоколебимо».

Станислав Рассадин. Тайная свобода равнодушных. — «Новая газета», 2004, № 19, 22 марта.

«Что же касается не пришедших на выборы, здесь — спокойное равнодушие. Которое не пугает, а, наоборот, обнадеживает. <...> А запас „равнодушия”, энергия неучастия (именно так!) суть залог общественного здоровья, постоянное напоминание власти, кто перед кем должен быть ответствен. Пуще того, возможно, даже форма того, что на высотах Пушкина и Блока именуется „тайной свободой”».

Ольга Рогинская. Глянцевое «я»: женские журналы и кризис автобиографизма. — «Критическая масса», 2004, № 1.

«В качестве путешественников по жизни они [женские журналы] продуцируют инфантилизм как основу женского мироощущения. То, что должно быть получено однажды в детстве и стать основой для получения индивидуального опыта, началом жизненного пути, предполагающего осознанный выбор и принятие решений, в журнале растягивается на годовой и жизненный цикл, оказываясь мнимой заменой собственно личного опыта. В результате (авто)биографический дискурс в „глянцево” изводе теряет временное измерение (история жизни) и приобретает пространственное (обустройство себя и жизни вокруг). Время застывает в пространственной картине мира. Так, любопытно проследить, как в женском журнале функционирует категория возраста. Акцент делается не на естественном течении времени и соответственно возрастных изменениях, сопровождающих человека на его жизненном пути, а на остановке времени, мотиве вечной молодости».

Романов Улицкой больше не будет. — «Газета.Ру», 2004, 14 апреля <<http://www.gazeta.ru>>.

Говорит **Людмила Улицкая** в беседе с *Софьей Гамаюновой*: «Дело в том, что роман — безумно тяжелая форма, требует огромного напряжения. В сущности, это дистанция марафонская. Я же по своему устройству скорее спринтер и в пространстве меньшем чувствую себя гораздо увереннее. Так что никак нельзя сказать, что мне что-то мешало писать романы последние три года. Это роман мне мешал писать рассказы и радоваться жизни. Но есть темы, которые никак не укладываются в рамки рассказа. И тогда происходит роман. По ощущению состояние писания романа напоминает затяжную болезнь. И чувство, которое я испытываю, заканчивая большую книгу, дает счастье освобождения, напоминающее выздоровление».

Ср.: «Такой крупный жанр — это настоящая марафонская дистанция, требующая от писателя безумного напряжения сил. Я же скорее спринтер, и в небольшом пространстве чувствую себя гораздо увереннее. „Шурик” целых три года мешал мне писать

рассказы и радоваться жизни. Состояние работы над ним напоминало затяжную болезнью. Закончив эту большую книгу, я испытала счастье освобождения, больше всего похожее на выздоровление», — говорит Людмила Улицкая в беседе с *Марией Кормиловой* для «Новых Известий» (2004, 21 апреля <<http://www.newizv.ru>>).

См. также: Галина Ермошина, «Биологический эксперимент» — «Дружба народов», 2004, № 4 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

См. также: Сергей Беляков, «Александр третий, или Шурик в женском царстве» — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

Андрей Столяров. Русский мир. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 3.

«Представим себе карту мира, где не существует России».

«„Европейская вечность”, судя по всему, завершилась. Пространство глобального проектирования внезапно очистилось».

«Нации — это проклятие человечества».

«Границы Русского мира пройдут там, где будут жить его граждане».

«Создав Русский мир, Россия, конечно, потеряет свою старую государственность, но она так и так потеряет ее под напором нового времени».

Страна деморализована нефтью. Беседу вела Наталья Конрадова. — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 21 апреля <<http://www.polit.ru/publicism/culture>>.

Говорит культуролог Михаил Ямпольский: «Разные люди подразумевают под стабильностью разное. Для одних — это если у них не отбирают больших денег, джипы и виллы. Но для большинства населения — это когда государство в распределительном порядке не дает им умереть. И они безумно боятся, что у них это отберут. По максимуму ты можешь что-то потерять и чем-то рискнуть, а если все по минимуму и работает на биологическое выживание, то ты просто боишься, что тебе не принесут пенсию такого-то числа. И ради того, чтобы эта пенсия пришла, люди сдают все, что касается любой формы дестабилизации, активности, борьбы. Страна поддерживается на таком уровне нищеты, которая делает стабильность формой раздачи жизненно необходимого пособия».

Юрий Табак. Уникален ли Холокост? — «Независимая газета», 2004, № 63, 30 марта.

«<...> „Это (т. е. Холокост) не должно повториться!” Однако если Холокост „уникален”, т. е. единичен, неповторим, то ни о каком его повторении речи изначально идти не может и указанный важный вывод обесмысливается: никаким „уроком” Холокост тогда не может являться по определению; либо это „урок”, но тогда он сравним с другими событиями прошлого и современности. В итоге остается либо переформулировать идею „уникальности”, либо отказаться от нее».

Михаил Тарковский. Енисейские очерки. — «Октябрь», 2004, № 4.

«Бывает, особенно по осени, накатит чем-то женским от теплого ли ветра, воды какой-нибудь особенно живой и черной среди камней или кочек, древесиной какой-нибудь наклоненной, раздвоенной и на женский стан подходящей страшно и понятно. А тут еще и добыча, и кровь, и вина твоя перед добытым зверем, и собаки, и пот, и голод — и близина к жизни и к смерти такая, что звенит и плавится все внутри, и все равно чего-то не хватает, а душа полноты просит».

См. также: Михаил Тарковский, «Бабушкин спирт» — «Новый мир», 2004, № 6.

Виктор Троицкий. «...сумма, которая заставляет нас отступить перед чужой культурой». — «Посев», 2004, № 4.

Первая полная публикация большого письма А. Ф. Лосева к П. Н. Милюкову от 8 ноября 1915 года (хранится в ГАРФе). Алексей Лосев на тот момент был, как тогда выражались, «оставлен при университете» для подготовки к профессорскому званию (вроде нынешнего аспиранта). Письмо — о жалком материальном положении таких молодых ученых. Очень современно.

Андрей Фурсов. Счет победителей. Невыученные уроки войн, проигранных Россией. — «Политический журнал», 2004, № 13, 12 апреля.

«Между 1991 и 2001 гг. Запад добился тех целей, которые ставил как программу-максимум в ходе Крымской войны в 1853—1856 гг., — загнать Россию в границы первой половины XVII в., то есть последних годов царствования Михаила, превратить ее в изолированную, без выхода к морям континентальную державу (хотя бы отчасти таким образом ослабить трансконтинентальность), уничтожить флот, военный и научный потенциал. Прекратилась ли после этого информационная психологическая война Запада против России? Сошла ли на нет русофобия? Не прекратилась и не сошла».

«Не надо демонизировать Запад; он стремится убрать конкурента — ничего личного, он просто делает свою работу; русофобия при том, что настоящих русофобов на За-

паде немало (но и не так много), выполняет инструментальную роль. И ответ должен быть симметричным — тоже ничего личного.

«Если кого винить — то только себя, за допущенные ошибки. За то, что не следовали простым правилам: „права или не права — это моя страна“ (Россия); „хочешь мира — готовься к войне“ (с Западом, с чертом, с дьяволом, тогда будут уважать, опасаться — а нам любовь и не нужна); „не верь, не бойся, не проси“ (у Запада)».

«<...> нам в нашем нынешнем положении важно теоретическое изучение любого опыта восстановления государства после унижительных поражений с последующим селективным практическим применением изученного. <...> Большевики и нацисты переиграли своих оппонентов в собственных странах и в мире (последнее в большей степени относится к большевикам, интернационал-социалистам, чем к национал-социалистам), потому что раньше других стали людьми XX в., осознали, поняли и вычислили основные системные тенденции развития века. И уж чему точно следует поучиться у большевиков, по крайней мере в 1920—1940-е гг., так это анализу современного мира и организации его изучения — несмотря на всю идеологизированность последнего <...>».

«Нынешний мир и так рушится, причем рушить его начали не мы, а Америка, и, чтобы выжить в этом мире, увернуться от летящих обломков и самим не превратиться в обломки, нам нужно злое, то есть беспощадно честное, прежде всего по отношению к себе, знание. <...> у нас мало времени, нас поставили на „геоисторический счетчик“, и счет идет не на десятилетия, а на годы. „Крымская война-2“ — вполне реальная вещь. Результаты ее могут быть для России намного более плачевными, чем таковые предыдущих западно-русских войн и ордынского господства. Это в XIX—XX вв. слабых били. В XXI в. — веке глобализации — слабых будут просто стирать. Из Истории. Навсегда».

Александр Храмчихин. Годы национальной катастрофы, или Лучшее время в истории Государства Российского. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2004, 22 марта <<http://www.globalrus.ru>>.

«Формальная легитимность всей нынешней политической системы, включая т. н. оппозицию, возникла 22 августа 1991 г. и 4 октября 1993 г. Это безусловный юридический и исторический факт. <...> Однако даже в 90-е годы, когда у власти находился творец сегодняшней системы, для ее ментальной легитимации не было сделано ничего. Интерпретация происходящего в стране была полностью отдана людям, не приемлющим новую Россию („третью Россию“, если считать первой страну до 1917 г., а второй — СССР). Вполне естественно, что 90-е, которые по многим параметрам были лучшим периодом в истории Государства Российского, воспринимаются большей частью населения, в т. ч. многими из тех, кто стал жить значительно лучше, чем при Совдепии, как годы национальной катастрофы. Поэтому, кстати, никого не смущает тот страный факт, что систему громят те, кто не просто плоть от плоти системы (Зюганов, Явлинский, Рогозин, дальше можете перечислять сами, называйте любого — не ошибетесь), но просто немислимы вне ее (речь идет, естественно, не о физическом существовании, а о статусе). Если человек открыто заявляет о преступном характере развала СССР и „расстрела парламента“ в октябре 1993 г., он не имеет права занимать каких-либо должностей в органах исполнительной, законодательной и судебной власти любого уровня, поскольку все эти органы созданы в результате вышеназванных „преступлений“. <...> „Третья Россия“ практически не имеет патриотов, по крайней мере — среди элиты, которая до сих пор в основном делится на патриотов США (или граждан мира, что примерно одно и то же) и на патриотов СССР (при том, что нынешняя Россия создана как отрицание СССР). <...> Легитимирует Россию политическая сила, которая придет к власти, четко заявив, что страна родилась 22 августа 1991 г. и именно этой страной мы гордимся. Причем надо будет сначала это заявить, а уже потом под этим лозунгом завоевывать голоса избирателей».

Алексей Цветков. На долгом перекрестке. — «Иностранная литература», 2004, № 4.

«<...> именно эти люди [Оливер Уэнделл Холмс, Уильям Джеймс, Чарлз Пирс и Джон Дьюи], выпускники кембриджского „Метафизического клуба“, стали окончательными победителями в борьбе с рабовладельческим Югом». Здесь же — фрагменты интервью с Луи Менандом, автором книги о четырех вышеперечисленных философах.

Кирилл Черевко. Первый планерист в русской поэзии. К 110-летию со дня рождения Георгия Шенгели. — «НГ Ex libris», 2004, № 15, 22 апреля.

«Меня глубоко поражала огромная работоспособность Георгия Аркадьевича — монументальный труд в 800 страниц машинописного текста по теории стихосложения — продолжение его „Трактата о русском стихе“, около 140 000 строк (что равно почти 5 томам «БВЛ») переводов стихов зарубежных поэтов <...>. Тут же публикуется (в сокращении) поэма Георгия Шенгели «Тайна кавторанга» (1944 — 1947).

Бора Чосич. Словарь попа Теодора. Перевод с сербского и послесловие Василия Соколова. — «Иностранная литература», 2004, № 3.

«Книги Боры Чосича можно читать в разных направлениях. Например, тот же „Теодор“ читается и по вертикали: названия „словарных статей“ при сквозном прочтении складываются в отдельный рассказ (от переводчика). Здесь же — эссе Андрея Битова о Чосиче.

Лев Усыскин. Кульминация советского кино. Фильмы рекордного, 1979 года. — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 20 апреля <<http://www.polit.ru/publicism/culture>>.

«Однако, на мой вкус, самым *аутентичным* фильмом семьдесят девятого года стала почти никем не замеченная картина Аиды Манасаровой „Утренний обход“...»

«И, наконец, два шедевра мирового калибра, созданные советским кино в тысяча девятьсот семьдесят девятом году. Первый из них почти никто не видел — лишь *особо интересующиеся и специалисты*. Я имею в виду „Грузинскую хронику 19 века“ — фильм, по-видимому, самого талантливого грузинского режиссера последних десятилетий Александра Рехвиашвили...»

Марта Шарлай. Поэзия Бориса Рыжего: избирательное сродство. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 5.

Рыжий и Фет. Рыжий и Лермонтов. Рыжий и Есенин. Рыжий и Блок. Рыжий и Гандлевский.

Ярослав Шимов (Прага). Пир побежденных. Современная демократия как путь к катастрофе. — «Логос». Журнал по философии и прагматике культуры. 2003, № 4-5 (39).

«<...> об *активной самообороне* евро-американской цивилизации».

Михаил Эпштейн. Проективный словарь философии. Новые понятия и термины. № 12. — «Топос», 2004, 21 апреля <<http://www.topos.ru>>.

«Сексуальность, так сказать, первична, цивилизация вторична, а эротика *третична*, это уже не нагое и не прикрытое, а раздетое».

«Это время для нас абсолютно не утрачено...» Михаил Айзенберг, Лев Рубинштейн, Михаил Шейнкер. — «Критическая масса», 2004, № 1.

Говорит Лев Рубинштейн: «Я не думаю, что можно говорить об академическом уровне исследования андеграунда. Не потому, что это исследование не соответствует какому-то уровню. Просто пока это явление — то есть андеграунд — существует не только в виде корпуса текстов, но и физически. Оно еще не затвердело. Многие из нас еще живут не то чтобы этими прежними представлениями, но этими чувствованиями. О себе я это могу точно сказать. На многие культурные вещи я реагирую как человек андеграундной культуры, я не перестал им быть, хотя моя жизнь, культурные и жизненные обстоятельства здорово изменились. Это не хорошо и не плохо. Это так. Поэтому я не готов чувствовать себя той бабочкой, которую рассматривают под микроскопом». Разговор в редакции «Критической массы» связан с появлением монографии Станислава Савицкого «Андеграунд. История и мифы ленинградской неофициальной литературы» (М., «Новое литературное обозрение», 2002) и «литературной энциклопедии» «Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е» (составители Вячеслав Долинин, Борис Иванов, Борис Останин, Дмитрий Северюхин; М., «Новое литературное обозрение», 2003).

Ювелир или хлебопек? Беседовал Сергей Шаргунов. — «НГ Ex libris», 2004, № 14, 15 апреля.

Говорит поэт и переводчик Михаил Синельников: «<...> я был близко знаком в последние его годы с последним акмеистом Михаилом Зенкевичем. Смею сказать: из живых встречаемых поэтов он мой единственный настоящий учитель. Зенкевич повлиял на мою поэтику, показав, что форма может быть не мертва! Конечно, вся поэзия XX века замешена на основе брюсовского стиха. Брюсов создал русский стих, на котором писали и Блок, и Белый, и даже Бунин, и газетные графоманы. Стих как отчеканенная валюта. Именно Зенкевич мне показал, что этим, часто мертвым, ямбом можно выразить живое».

Александр Янов. Нелиберальная демократия и либеральная оппозиция. О политических последствиях терминологических заблуждений. — «Независимая газета», 2004, № 78, 16 апреля.

«<...> свобода требует ограничения демократии».

Составитель Андрей Василевский.

«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Зеленая лампа», «Звезда», «Знамя», «Новое литературное обозрение»

Алексей Алехин. Суп из топора. — «Арион». Журнал поэзии. 2004, № 1 <<http://www.arion.ru>>.

О 62-м, поэтическом, номере «Нового литературного обозрения».

«Вообще-то я б на месте поэтов обиделся. Избавившись от критики, подменив ее „актуальным“ литературоведением, потеряли тот этап, когда над стихами просто размышляют, когда ими любят, когда их кто-то любит и учит наизусть: когда они делаются частью живой культуры — до того, как стать „объектом“ изучения. Это как если бы тебя из родильного дома, минуя детскую, школу, дружбы и ссоры, вообще всю жизнь, — прямо поволокли б в прозекторскую. Но для того, чтобы обидеться, надо хотя бы самому чувствовать за собой иные достоинства, помимо „инновационных“. <...> Поэзия и без того достаточно жестокий род занятий. Она требует от решившего посвятить себя ей рискованного самопожертвования: целой жизни, причем безо всяких гарантий. Грех на том, кто соблазняет. Кто внедряет мысль, что стихи можно не написать, а построить — если следовать достаточно остроумной „концепции“. И жаль соблазненных, целыми табунами переезжающих нынче с фестиваля на „конференцию“ и обратно на фестиваль, бубнящих там и тут свои „тексты“ и, кажется, всерьез верующих, что они — участники „поэтических практик“ в „эпицентре поэтического бума“.

Печаль <...> в том, что вся эта бурная деятельность — с точки зрения поэзии — впустую. Это ведь иллюзия, что, если плохие стихи хорошо объяснить, они сделаются хорошими».

Георгий Владимов. Долог путь до Типперэри. Роман. Часть первая. Публикация Евгении Сабельниковой. — «Знамя», 2004, № 4 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Начало автобиографического романа-трилогии, охватывающего события с августа 1946 по август 1991 года. Вторая и третья части сохранились в фрагментах. В названии — солдатская песенка наших союзников времен Первой мировой — «It's a long way to Tipperary». Эта часть романа, условно говоря, посвящена походу двух пятнадцатилетних «оболтусов-суворовцев» к опальному Михаилу Зошенко. Но это очень условно. Эпос переплетается здесь с лирическим мемуаром, время пульсирует и растягивается, герой заглядывает в свою последующую судьбу из предыдущей. Кстати, фрагмент этой публикации я уже читал в 6-м выпуске литературного питерского альманаха «Камера хранения» (1997). Фрагменты следующих частей журнал также надеется со временем напечатать.

«Господу богу прошение от неверующего в него». «Разговоры с богом» Геннадия Русакова читают Владимир Губайловский и Евгений Ермолин. — «Дружба народов», 2004, № 4 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>.

Оба отклика — «Стихи — не слезы» и «Плач и зов» — в общем-то об одном: безжалостна ли «должность поэта»? Оба откликнувшихся критика крайне взволнованы деликатным поводом разговора и даже несколько обеспокоены фактом собственной критической интонации (отдельные стихи и — в целом — поэзия Г. Р. им дороги, что, впрочем, не мешает подвергать свои догадки — сомнению в собственной правоте).

Грузинский номер «Дружбы народов». — «Дружба народов», 2004, № 3.

Все восемь рубрик номера — от «Прозы и поэзии» до всегдашнего *лев-аннинского* «Эха» — приготовлены либо грузинами, либо — «по-грузински». Большинство прозаиков (за исключением двух имен), представленных здесь, известны и читаемы еще с советских времен. В журнале публикуются: прежде всего уже нашумевший семейно-исторический роман **Отара Чиладзе** «Годори» (который мы подробнее отметим в следующем обзоре), страшноватая беллетристика **Резо Чейшвили**, саркастичные рассказы **Реваза Мишвеладзе**, «Грустные истории» **Годердзи Чохели**, живописно-лиричная новелла-воспоминание **Джемала Карчхадзе** и другие сочинения. Во вступлении к грузинскому номеру, названному «Безвизовый визит», главный редактор «Дружбы народов» **Александр Эбаноидзе**, рассуждая о грузинской прозе, отмечает: «К сожалению, в нынешних условиях у нас нет полного представления о литературном процессе последнего десятилетия (в номере представлен его беглый обзор¹), но знакомство с доступными и досяга-

¹ Сделанный 38-летним поэтом и прозаиком **Шотой Иаташвили**, который, представляя новую грузинскую прозу, среди прочего рассказал и о квазипостмодернистском романе некой **Дианы Вачнадзе** «Ната, или Новая Юлия» (2003). Фишка, как говорят новые молодые, в том, что **Д. Вачнадзе** — одно из литературных имен самого **Шоты**. О чем он, впрочем, и рассказывает здесь же, в интервью **Наталье Игруновой**. Отмечу и то, что свой обзор **Шота** не

емыми публикациями показало, что в новейшей грузинской литературе можно найти что угодно — грузинскую разновидность постмодернизма, минимализма, гиперреализма, мистицизма, неомодернизма, шокирующего эротизма, мнимого историзма, иронического сентиментализма, даже куртуазного маньеризма — словом, знаменитое „стендалевское зеркало” разбито вдребезги, и в нем нелегко разглядеть отражение реальной жизни, что, конечно же, по-своему тоже свидетельствует о состоянии общества. Однако отношение к писательству как общественно значимому делу, ответственность за написанное слово — трезвое, зоркое зеркало сберегли писатели, воспитанные на классике и утвердившие себя вопреки цензуре в нелегкие для творчества советские времена».

Из документально-публицистических текстов отмечу мозаичное исследование **Гагика Карапетяна** «Сергей Параджанов/Эдуард Шеварднадзе. Кто, где и как прервал 15 лет молчания Мастера», подготовленную **Мамукой Арешидзе** «Хронику событий в Грузии: 1989—2004» и блок мнений «„Революция роз” — взгляд из Тбилиси и Москвы».

Украшением номера считаю маленькое, виртуозное эссе крупнейшего грузинского писателя XX века **Григола Робакидзе** (перевод Ии Мухранели), написанное в начале 20-х годов — в ответ на тогда же вышедшую статью «Думы о Грузии» некоего Николоза Мицишвили. Очевидно, это грузинский вариант сюжета «Чаадаев — Пушкин»: Мицишвили взял под сомнение самость, промыслительность и благодать Грузии, а **Робакидзе**, встав на горло своему естественному эмоциональному взрыву и попытавшись рассуждать отстраненно, — ответил. Вышло историософское и страстное признание в любви — выпавшему на долю народа (и отдельно взятого человека) — грузинскому Пути.

Евгений Добренко. Молоко современности и творог истории: нарратив как способ производства социализма. — «Вопросы литературы», 2004, № 2, март — апрель <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

Стереоскопическое исследование многолетнего «репрезентационного» книжно-журнального проекта 30-х годов, являющегося важнейшей частью нового исторического мифа, замаскированного под общественную формацию. Чаще всего этот миф называют «историей становления пролетарского общества». Речь идет о грандиозной «Истории фабрик и заводов», «Былях горы Высокой», «Людах Сталинградского тракторного» и других инструментальных частях сталинского *перепиывания истории*. Тонкая была работа, *художественная*. Удивительно то, что на первых этапах этой истории описательно-документальная часть жизни *новых* рабочих, только приучающих себя к будущему статусу *хозяев* жизни, дана весьма правдиво, со всей неприкрытой грязью (в прямом смысле слова) «проклятого прошлого» и не менее свинских первых этапов «перековки». Согласно указаниям РАППа, использовались дневники и живые свидетельства. Довольно скоро самих «хозяев» (среднюю и нижнюю часть пролетарского пирога) живописно представил Зошенко. А вот столь подробный рассказ о замесе и раскате теста попадает мне впервые.

Правда, текст, подписанный «г. Нью-Йорк (США)», немного перегружен традиционным филологическим «эсперанто», но это, надеюсь, не помешает живым читательским впечатлениям. Одни цитаты чего стоят. Жутковато.

К 160-летию Н. А. Римского-Корсакова. Из переписки Н. А. Римского-Корсакова с В. Я. Ястребцовым (1905—1907). Публикация, подготовка текста, вступительная заметка, сопроводительный текст и примечания Людмилы Барсовой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

Эпистолярный диалог великого композитора — примерно с тем, кого когда-то так отчаянно призывал-заклинал Мендельштам, мечта о *разговоре* хотя бы на колючей лестнице. Композитор заканчивал свои письма *нотными* росчерками, нежно поругивал своего визави за восторги и, похоже, был им/ими счастлив. Собеседник-то был любящий, понимающий и «необходимо-разжигательный».

Вероника Капустина. Рассказы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 4.

О детях и взрослых, их неуловимом «перетекании» друг в друга. Чуточку «сонные», но очень ладные, как и ее стихи (см. «Новый мир», 2002, № 9).

ограничил молодежь. Старшее поколение — от родившегося в 1920-м **Отара Чхеидзе** (в номере публикуется его двухлетней давности интервью **Белле Шалвашвили**) и **Чабуа Амирэджби** (род. в 1921) до «языкового колдуна» **Гурама Дочанашвили** (род. в 1939) и оформившего этот номер «Дружбы народов» знаменитого сценариста, режиссера и прозаика **Резо Габриадзе** (род. в 1936) — здесь тоже представлено.

Александр Карасев. Рассказы. Вступительное слово Владимира Маканина. — «Дружба народов», 2004, № 4.

Их три, и все — о последней чеченской. Вот — из эпилога первого, он называется «Запах сигареты»:

«Дождь прекратился, из-за двенадцатиэтажной бетонной коробки вышло и робко засияло солнце. Я с силою вдавливаю до фильтра скуренный окуроч в мятую жесть кофейной банки: „Все, довольно об этом!“ Внизу, по мокрому, испещренному мелкими лужицами асфальту идет, слегка прихрамывая, парень лет двадцати. Его движение неожиданно обрывается. Он как вкопанный застывает у невидимой преграды, собравшаяся сделать шаг его нога повисает в воздухе.

Господи, что же происходит с нами, если от прозрачной паутинки, одного из чудесных творений Твоих, мы шарахаемся как от противопехотной мины?»

А дальше идет длинный, полужирным шрифтом список «бойцов 1-го ВОПа», рядовых, ефрейторов, сержантов, которым посвящен этот рассказ.

Отец Евгений Касаткин. Через тернии. Записки протоиерея. — «Зеленая лампа». Литературно-публицистический альманах. Иркутское отделение Союза российских писателей. 2003.

Живущий в Иркутске (род. в 1934) протоиерей Крестовоздвиженской церкви вспоминает свои мытарства во взаимоотношениях как с церковным начальством (о. Евгений принял сан священника в 1967-м), так и с Большим домом. Эти записки сами собой ложатся на ту условную полку, где уже стоит, скажем, ретроспективная исповедь мирянина — писателя Л. Пантелеева (книга «Верую», главы из которой были впервые опубликованы в «Новом мире»). Нельзя забыть рассказ о Евгении об иркутском архиепископе Вениамине, десять послевоенных лет «отбывшем» на Колыме. Там он служил в санчасти лагеря, что не только спасло ему жизнь, но и дало возможность тайно молиться. На настольном календаре он нарисовал медицинский крест красного цвета и для маскировки сделал надпись «Чистота — залог здоровья». И вот на этот красный крест владыка тайно молился.

Бахыт Кенжеев. Гроза над Средней Азией. — «Знамя», 2004, № 4.

*Уйдет, неласковая, сквозь долгую зевоту
долдоня — музыке наперерез —
перевернутое пушкинское «что-то
мне грустно, бес»,
и пораженческая страсть невытою гадалкой
воспламенит воображение, бубня
о Лао-цзы, и друг лысеющий в тусовке жалкой
чурается меня.*

...И если на место «друга» подходит, пожалуй, не один сотоварищ, «чурающийся» «бахытика» (как он сам назвал себя в одном из уже давних стихов), так и не освоившего *набоковскую* буржуазность поведения и «правильную» манеру держать себя в публичном «литературном сообществе», — то уж «учитель бедный» в последней строфе не имеет «выбора кандидатов». «А уж если пить учил, то — повышая градус, / схитрить, вильнуть — но только не уплачивая в срок / унылым мытарем на скорбь, огонь и радость / исчисленный налог». Это — о поэте и философе Александре Сопровском, чье великолепное эссе о Книге Иова было однажды напечатано в нашем журнале.

Леонид Костюков. Путешествие из Петербурга в «Москву». — «Арион», 2004, № 1.

«Всерьез говоря о Петербурге, надо наполовину говорить о Москве. Но не как о равноценной альтернативе, а, скорее, как об искушении, как о мифе (курсив автора. — П. К.). Зададим нелепым вопросом: а есть ли в Москве Петербург? Дворы-колодцы, узкие каналы, горбатые мостики, львы перед подъездами? Гость столицы сомневается, опытный москвич размеренно кивает: *найдутся*. Точно так же есть и люди (поэты — в том числе), ведущие немосковский образ жизни. <...> Поэтому, в частности, нелепо переезжать из Москвы в Питер. У нас все есть. Вообще, *москвич не эмигрирует* — в том смысле, что москвич-эмигрант перестает считать себя москвичом. Петербуржец эмигрирует».

Мария Котова, Олег Лекманов. Плешивый щеголь (из комментария к памфлетному мемуарному роману В. Катаева «Алмазный мой венец»). — «Вопросы литературы», 2004, № 2, март — апрель.

Замечательно написанное исследование, или, пользуясь приведенным в тексте определением Б. Я. Бухштаба, — «литературоведческое расследование», освежающее и сам катаевский текст, и сложившееся отношение к нему — как широкой публики, так и профессионалов.

«Медленное чтение романа и тщательное сличение его текста с мемуарными источниками и документами эпохи позволяють со всей ответственностью утверждать: в произведении Катаева нет ни одного (sic! — П. К.) полностью вымышленного эпизода. Даже самые малодостоверные на первый взгляд сюжетные линии „Венца” в итоге выдерживают проверку на подлинность».

Примеры (все, все!) поражают своей убедительностью.

Джозеф Максвелл Кутзее. Нобелевская лекция. Он и его слуга. Перевод с английского Нины Жутовской. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 3.

Тексту лекции предшествует статья Ларисы Залесовой-Докторовой «Мир Джозефа Максвелла Кутзее», где подробно рассказывается о шестидесятичетырехлетнем авторе девяти романов и нобелевце прошлого года. Романы Кутзее — жестоки, герои — «поперечники», стремящиеся к свободе. Но быть свободным, по Кутзее, не значит быть счастливым.

Вместо лекции лауреат прочел главу из своей новой книги о Робинзоне Крузо: «высказался о пользе обучения и сочинительства и защитил право писателя преобразовывать происшедшие события в момент их описания. Когда его Робин был молод, он хотел, чтобы молодым писателям было запрещено обращаться к сюжетам, уже использованным другими. Но теперь, к концу жизни, он понял, что в мире мало сюжетов, и если молодых писателей обвинять в плагиате, то наступит молчание».

У нас не наступит.

См. также рецензию Михаила Эдельштейна «Жизнь и время Джона К.» («Новый мир», 2004, № 5).

Александр Кушнер. Белый флот. — «Знамя», 2004, № 4.

Замечательная подборка. Ближе к концу — пронзительно-потаенный стихотворный «комментарий» к запечатленным в Евангелии словам Спасителя о собирании сокровищ. Без исконно «кушнеровской» любви к оставляемым здесь родным вещам, вестимо, не обошлось. И так — от плоскости столешницы с вещами на ней и плоскости тетради, переплавляющей сердечное влечение к слову и музыке, — с трогающей надеждой:

.....
 Тот, кем обещано нам восполнение утра,
 Он о стихах ни намеренно, ни ненароком
 Нам ничего не сказал, но, быть может, им рад.
 Лучшие так и написаны, как перед Богом.

Как неожиданно получилось это прокатившееся, хрустальное *ни-не-на* — во второй строке!

Лирика и сатира Лазаря Лагина: архивные штрихи к портрету. Публикация Н. Л. Лагиной. (Рубрика «Юбилейное: смесь»). — «Новое литературное обозрение», № 64 (2003, № 6) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.

Лирика — это «Из поэмы „Ночь в контрразведке” с финальным вздохом: «Теперь, наверно, в небесах погром...», а сатира — это «обидная сказка» «Лев и зайцы», где над зверушками верховодит звериное «черное духовенство», а при своей кончине цари зверей принимают «монашеские чины».

Все-таки не зря я так не любил Хоттабыча, басни для взрослых Сергея Михалкова и журнал «Крокодил». Николай Носов и Джанни Родари тоже воспевали «направляющую и руководящую», но в их иносказательности хоть брезжил какой-то искренний задор и юмор, а от этой продажной и мракобесной «сатиры» так и несет дубовым залом ЦДЛ и светливо листаемой «Правдой».

Владимир Медведев. Изольда. Рассказ. — «Дружба народов», 2004, № 4.

Это не рассказ, а плотный, заботливо подобранный коллаж из газетных материалов (интервью, реклама, «срочно в номер!» и проч.), отрывков из думских стенограмм, отчетов, публичных долей и распечаток телеэфира. И даже надписей на заборе. Все крутится вокруг личности знаменитого «мусорного» олигарха Марка Каразова, сколотившего состояние на переработке отходов. Олигарх решил вступить в брак со своей собачкой, борзой Изольдой, которую он сперва понемногу выводит в свет, учится представлять публике и прессе и уже готовит к наследованию компании... Общество же бурлит: дискуссии, споры, митинги. Желтая пресса волнуется. Информационный повод растет вместе с рейтингом. Вспоминается Калигула со своим сенатским конем... Корооче, приложение к «Незнайке на Луне» для взрослых.

Впечатляет как объем проделанной Медведевым «работы», так и точность попадания во все информационные стили. Собственно, выдумывать-то много не пришлось. Да я бы и не удивился, случись все вьяве. Выдвигали же у нас денщика (пардон, телохранителя) в президенты. И ничего. А тут всего лишь собачка.

Елена Невзглядова. О современном лиризме. — «Арион», 2004, № 1.

И снова о 62-м, поэтическом, номере «Нового литературного обозрения».

В отличие от статьи Алехина, здесь более чем трудолюбиво разбирается содержательная сторона «феномена современной инновационной поэзии». И не только.

«Нет и не может быть *другой* поэзии в точном смысле слова, но вот филологи, за редким исключением, по сравнению с поэтами — действительно другие. Природа мышления другая. (Это, конечно, так, но у инновационных поэтов давно имеются, как видим, свои собственные филологи, причем половина из них самих — инновационные поэты. По совместительству. Такой вот замкнутый и постепенно расширяющийся круг. — П. К.). Ничего печального в этом нет, и те способности, которыми обладают представители науки, тоже могут вызывать восхищение; только надо, чтоб ученые понимали, что поэтические тексты требуют для правильного прочтения специальных (врожденных) данных. Никого ведь не удивляет и не уязвляет, что партитуру читают одни профессионалы-музыканты. А поэтическим слухом, позволю себе заметить, обладают гораздо реже, чем музыкальным».

На мой взгляд, самое печальное в том, что некоторые из ведущих «инноваторов» (как филологов, так и «авторов текстов») этим слухом очень даже обладают. Перефразируя мысль Дельвига, донесенную до нас Пушкиным, для многих из них цель поэзии — *политика*. Особая, литературная, связанная и с определенной властью, и с определенными деньгами, и с влиянием-формированием. Примечательно, что и в ней тоже бывают свои «двойные агенты», понять которых вашему обозревателю, увы, не дано. Но некоторых из них я лично знаю.

Р. С. А кто-то ведь скажет: пусть ругают, пиар-то идет. И будет прав: идет. Все в дело идет.

Владимир Новохатко. «Так за царя, за Родину святую...» — «Вопросы литературы», 2004, № 2, март — апрель.

Подробные, совершенно *перестроечные* по изложению воспоминания заведующего редакцией легендарной книжной серии «Пламенные революционеры» (для которой писали Аксенов, Войнович, Гладилин, Окуджава, Эйдельман и другие шестидесятники). На десятилетнем юбилее редакции (1978) ее авторы и сотрудники, «обнаружив приличествующую случаю недожинную историческую память», случилось хором (см. заголовок мемуара), не убоившись спящей неподалеку уборщицы.

Все курсивы в последующей цитате — наши.

«Отображаемая в книгах судьба многих ее героев была трагичной: они погибали в тюрьмах, на виселице, на гильотине, у расстрельных стенок и рвов, в концлагерях. Но *поразило* в нашей работе над рукописями другое: ни один, обращаем внимание, ни один из них за всю мировую историю не достиг поставленной перед собой цели — создать царство Божие на земле, справедливое общество. Достоевский говорил, что зло жизни коренится не в несовершенстве общества, а в несовершенстве человека. Ошибка революционеров была, *очевидно*, в том, что они брались за дело не с того конца, а в других, *действовали не убеждением, а насилием, террором*. <...> Именно это историческое, гражданское, социальное бесплодие бесплодие революционеров и жестокость употребляемых ими средств вызывало у читателей подспудное — а судя по читательским письмам, часто и осознанное — неприятие их усилий, их нравственного облика. Особенно ярко, ощутимо это выявлялось по отношению к таким романам, как „Нетерпение“ Юрия Трифонова или „Две связки писем“ Юрия Давыдова. Примечательно, что эти и подобные им книги становились объектом резкой критики со стороны отдела пропаганды ЦК КПСС».

Вадим Перельмутер. Стихи. — «Арион», 2004, № 1.

.....
 Возле дома теперешнего невнятно рябит ручей,
 Словно струит строку, не давая толком прочесть.
 Забывается все, кроме самых пустячных вещей,
 Например, как впервые не смог заснуть лет в шесть.

Как пропитанная легким потрескиванием паркета
 Невесомая тишина совсем не была страшна,
 И рассеянный луч то ли звездного, то ли фонарного света
 Падал наискось, искажал крестовину окна...

Никогда не знаешь — что затаилось за дверью,
 Потому подчас и мерещится, что именно там
 Воздается каждому не по вере, но по неверью,
 По недоверью к чьим бы то ни было опытам и словам.

.....
 (Из стихотворения «*Et cetera*»)

Николай Работнов. «Война, в которой все — перебежчики». — «Знамя», 2004, № 4.

Тема, в общем-то, та же, что у А. Алехина и Е. Невзглядовой (см. выше). Только охват пошире, чем 61-й и 62-й номер «НЛО». Несмотря на человечность, то бишь эмоциональность-оценочность, все здесь очень подробно и, я бы сказал, исчерпывающе академично. О «филологически углубленной критике поэзии», одним словом.

(По)читателям Ильи Кукулина, Шиша Брянского и Псоя Короленко будет особенно (не)интересно.

Геннадий Русаков. «Я держусь за родные одежды этих слов, этих строк, этих дней». Из книги «Стихи Татьяна». — «Дружба народов», 2004, № 4.

.....
 Я тоже патриот, но позднего разлива:
 и мне мила страна, когда она смазлива.
 А тут сперва запой, а после мордобой...
 Прикажете сгонять посылного к варягам,
 на Калке поумнеть, ливонцев бить с оттягом,
 к Европе лезть в окно, потом в Китай гурьбой?

Любовь тогда проста, когда негромки чувства.
 А ежели она — почти что вид искусства,
 психоанализ, нет — одно дранье волос,
 поскольку «наших бьют», евреи в Израиле
 и НАТО?... А хлеба, как водится, сгноили.
 И демокрапит март... Но вроде обошлось.

Как быть, читатель-друг, когда такая слякоть,
 заклостаны сады и вечно тянет плакать,
 шесть месяцев в году хронический рассвет?
 А поезда гремят в свои Тмутаракани,
 в тартарары, вразнос, и чай зацвел в стакане...
 И ничего тебе страшней и ближе нет.

«...Сама хозяйка своей судьбы». Письма Галины Старовойтовой. Публикация, вступительная заметка и примечания Ольги Щербининой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 4.

Три письма на житейские темы: 1974, 1982, 1985 годов. Из примечания: «Старовойтова любила общество, большие компании; на днях ее рождения, на Новый год в их с мужем (социологом М. В. Борщевским. — Л. К.) квартире в Ленинграде, затем в Москве собиралось до полусотни человек. Пели, читали стихи, свои и чужие, больше „запретные“: Мандельштама, Цветаеву, Бродского; спорили о политике, обменивались номерами „Хроники текущих событий“. Помню, где-то в середине 1980-х выводили „Боже, царя храни“. <...> Круг общения Старовойтовой был обширнейшим, включая „провинциалов“, которые приезжали, звонили, писали (не было в ней и следа плебейского высокомерия). Галина обычно входила в подробности обстоятельств собеседника, любила вместе с ним обсуждать его дела, давать советы, помогать, устраивать».

Как видим, *державное* спивалы не только в сумеречных стенах московского Политиздата (см. выше — воспоминания В. Новохатко).

Бenedикт Сарнов. Тамара ему, конечно, изменила. — «Вопросы литературы», 2004, № 2, март — апрель.

Памфлет, спровоцированный прошлогодней книгой академика-экономиста Николая Петракова «Последняя игра Александра Пушкина». Коротко говоря, петраковская сенсация в основе своей не нова и выдержана, по мнению Б. Сарнова, в старых *советских* гострадициях. Но помимо сообщений о том, что Пушкина убили самодержавие и царь, неровно дышащий к первой петербургской красавице, «вспомогательные» озарения академика РАН развиваются весьма причудливо. Вот их перечень, без объяснений: 1. У Идали Полетики с Натальей Николаевной встречался отнюдь не Дантес, а сам царь, который никакого пистолета к виску, естественно, приставлять и не думал. 2. Оскорбительные «дипломы рогаонца» изготовил и стратегически разослал друзьям... *сам Пушкин*. 3. Наталья Николаевна была Дантесу до лампочки; ухаживать за ней, изображать влюбленность было партийным заданием, которое наш умный Пушкин легко разгадал. 4. А «заказал» поэта, как вы уже догадались, самолично Николай Палкин.

Гасан Гусейнов. Революционный символ и коммерция. — «Новое литературное обозрение», № 64 (2003, № 6).

Печатается в *блоке* «Революционный дискурс как коммерческий бренд».

Оказывается, бренд «Сталин» и иже с ним — это продукт новой, «протестной» эстетики, не зря ведь, по словам Псоя Короленко, сам Иосиф Виссарионович был в

душе... ребенком и обэриутом, «литературным хулиганом». «Это превращение не нужно связывать только с высокой скоростью реабилитации советско-чехистской России в постлежцинскую эпоху и вообще с политической злобой дня. Она [эстетика] в том более общем духе времени, в тех людях, для которых Муссолини и Калигула, Гитлер и Наполеон — лишь торговая марка крутизны. Весело раскрутить ее, а не умно кручиниться о ее жертвах — вот, как им кажется, задача момента <...> все покажет политический и коммерческий успех их проекта».

Я понимаю, «им» еще ни разу весело не раскручивали собственные кишки по периметру спинки стула и не мочились в лицо. А так... что ж, занимательно иной раз бывало некоторым представителям старшего поколения — в Сухановской-то, например, спецтюрьме, славящейся своими забавными аттракционами. Сухановский луна-парк такой.

«Это представление, сколь бы вопиющим ни был разрыв тебѣ с личным опытом миллионов людей и историческими представлениями образованного меньшинства, с неумолимой силой вытесняет из медийной среды Сталина, каким его „помнят“ читатели Александра Солженицына, Василия Гроссмана или Анатолия Рыбакова». Ну ничего, ведь эти читатели с их закавыченной памятью — носители старой, отжившей, скучной и занудной эстетики (не умеющей встроить себя в современный рынок, в жизненно необходимую нам всем «медийную» среду). Отработанный материал.

Анна Трушкина. Ореховый пирог. Рассказ. — «Зеленая лампа». Литературно-публицистический альманах. Иркутское отделение Союза российских писателей, 2003.

Прозаический дебют филолога. На мой взгляд, удавшийся — и сюжетно, и интонационно. Рассказчица (род. в 1972) ведет непрерывный «воздушный» разговор со своей бабушкой, которую она никогда не видела и которую уже обогнала по количеству прожитых лет. Всматриваясь в чужую-родную жизнь, отразившуюся лишь в вещах, фотографиях да семейных былях, героиня беспрестанно вглядывается и в свое сегодняшнее бытие. Как завороженная, она проверяет себя *той* жизнью, боязливо-отважно примеряя к себе такую привлекательную, ясную и таинственную судьбу двадцатисемилетней Ксенечки. Мне сразу захотелось читать после фольклорного эпиграфа и первых трех фраз: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, / Держи сердце высоко, а головку низко... Моя дорогая! Больше всего на свете мне бы хотелось с тобой встретиться. Увы».

Как просто и вместе с тем неожиданно глубоко: «Больше всего на свете».

Арнольд Харитонов. Заглавная роль. Рассказ. — «Зеленая лампа». Литературно-публицистический альманах. Иркутское отделение Союза российских писателей, 2003.

Известный иркутский писатель и журналист (род. в 1937): сцены из жизни провинциального театра и исполнителя роли Дон Гуана — Аркадия Фридриховича Валя. О вживании в роль и последствиях этого. Нежный беллетристический вариант известной песни Александра Башлачева про водовоза Грибоедова, однажды попавшего в кинотеатр на фильм о войне 1812 года. Здесь финал тоже грустный, но не столь трагический: чуть-чуть шукшинский.

Глеб Шульпяков. Чертов палец (о поэзии Олега Чухонцева и стихах из его новой книги «Фифиа»). — «Арион», 2004, № 1.

«Большой плюс наших дней в том, что нынешнее время не терпит полутонов (странно, а мне кажется, нынешнее время все (с)терпит; и на улицу выходить не надо — включите телеящик, зайдите в Интернет, откройте пару-тройку светских газет или журналов. — П. К.). <...> Если брать крайности, то картина будет такой. По отношению к настоящему времени поэты делятся на тех, кто его демонстративно игнорирует, и тех, кто идет у него на поводу. То есть по стихам первых дальний потомок (если эти стихи до него дойдут) никогда не поймет, когда, где, при каких обстоятельствах жил автор: в какое время года и суток писал, что имел на обед или ужин и какой город или деревня лежали у него за окошком. Напротив, стихи вторых настолько будут перегружены деталями реальности, что условный читатель будущего просто не поймет значения многих слов из их словаря.

По мне, оба варианта — это одна большая и очень злая шутка времени, которое не терпит ни панибратства, ни равнодушия и наказывает единственным способом: забвением (забавно, что под оба варианта этой грозной схемы в том или ином положении могут подпасть и Пушкин, и Грибоедов, и Цветаева, и Мандельштам, вот ведь беда какая. И, кажется, пока не особенно наказаны. — П. К.).

Выгораживая в поэзии частную территорию вне времени, ты расписываешься в страхе перед настоящим, в своей неспособности найти для него язык. Заискивая со временем, ты расписываешься примерно в том же.

Но есть третий и, скажем так, срединный путь: когда поэт принимает правила игры своей эпохи. Когда он подыгрывает времени. Притворяется временем. Принимает его формы. Свободно впускает время в свои строки и растворяет время в них. При-

учает рифмой и размером, ритмом, а приручив, начинает навязывать свои правила игры. Собственно, это единственный путь, на котором поэт может если не совладать со временем, то уж поспорить на равных. Олег Чухонцев, на мой взгляд, поэт такого, третьего, пути...»

Собственно о работе Чухонцева с нашим хаотичным, «смещенным» временем тут рассказано довольно занимательно и образно. Между прочим, о своем понимании некоего *третьего* пути как в жизни, так и в поэзии иногда высказываются не только критики, но и сами поэты. Прямо внутри стиха (см. прошлогоднюю книгу Юрия Кублановского «В световом году», стихотворение «Третий путь»).

См. также рецензии Дмитрия Полищука и Ирины Роднянской на новую книгу Олега Чухонцева в июньском номере «Нового мира» за этот год.

Станислав Яржембовский. Дырка от бублика. Заметки о современной прозе. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 3.

Блестящая, жесткая, убедительная статья, в которой автору не пришлось называть по имени *ни одного* представителя этой «пластилиновой», как он ее называет, прозы. Очевидно, не было нужды. Читатель сам подставит, если захочет.

IN MEMORIAM. Алексей Матвеевич Зверев (21 октября 1939 — 14 июня 2003). — «Новое литературное обозрение», № 64 (2003, № 6).

О нашем выдающемся филологе-зарубежнике проникновенно и дельно пишут Борис Дубин и Т. Венедиктова. Вот из ее «Воспитателя среды...»: «Он обучал подчас и неучастием, как бы демаркирующим границу между профессионально достойным и профессионально сомнительным. Человек самодостаточный, независимый и нетерпимый к давлению, он не был воспитателем-дидактом — скорее *питателем* того окружения, в котором оказывался».

Здесь же приложен «Библиографический список» публикаций А. М. Зверева (без сведений о его составительских, комментаторских и переводческих трудах и бесконечных предисловиях к журнальным публикациям; 254 позиции, последняя датирована маем прошлого года).

Составитель Павел Крючков.



ПОПРАВКА

Редакция «Нового мира» и автор «Книжной полки Павла Крючкова» («Новый мир», 2004, № 3) приносят свои глубочайшие извинения за досадную неточность, допущенную в рецензии на книгу «Под Вороныхинскими сводами» (СПб., 2003).

Составителем этой антологии стихов и воспоминаний является, конечно же, замечательный деятель культуры, геолог и выпускник Ленинградского горного института Виктор Алексеевич Царицын.

Приносим также искренние извинения поэту и переводчику Владимиру Британишскому.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

10 лет назад — в № 7 за 1994 год напечатана статья А. Солженицына «„Русский вопрос“ к концу XX века».

35 лет назад — в № 7, 8, 9 за 1969 год напечатан роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».

40 лет назад — в № 7, 8 за 1964 год напечатана повесть Юрия Домбровского «Хранитель древностей».

75 лет назад — в № 7 за 1929 год напечатана «Повесть» Бориса Пастернака.

«РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»

**С 14 по 19 декабря 2004 года в Москве
состоится большой международный конгресс**

**Конгресс проводится Фондом Достоевского
(президент — Игорь Волгин)**

**при поддержке правительства Москвы и участия ИМЛИ
РАН, Литературного института им. А. М. Горького,
Русского ПЕН-центра, МГУ им. М. В. Ломоносова
и других академических и гуманитарных учреждений.**

**Информационную поддержку осуществляют
«Литературная газета», журналы «Новый мир», «Октябрь»,
«Иностранная литература» и другие издания.**

**Помимо известных ученых из России
и стран дальнего и ближнего зарубежья
(литературоведов, историков литературы, лингвистов,
философов и т. д.) в конгрессе примут участие
выдающиеся писатели и деятели культуры Запада и Востока,
переводчики русской поэзии и прозы,
руководители СМИ и другие.**

**Целью конгресса является осмысление русской литературы
трех последних веков как мирового феномена:
ее художественного и нравственного опыта,
взаимосуществования с другими литературами.
Обобщаются и некоторые итоги развития
самой филологической науки.**

**Во время работы конгресса планируется проведение
общих пленарных заседаний, «круглых столов»,
а также работа по секциям.**

Предполагается большая культурная программа.

Подробности на нашем сайте: www.dostoevsky-fund.ru

Тел.: (095) 543-82-98, 465-67-31.

Тел./факс: (095) 217-30-73.

E-mail: fonddostoevskogo@mtu-net.ru

*Фонд Достоевского
Оргкомитет конгресса*

SUMMARY



This issue publishes «Tender Theatre», a novel by Nikolay Kononov, a play by Nina Gorlanova and Vyacheslav Bukur «Love — Dough—Love», as well as several short stories by Oleg Larin «And That's How We Live.» The poetry section of this issue is made up of the new poems by Irina Vasilkova, Boris Viktorov, Veronika Dolina and Yevgeny Chigrin.

The sectional offerings are as follows:

Philosophy. History. Politics: «Reflection over the Reasons of Revolution in Russia. The Experience of the Eighteenth Century» — an article by Andrey Zubov.

Literary Critique: «And You are Fine while Lacking Fancies» — an article by Maksim Shapir on the aesthetics of carelessness in Pasternak's poetry.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МККТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос,
Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, В. А. Губайловский, Р. Т. Киреев,
С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова,
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.03.2004 г. Подписано к печати 30.05.2004 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8500 экз. Зак. 4315. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ, по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно), по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ, по итогам 2003 года — ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ.

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию имени Юрия Казакова» до 1 декабря 2004 года.

Объявление лауреата 2004 года состоится одновременно с вручением ежегодных редакционных премий авторам журнала на юбилейном вечере в честь 80-летия «Нового мира» в начале 2005 года.

Состав жюри и размер премии будут объявлены дополнительно.

Контактный телефон: (095) 209-57-02.

E-mail: nmir@lenta.ru.